

Эжен
СЮ



Парижские тайны

Все в одном томе

Эжен Сю

Парижские тайны

«Издательство АСТ»

1843

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

Сю Э. Ж.

Парижские тайны / Э. Ж. Сю — «Издательство АСТ»,
1843 — (Все в одном томе)

ISBN 978-5-17-153256-7

«Роман-фельетон, принесший Эжену Сю известность как у себя на родине, так и во всей Европе: «Парижскими тайнами» зачитывался Достоевский, вдохновившись ими, Дюма начал работу над «Графом Монте-Кристо», а Гюго – над социальной эпопеей «Отверженные». В центре сюжета – благородный аристократ Рудольф, который оказывается на криминальном дне Парижа. Никто не подозревает, что он – будущий монарх и помогает спастись несчастным ради искупления грехов молодости. Судьбы героев романа, наследников престола и представителей парижских трущоб, переплетены между собой преступными тайнами. Этим наполнен Париж Эжена Сю: беззаконием, драмой, и в то же время человеколюбием и романтикой.

УДК 821.133.1-31

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-153256-7

© Сю Э. Ж., 1843

© Издательство АСТ, 1843

Содержание

Часть первая	7
Глава I. Кабак «Белый кролик»	7
Глава II. Людоедка	12
Глава III. История Певуны	19
Глава IV. История Поножовщика	28
Глава V. Арест	34
Глава VI. Том и Сара	39
Глава VII. Кошелек или жизнь	43
Глава VIII. Прогулка	46
Глава IX. Неожиданность	52
Глава X. Ферма	57
Глава XI. Пожелания	61
Глава XII. Ферма	64
Глава XIII. Мэрф и Родольф	66
Глава XIV. Расставание	71
Глава XV. Свидание	77
Глава XVI. Подготовка	85
Глава XVII. «Кровоточащее сердце»	89
Глава XVIII. Погреб	93
Глава XIX. Брат милосердия	96
Глава XX. Рассказ Поножовщика	99
Глава XXI. Наказание	105
Часть вторая	114
Глава I. Лиль-Адан	114
Глава II. Вознаграждение	118
Глава III. Отъезд	124
Глава IV. Поиски	126
Глава V. Сведения о Франсуа Жермене	132
Глава VI. Маркиз д'Арвиль	134
Глава VII. История Давида и Сесили	138
Глава VIII. Дом на улице Тампль	144
Глава IX. Три этажа	151
Глава X. Господин Пипле	157
Глава XI. Четыре этажа	163
Глава XII. Том и Сара	168
Глава XIII. Сэр Вальтер Мэрф и Аббат Полидори	172
Глава XIV. Первая любовь	177
Глава XV. Бал	181
Глава XVI. Зимний сад	185
Глава XVII. Свидание	187
Глава XVIII. Ангел мой, как ты поздно приехала!	194
Глава XIX. Свидания	201
Глава XX. Ангел	207
Глава XXI. Идиллия	212
Глава XXII. Тревоги	215
Часть третья	218

Глава I. Засада	218
Глава II. Дом священника	225
Глава III. Встреча	231
Глава IV. Вечер на ферме	234
Глава V. Гостеприимство	237
Глава VI. Образцовая ферма	242
Глава VII. Ночь	247
Конец ознакомительного фрагмента.	253

Эжен Сю

Парижские тайны

Eugene Sue
Les mysteres de Paris

© Перевод. О. В. Моисеенко, наследники, 2022
© Перевод. Ф. Л. Мендельсон, наследники, 2022
© Перевод. М. С. Трескунов, наследники, 2022
© Перевод. Я. З. Лесюк, наследники, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2023

* * *

Часть первая

Глава I. Кабак «Белый кролик»

Тринадцатого ноября 1838 года, холодным дождливым вечером, атлетического сложения человек в сильно поношенной блузе перешел Сену по мосту Менял и углубился в лабиринт темных, узких, извилистых улочек Сите, который тянется от Дворца правосудия до собора Парижской Богоматери.

Хотя квартал Дворца правосудия невелик и хорошо охраняется, он служит прибежищем и местом встреч всех парижских злоумышленников. Есть нечто странное или, скорее, фатальное в том, что этот грозный трибунал, который приговаривает преступников к тюрьме, каторге и эшафоту, притягивает их к себе как магнит.

Итак, в ту ночь ветер с силой врвался в зловещие улочки квартала; белесый, дрожащий свет фонарей, качавшихся под его порывами, отражался в грязной воде, текущей посреди покрытой слякотью мостовой.

Обшарпанные дома смотрели на улицу своими немногими окнами в тухлых рамах почти без стекол. Темные крытые проходы вели к еще более темным, вонючим лестницам, настолько крутым, что подниматься по ним можно было лишь с помощью веревки, прикрепленной железными скобами к сырým стенам.

Первые этажи иных домов занимали лавчонки угольщиков, торговцев требухой или перекупщиков завалывшегося мяса.

Несмотря на дешевизну этих товаров, витрины лавчонок были зарешечены: так боялись торговцы дерзких местных воров.

Человек, о котором идет речь, свернул на Бобовую улицу, расположенную в центре квартала, и сразу убавил шаг: он почувствовал себя в родной стихии.

Ночь была черна, дождь лил как из ведра, и сильные порывы ветра с водяными струями хлестали по стенам домов.

Вдалеке, на часах Дворца правосудия, пробило десять. В крытых арочных входах, сумрачных и глубоких, как пещеры, прятались в ожидании клиентов гуляющие девицы и что-то тихонько напевали.

Одну из них, вероятно, знал мужчина, о котором мы только что говорили; неожиданно остановившись, он схватил ее за руку повыше локтя.

– Добрый вечер, Поножовщик!

Так был прозван на каторге этот недавно освобожденный преступник.

– А, это ты, Певунья, – сказал мужчина в блузе, – ты угостишь меня купоросом¹, а не то попляшешь без музыки!

– У меня нет денег, – ответила женщина, дрожа от страха, ибо этот человек наводил ужас на весь квартал.

– Если твой шмель отоцал², Людоедка даст тебе денег под залог твоей хорошенькой рожницы.

– Господи! Ведь я уже должна ей за жилье и за одежду.

– А, ты еще смеешь рассуждать! – крикнул Поножовщик.

¹ Водкой.

² Если твой кошелек пуст. Мы недолго будем злоупотреблять этим отвратительным жаргоном и ограничимся впоследствии лишь наиболее характерными его примерами. (Это примечание, как и все остальные, принадлежит автору романа. Перевод арготических слов и выражений в 1-й и 2-й частях «Парижских тайн» сделан Я. З. Лесюком.)

И наугад в темноте он так ударил кулаком несчастную, что она громко вскрикнула от боли.

– Это не в счет, девочка; всего только небольшой задаток...

Не успел злодей произнести эти слова, как вскрикнул, непристойно ругаясь:

– Кто-то уколол меня в руку; это ты поцарапала меня ножницами!

И, расвирепев, он бросился вслед за Певуньей по темному проходу.

– Не подходи, не то я выколю тебе шары ножницами³, – сказала она решительно. – Я ничего тебе не сделала плохого, за что ты ударил меня?

– погоди, сейчас узнаешь, – воскликнул разбойник, продвигаясь во мраке по проходу. – А! поймал! Теперь ты у меня попляшешь! – прибавил он, схватив своими ручищами чье-то хрупкое запястье.

– Нет, это ты попляшешь! – проговорил чей-то мужественный голос.

– Мужчина? Это ты, Краснорукий? Отвечай, да не сжимай так сильно руку... Я зашел в твой дом... Возможно, что это ты...

– Я не Краснорукий, – ответил тот же голос.

– Ладно, раз ты не друг, то наземь брызнет вишневый сок⁴, – воскликнул Поножовщик. – Но чья же это рука, в точности похожая на женскую?

– А вот и другая, такая же, – ответил незнакомец.

И внезапно эта тонкая рука схватила Поножовщика, и он почувствовал, как твердые, словно стальные, пальцы сомкнулись вокруг его горла.

Певунья, прятаясь в конце крытого прохода, поспешно поднялась по лестнице и, задержавшись на минуту, крикнула своему защитнику:

– О, спасибо, сударь, что заступились за меня. Поножовщик хотел меня поколотить за то, что я не могу дать ему денег на водку. Я отомстила, но вряд ли сильно его поцарапала; ножницы у меня маленькие. Может, он и пошутил. Теперь же, когда я в безопасности, не связывайтесь с ним. Будьте осторожны: ведь это Поножовщик!

Видимо, этот человек внушал ей непреодолимый страх.

– Вы что ж, не поняли меня? Я сказала вам, что это Поножовщик! – повторила Певунья.

– А я громщик, и не из зябких⁵, – ответил неизвестный.

Потом голоса смолкли. Слышался лишь шум ожесточенной борьбы.

– Видать, ты хочешь, чтоб я тебя остудил?⁶ – воскликнул разбойник, всячески пытаясь вырваться из рук своего противника, необычайная сила которого изумляла его. – погоди... погоди... Я заплачу тебе и за Певунью, и за себя, – прибавил он, скрежеща зубами.

– Заплатишь кулачными ударами? Ну что ж... Сдача для тебя найдется... – ответил неизвестный.

– Отпусти горло, не то я откушу тебе нос, – прошептал Поножовщик сдавленным голосом.

– Нос у меня слишком мал, приятель, ты не разглядишь его в темноте!

– Тогда выйдем под висячий светник⁷.

– Идем, – согласился неизвестный, – посмотрим, кто кого.

И, подталкивая Поножовщика, которого он все еще держал за шиворот, неизвестный оттеснил его к двери и с силой вытолкнул на улицу, слабо освещенную фонарем.

³ Я выколю тебе глаза своими ножницами.

⁴ Прольется кровь.

⁵ Разбойник, и не из трусливых.

⁶ Убил.

⁷ Фонарь.

Разбойник споткнулся, но тут же выпрямился и яростно накинулся на незнакомца, стройная и тонкая фигура которого не предвещала проявленной им незаурядной силы.

После недолгой борьбы Поножовщик, человек атлетического сложения, весьма искушенный в кулачных боях, называемых в просторечии «саватой», нашел, как говорится, на себя управу...

Неизвестный с поразительным проворством дал ему подножку и дважды повалил на землю.

Все еще не желая признать превосходство своего противника, Поножовщик снова напал на него, рыча от ярости.

Тут защитник Певуньи внезапно изменил прием и обрушил на голову разбойника град ударов, да таких увесистых, словно они были нанесены железными рукавицами.

Этот прием, который вызвал бы восхищение и зависть самого Джека Тернера, прославленного лондонского боксера, был настолько чужд правилам «саваты», что оглушенный Поножовщик в третий раз рухнул на мостовую, прошептав:

– Ну, я накрылся⁸.

– Ведь он же сдастся, жальтесь над ним! Не приканчивайте его! – проговорила Певунья, которая во время этой драки робко вышла на порог дома Краснорукого. – Но кто ж вы такой, сударь? – спросила она с удивлением. – Ведь от улицы Святого Элигия до собора Парижской Богоматери нет человека, который мог бы совладать с Поножовщиком, разве что Грамотей; спасибо, если бы не вы, Поножовщик наверняка избил бы меня.

Вместо того чтобы ответить девушке, неизвестный внимательно вслушивался в ее голос.

Никогда еще его слух не ласкал такой нежный, свежий, серебристый голосок. Он попытался разглядеть лицо Певуньи, но ночь была слишком темна, а свет фонаря слишком слаб.

Пролежав несколько минут без движения, Поножовщик пошевелил ногами, затем руками и наконец приподнялся.

– Осторожно! – воскликнула Певунья, снова прячась в крытом проходе, куда она увлекла и своего покровителя. – Осторожно, как бы он не вздумал отомстить вам.

– Не беспокойся, девочка, если он захочет добавки, я могу еще раз угостить его.

Разбойник услышал эти слова.

– Спасибо... У меня и так башка как пивной котел, – сказал он неизвестному. – На сегодня с меня хватит. В другой раз не откажусь, если только разыщу тебя.

– А, тебе мало? Ты смеешь жаловаться? – угрожающе воскликнул неизвестный. – Разве я свергузил в драке?⁹

– Нет, нет, я не жалуюсь, ты угостил меня на славу... Ты еще молод, но куражу тебе не занимать, – сказал Поножовщик мрачно, но с тем уважением, какое физическая сила неизменно внушает людям его сорта. – Ты отколошматил меня за милую душу. Так вот, кроме Грамотея, который может заткнуть за пояс трех силачей, никто до сих пор, поверь, не мог похвалиться, что поставил меня на колени.

– Ну и что из этого?

– А то, что я нашел человека сильнее себя. Ты тоже найдешь такого не сегодня, так завтра... Всякий находит на себя управу... Ну, а коли не встретится такой человек, то есть всемогущий¹⁰, так, по крайней мере, долбят хряки¹¹. Ясно одно: теперь, когда ты положил Поножовщика на обе лопатки, можешь делать в Сите все что тебе вздумается. Все девки будут к твоим услугам: людоеды и людоедки не посмеют отказать тебе в кредите... Но кто ж ты, в

⁸ Признаю себя побежденным, с меня довольно.

⁹ Нечестно дрался с тобой.

¹⁰ Бог.

¹¹ Священники.

конце концов? Ты знаешь музыку¹², как свой брат. Если ты скокарь¹³, нам с тобой не по пути. Я одного малого пером исписал¹⁴, что правда, то правда. Стоит мне прийти в ярость, как кровь ударяет в голову, и я хватаюсь за нож... Зато я оплатил свою любовь поиграть ножом пятнадцатью годами кобылки¹⁵. Мой срок кончился, я освобожден, чист перед дворниками¹⁶, и я никогда не лямзил¹⁷, – спроси у Певуньи.

– Правда, он не вор, – сказала девушка.

– В таком случае пойдем выпьем по стаканчику, и ты узнаешь, кто я такой. Идем же и позабудем о драке.

– Ладно, позабудем о драке, ведь ты мой победитель, признаю это; ты здорово владеешь кулаками... А этот град ударов в конце! Дьявольщина! Как они были отработаны! Ничего похожего я еще не испытывал... Какой-то новый прием... Ты должен обучить меня.

– Ну что ж, попробуем еще разок, как только ты захочешь.

– Только не на мне, слышишь, не на мне! – воскликнул Поножовщик со смехом. – У меня до сих пор голова гудит. Значит, ты знаком с Красноруким, раз был в крытом проходе его дома!

– С Красноруким? – переспросил неизвестный, удивленный вопросом, и добавил равнодушно: – Понятия не имею, кто такой этот Краснорукий; вероятно, не он один живет в этом доме?

– Вот именно, что один... У Краснорукого есть причины не любить соседей, приятель, – сказал Поножовщик, как-то странно ухмыляясь.

– Что ж, тем лучше для него, – заметил неизвестный, которому, видно, претил этот разговор. – Для меня что Краснорукий, что Чернорукий – один черт. Я о таких и не слыхивал. Шел дождь, я забежал в какой-то проход, чтобы не промокнуть. Ты хотел побить эту несчастную девушку, а вышло, что я побил тебя, вот и весь сказ.

– Правильно, твои дела меня не касаются; те, кто нуждается в Красноруком, не кричат об этом на всех перекрестках. Позабудь о нем.

Обратившись затем к Певунье, он сказал:

– Честное слово, ты славная девушка: я шлепнул тебя, ты ударила меня ножницами – пошутили, и ладно. А ты хорошо сделала, что не подзуживала этого полоумного, когда я свалился к его ногам и мне уже было не до драки... Пойдешь выпить чего-нибудь с нами? Победитель платит! Кстати, приятель, – обратился он к неизвестному, – вместо того чтобы дерябнуть купоросу, не лучше ли скоротать вечеруху у хозяйки «Белого кролика»? Это недурной кабак.

– По рукам... я плачу за ужин. Пойдешь с нами, Певунья? – спросил он у девушки.

– Спасибо, сударь, – ответила она, – я была очень голодна, а от вашей потасовки меня чуть не стошнило.

– Полно, полно, аппетит приходит во время еды, – проговорил Поножовщик, – к тому же жратва в «Белом кролике» что надо.

И все трое в полном согласии направились в таверну.

Во время борьбы Поножовщика с неизвестным какой-то угольщик огромного роста, притаившийся в крытом проходе соседнего дома, с беспокойством наблюдал за дракой, не помогая, как мы знаем, ни одному из противников.

Неизвестный, Поножовщик и Певунья направились к таверне, угольщик последовал за ними.

¹² Ты говоришь на аргю.

¹³ Вор.

¹⁴ Зарезал человека.

¹⁵ Каторги.

¹⁶ Судьями.

¹⁷ Не воровал.

Когда разбойник и Певунья вошли в кабачок, к неизвестному, шедшему последним, приблизился угольщик и сказал ему по-английски тихо, почтительно, но с явной укоризной:

– Будьте осторожны, монсеньор!

Неизвестный пожал плечами и присоединился к своим спутникам.

Угольщик остался на улице у двери кабака: напрягая слух, он время от времени поглядывал в щелку толстого слоя испанских белил, которыми в подобных заведениях покрывают внутреннюю сторону стекол.

Глава II. Людоедка

Кабак «Белый кролик», расположенный почти на середине Бобовой улицы, занимает нижний этаж высокого дома, фасад которого прорезан двумя опускными окнами. Над дверью, ведущей в темный сводчатый проход, висит продолговатый фонарь, на треснутом стекле которого выведены красной краской следующие слова: «Здесь можно переночевать».

Поножовщик, неизвестный и Певунья вошли в таверну.

Представьте себе обширную залу под низким закопченным потолком с выступающими черными балками, освещенную красноватым светом дрянного кенкета. На оштукатуренных стенах видны кое-где непристойные рисунки и изречения на аргю.

Земляной пол, пропитанный селитрой, покрыт грязью; охапка соломы лежит вместо ковра у хозяйской стойки, находящейся справа от двери под кенкетом.

По бокам залы расставлено по шесть столов, прочно приделанных к стенам, так же как и скамейки для посетителей. В глубине залы – дверь на кухню; справа от стойки выход в коридор, который ведет в трущобу, где постояльцы могут провести ночь за три су с человека.

Теперь несколько слов о Людоедке и о посетителях ее кабака.

Прозвище хозяйки – «Матушка Наседка»; у нее три занятия: сдавать койки бездомным, содержать кабак и давать напрокат одежду несчастным девушкам, которыми кишат эти омерзительные улицы.

Хозяйке лет сорок. Она высока ростом, крепка, дородна, красноморда, а на подбородке ее торчат жесткие волоски. Грубый голос Людоедки, ее толстые руки и широченные ладони говорят о незаурядной силе; поверх чепца она носит старый красно-желтый платок и завязывает на спине скрещенную на груди шаль из кроличьей шерсти; подол ее зеленого шерстяного платья доходит до черных сабо, не раз опаленных на жаровне, что стоит у ее ног; цвет лица Людоедки смуглый с багровым румянцем, говорящим о злоупотреблении ликерами. Плакированная свинцом стойка заставлена жбанами с набитыми на них металлическими обручами и разной величины оловянными кружками; рядом на полке бросаются в глаза несколько бутылок в виде фигуры императора во весь рост. Налитые в них розовые или зеленые напитки с примесью спирта известны под названием «Идеальная любовь» и «Утешение».

Жирный черный кот с желтыми глазами, свернувшийся клубком возле хозяйки, кажется хранителем этих мест.

А в силу контраста, который показался бы невыносимым всякому, кто не знает, что человеческая душа – книга за семью печатями, из-за старых часов с кукушкой торчит ветка освященного букса, купленного Людоедкой в церкви в день Светлого воскресения.

Двое мужчин в отрепьях, со зловещими рожами и взъерошенными бородами, почти не притронулись к поданному им вину; они переговаривались между собой, то и дело тревожно озираясь.

Один из них с очень бледным, почти бескровным лицом часто надвигал до самых бровей свой засаленный греческий колпак и тщательно прятал левую руку, стараясь по возможности скрыть ее, даже когда приходилось ею пользоваться.

Неподалеку от них сидел юноша, едва достигший шестнадцати лет, с безбородым, худым, болезненным лицом и угасшим взглядом; его длинные черные волосы падали на плечи: этот подросток – олицетворение ранних пороков – курил короткую пенковую трубку. Привалившись спиной к стене, заложив руки в карманы блузы и вытянув ноги вдоль скамьи, он вынимал изо рта трубку лишь для того, чтобы присосаться к горлышку стоящей перед ним бутылки водки.

Другие завсегда и кабачка – и мужчины и женщины – ничем не привлекали внимания; у одних были свирепые, у других отупевшие лица, здесь шло грубое, непристойное веселье, там стояла мрачная и гнетущая тишина.

Таковы были посетители кабака, когда неизвестный, Поножовщик и Певунья вошли в залу.

Все трое играют такую важную роль в нашем повествовании, характер каждого из них столь ярк и своеобразен, что мы более подробно остановимся на каждом из них.

Поножовщик – человек высокого роста и атлетического телосложения; у него светлые, белесоватые волосы, густые брови и огромные ярко-рыжие бакенбарды.

Загар, нищета, тяжкий труд на каторге придали лицу Поножовщика темный, желтовато-коричневый цвет, свойственный людям этого сорта.

Несмотря на устрашающее прозвище, черты его лица выражают не жестокость, а скорее необузданную отвагу, хотя задняя, чрезмерно развитая часть черепа свидетельствует о чувственности и склонности к убийству.

На Поножовщике потрепанная синяя блуза и плисовые штаны, видимо бывшие некогда зелеными, ибо цвет их трудно различить под толстым слоем грязи.

В силу какой-то странной аномалии личико Певуньи принадлежит к тому целомудренному, ангелоподобному типу, который остается неизменным среди разврата, как будто человеческое существо бессильно изгладить своими пороками печать благородства, запечатленную богом на челе иных избранных натур.

Певунье шестнадцать с половиной лет.

У нее чистый, белоснежный лоб и лицо безупречно овальной формы; длинные, слегка загнутые ресницы наполовину затеняют ее большие голубые глаза. Пушок ранней юности покрывает округлые румяные щеки. Ее алый ротик, тонкий и прямой нос, подбородок с ямочкой ласкают взор своим изяществом. На ее нежных, как атлас, висках закругляются две великолепные пепельные косы, которые, оставив на виду розоватые, как лепестки роз, мочки ушей, исчезают под тугими складками ситцевого платка в голубую клетку, завязанного по-простонародному надо лбом.

Ее красивая шейка ослепительной белизны охвачена маленьким коралловым ожерельем. Под платьем из коричневого бомбазина, слишком для нее широким, угадывается тонкая, округлая и гибкая, как тростник, талия, дешевенькая оранжевая шаль с зеленой бахромой перекрещивается на ее груди.

Голос Певуньи недаром поразил ее неизвестного защитника. В самом деле, этот нежный, звонкий, мелодичный голос обладал такой чарующей силой, что проходимцы и падшие женщины, среди которых жила эта обездоленная девушка, нередко умоляли ее спеть что-нибудь, слушали песню, затаив дыханье, и прозвали девушку Певуньей.

У Певуньи имелось еще одно прозвище, которым она была обязана девственной чистоте своего облика, а именно Лилия-Мария, что означает на жаргоне – Пречистая.

Попробуем передать читателю испытанное нами странное чувство, когда среди мерзких жаргонных слов, говорящих о краже, крови, убийстве, слов, еще более отвратительных и страшных, чем те понятия, которые они выражают, мы обнаружили метафору «Лилия-Мария», проникнутую поэзией и наивным благочестием.

Так и кажется, что видишь прекрасную лилию, расцветшую на ниве злодеяний и возносящую к небу свою белоснежную душистую чашечку!

Диковинный контраст, странная случайность! Создатели этого жуткого языка поднялись здесь до истинной поэзии, наделив особым очарованием тот образ, который жил в их душе.

Размышляя о других контрастах, которые нередко нарушают ужасающее однообразие жизни закоренелых преступников, невольно приходишь к мысли, что иные, так сказать, врож-

денные принципы морали и благочестия зажигают порой яркий свет в самых черных душах. Негодяи без проблеска человечности довольно редки.

Защитнику Певуньи (назовем неизвестного Родольфом) было на вид лет тридцать пять – тридцать шесть; ни средний рост его, ни стройная, на редкость пропорциональная фигура не предвещали, казалось, той поразительной силы, которую он проявил в борьбе с атлетически сложенным Поножовщиком.

Определить подлинный характер Родольфа нелегко – столько странных противоречий в его внешности.

Черты его правильны, красивы, быть может, даже слишком красивы для мужчины.

Матовая бледность лица, большие желтовато-карие глаза, почти всегда полуприкрытые и окруженные синеватой тенью, небрежная походка, рассеянный взгляд, ироническая улыбка – все это, казалось, говорило о человеке пресыщенном, здоровье которого подорвано жизнью в роскоши и аристократическими излишествами.

И однако своей изящной белой рукой Родольф только что сразил одного из самых сильных и грозных разбойников этого разбойничьего квартала.

Мы употребили выражение «аристократические излишества» потому, что опьянение благородным вином резко отличается от опьянения каким-нибудь отвратительным, смешанным со спиртом пойлом, словом, потому, что в глазах наблюдательного человека излишества различны не только по своим проявлениям, но и по самой природе и сущности.

Иные складки лба изобличали в Родольфе глубокого мыслителя, человека преимущественно созерцательного склада... и вместе с тем твердые очертания рта, властная, смелая посадка головы говорили о человеке действия, чья отвага и физическая сила неизменно оказывают неодолимое влияние на толпу.

Нередко в его глазах сквозила глубокая печаль, а выражение лица говорило о сердечном участии и трогательной жалости. А иной раз взгляд Родольфа становился хмурым, злым, в лице появлялось столько презрения и жестокости, что не верилось, будто этому человеку присущи добрые чувства.

Читатель узнает из продолжения этого повествования, какого рода события и мысли вызывали у Родольфа столь противоречивые чувства.

В борьбе с Поножовщиком он не проявил ни гнева, ни ненависти к недостойному противнику. Уверенный в своей силе, в своей ловкости и проворстве, он испытал лишь насмешливое презрение к неотесанному верзиле, который не мог противостоять ему.

В дополнение к портрету Родольфа скажем, что у него были светло-каштановые волосы такого же оттенка, как и дугообразные, благородного рисунка брови и тонкие, шелковистые усы; его немного выступавший вперед подбородок был тщательно выбрит.

Впрочем, благодаря тому, что Родольф прекрасно усвоил манеры и язык окружающей среды, он ничем не выделялся среди завсегдатаев Людоедки. Его шея столь же совершенной формы, что и у индийского Бахуса¹⁸, была небрежно повязана черным галстуком, концы которого ниспадали на выцветшую синюю блузу. Его грубые башмаки были снабжены двойным рядом шипов, словом, за исключением рук Родольфа с их редким изяществом, ничто во внешности этого человека не бросалось в глаза; только решительный вид и, если можно так выразиться, спокойная отвага выделяли его среди посетителей кабака.

Войдя в кабак, Поножовщик положил свою широкую волосатую руку на плечо Родольфа и провозгласил:

– Приветствуйте победителя Поножовщика!.. Да, друзья, этот молодчик только что отду-басил меня... Предупреждаю драчунов: не связывайтесь с ним, не то останетесь со сломан-

¹⁸ Античные статуи Бахуса, установленные в Ватикане и в Лувре. (Примеч. перев.)

ной поясницей или с расколотым кочаном¹⁹. Грамотей и тот найдет на себя управу... Ручаюсь, голову даю на отсечение!

При этих словах все присутствующие – от хозяйки до последнего завсегдатая кабака – взглянули с робким уважением на победителя Поножовщика.

Одни, отодвинув стаканы и кувшины на середину стола, поспешили предложить место Родольфу на тот случай, если он пожелает сесть рядом с ними; другие подошли к Поножовщику, чтобы потихоньку выведать у него, кто этот незнакомец, что так победоносно появился в их кругу.

Наконец Людоедка обратилась к Родольфу с любезнейшей улыбкой и – вещь неслыханная, невообразимая, баснословная на пиршествах в «Белом кролике» – встала из-за стойки, чтобы выслушать пожелания своего гостя и узнать, что следует подать пришедшей с ним компании, – такого внимания Людоедка никогда не оказывала даже пресловутому Грамотею, гнусному негодяю, наводившему страх на самого Поножовщика.

Один из двух мужчин, о которых мы уже говорили выше (человек с бескровным злоеющим лицом, то и дело надвигавший на лоб свой греческий колпак и прятавший левую руку), наклонился к Людоедке, старательно вытиравшей стол, предназначенный Родольфу, и хрипло спросил:

– Грамотей не приходил сегодня?

– Нет, – ответила мамаша Наседка.

– А вчера?

– Вчера приходил.

– Один или со своей новой барулей?²⁰

– Это еще что? Уж не принимаешь ли ты меня за легавую?²¹ Все спрашиваешь да выпрашиваешь! Неужто, по-твоему, я капаю²² на своих клиентов? – грубо возразила хозяйка.

– У меня сегодня встреча с Грамотеем, – ответил разбойник. – Дельце одно наклевывается.

– Хорошенькое, видно, у вас дельце, мокрушники²³, другого названия вам нет!

– Мокрушники! – раздраженно повторил ее собеседник. – А кто, как не они, кормят тебя.

– Заткнись! Оставь меня в покое! – вскричала Людоедка, угрожающе подняв над его головой жбан с вином.

Недовольно ворча, тот уселся на свое место.

Войдя в таверну Людоедки вслед за Поножовщиком, Лилия-Мария дружески кивнула юнцу с испитым лицом.

А Поножовщик сказал ему:

– Ну как, Крючок, ты по-прежнему хлещешь купорос?

– Да, по-прежнему. По мне, уж лучше не хрюпать вовсе и носить опорки на ходунах, чем обходиться без купороса в хомуте и бокуна в файке²⁴, – ответил юнец надтреснутым голосом, не меняя позы и пуская густые клубы табачного дыма.

– Добрый вечер, мамаша Наседка, – проговорила Певунья.

– Добрый вечер, Лилия-Мария, – ответила Людоедка, подойдя к девушке, чтобы осмотреть одежду, которую позволила ей поносить. – Одно удовольствие давать тебе вещи напрокат... – сказала она хмуро, придиричиво оглядев несчастную, – ты чистенькая, как кошечка...

¹⁹ Головой.

²⁰ Женой.

²¹ Доносчицу.

²² Я выдаю.

²³ Убийцы.

²⁴ Голодать и ходить в стоптанных башмаках, чем оставаться без водки и без табака в трубке.

Зато я уж нипочем не доверила бы эту красивую шаль таким негодницам, как Вертихвостка и Мартышка. Правда, это я натаскала тебя, когда ты вышла из тюрьмы... и, надо признаться, во всем старом городе нет у меня лучшей выученицы.

Певунья опустила голову и, казалось, отнюдь не была горда похвалами мамыши Наседки.

– Что это, мамаша, – обратился Родольф к Людоедке. – Никак за вашими часами с кукушкой торчит ветка букса?

И он указал на освященную ветку, заложенную за старые часы.

– Да неужто мы должны жить как язычники? – простодушно заметила мерзкая баба.

Затем, обратившись к Марии, она спросила:

– Скажи-ка, Певунья, не споешь ли ты нам одну из своих песенок?

– Нет, нет, мамаша Наседка. Прежде всего мы поедем, – вмешался Поножовщик.

– Что прикажете подать вам, приятель? – спросила Людоедка Родольфа, чье расположение ей хотелось завоевать, а может, и воспользоваться при случае его поддержкой.

– Спросите у Поножовщика, мамаша, он угощает, я плачу.

– Так чего ты хочешь на ужин, бездельник? – обратилась к нему хозяйка.

– Два литра вина по двенадцати сантимов, большую порцию бульонки²⁵ и три мягких краюхи хлеба, – сказал Поножовщик после недолгого размышления.

– Вижу, ты обжора, как и прежде. И всему предпочитаешь бульонку!

– Ну как, Певунья, – спросил Поножовщик, – ты еще не проголодалась?

– Нет, Поножовщик.

– Может быть, тебе заказать что-нибудь другое, детка? – спросил Родольф.

– О нет, спасибо... Мне все еще не хочется есть...

– Да взгляни ж ты на моего победителя, – проговорил с громким смехом Поножовщик, указывая на Родольфа. – Или ты не смеешь соорудить ему глазки?

Певунья ничего не ответила, покраснела и опустила голову. Вскоре хозяйка собственноручно принесла и поставила на стол жбан вина, хлеб и миску бульонки – кушанье, которое мы не в силах описать, хотя оно, видимо, пришлось по вкусу Поножовщику.

– Что за блюдо! Клянусь богом! – воскликнул он. – Что за блюдо! Чего тут только нет, еда на все вкусы, и для скоромников и для постников, для сластен и для любителей соли и перца... Ребрышки дичи, рыбы хвосты, косточки от отбивных котлет, кусочки паштета, поджарка, овощи, головки вальдшнепов, сыр, зеленый салат, бисквит. Да ешь ты, Певунья... А как приготовлено! Уж не кутнула ли ты ненароком сегодня утром?

– Кутнула? Как бы не так! Я съела то же, что и всегда: на одно су молока и на одно су хлеба.

Появление в кабаке нового лица прервало все разговоры и всех заставило поднять головы.

Это был человек средних лет, крепко сбитый, подвижный, в куртке и фуражке. Знакомый с обычаями кабака, он заказал себе ужин на принятом здесь языке.

Хотя новоприбывший не принадлежал к завсегдатаям кабака, на него вскоре перестали обращать внимание: мнение о нем было составлено.

Чтобы узнать «своего» человека, разбойникам, как и честным людям, достаточно одного взгляда.

Вновь прибывший сел так, чтобы ему было удобно наблюдать за двумя субъектами со зловещими лицами, один из которых справлялся о Грамотее. Он и в самом деле не спускал с них глаз, но их столик стоял так, что они не замечали этой слежки за ними.

²⁵ Бульонка – мешанина из мясных, рыбных и других остатков со стола слуг аристократических домов. Нам неловко приводить такие подробности, но они дают более полную картину подаваемых в кабаке блюд.

Временно прерванные разговоры возобновились. Несмотря на свою отвагу, Поножовщик обращался с Родольфом почтительно, не смел говорить ему «ты».

– Право слово, – сказал он Родольфу, – хотя я и получил хорошую трепку, а все же польщен, что встретился с вами.

– Потому, что заказанное блюдо пришлось тебе по вкусу?..

– Не только... Главное потому, что мне не терпится увидеть вашу потасовку с Грамотеем: он всегда избивал меня, и я буду рад... когда его тоже избьют.

– Вот еще, неужто ты думаешь, что ради твоего удовольствия я наброшусь, как бульдог, на Грамотея?

– Нет, он сам набросится на вас, как только узнает, что вы сильнее его, – ответил Поножовщик, потирая руки.

– У меня в запасе достаточно разменной монеты, чтобы выдать ему все, что полагается, – небрежно заметил Родольф и, помолчав, добавил: – Погода нынче стоит собачья... Не заказать ли нам водки с сахаром? Быть может, это воодушевит ее, и она споет нам что-нибудь...

– Дело подходящее, – согласился Поножовщик.

– А чтобы поближе познакомиться, мы откроем друг другу, кто мы такие, – предложил Родольф.

– Альбинос, – представился Поножовщик, – бывший каторжник, а теперь рабочий, выгружающий сплавной лес на набережной Святого Павла. Зимой мерзну, летом жарюсь на солнце – таковы мои дела, – заявил гость Родольфа, отдавая ему честь левой рукой. – Ну, а вы кто будете? – продолжал он. – Вы впервые объявились в здешних местах... и, не в обиду будь вам сказано, лихо обработали мою башку и лихо выбили барабанную дробь на моей шкуре. Батюшки мои! Какие это были тумачи! Особенно последние... Не могу их забыть: как здорово все было проделано... Какой град ударов! Но у вас, верно, есть и другое дело, не только колошматить Поножовщика!

– Я мастер по раскраске вееров! А зовут меня Родольф.

– Мастер по веерам! Так вот почему у вас такие белые руки, – сказал Поножовщик. – Но если все ваши собратья похожи на вас, видать, это дело требует изрядной силы... А коли вы ремесленник и, конечно же, честный, зачем пришли сюда, ведь в здешних местах бывают только воры, убийцы и бывшие каторжники вроде меня, потому как другие места нам заказаны?

– Я пришел сюда потому, что люблю хорошую компанию...

– Гм!.. Гм!.. – пробормотал Поножовщик, с сомнением качая головой. – Я встретил вас в крытом проходе дома Краснорукого; впрочем, молчу... Вы говорите, что незнакомы с ним?

– Долго ты еще будешь донимать меня своим Красноруким? Чтоб ему вечно гореть в адском пламени, если это придется по вкусу Люциферу.

– Ладно, приятель, вы, верно, мне не доверяете, может, вы и правы. Хотите, я расскажу вам свою историю?.. Но при условии, что вы научите меня наносить те удары, которыми закончилась моя взбучка... Мне это позарез нужно.

– Согласен, Поножовщик, ты расскажешь свою историю... а Певунья расскажет нам свою.

– Идет, – сказал Поножовщик, – погода стоит такая, что и полицейского не выманишь на улицу... Это нас позабавит... Ты не против, Певунья?

– Нет, только мне особенно нечего рассказывать... – ответила Лилия-Мария.

– И вы тоже расскажете нам о себе, приятель? – спросил Поножовщик.

– Да, я начну первый.

– Мастер по раскраске вееров, – проговорила Певунья, – какое хорошее ремесло.

– А сколько вы получаете за свои веера? – спросил Поножовщик.

– Я работаю сдельно, – ответил Родольф. – Если повезет, выколачиваю четыре, а то и пять франков в день, но это летом, когда долго бывает светло.

– И вы часто погуливаете, бездельник?

– Да, когда я при деньгах, то трачу немало: во-первых, шесть су за ночь в меблированной комнате.

– Я не ослышался, монсеньор... вы платите шесть су за ночь! – проговорил Поножовщик, прикладывая руку к шапке.

Обращение «монсеньор», прозвучавшее иронически в устах Поножовщика, заставило улыбнуться Родольфа.

– Да, я люблю удобства и чистоту, – продолжал он.

– Поглядите на этого пэра, на этого банкира, на этого богача! – вскричал Поножовщик. – Он платит шесть су за ночлег!

– Кроме того, – продолжал Родольф, – я трачу четыре су на табак, выходит уже десять су; четыре су – за завтрак, четырнадцать-пятнадцать су – за обед, одно или два су за водку, словом, около тридцати су в день. Мне не приходится работать всю неделю напролет: в свободное время я кучу.

– А ваша семья? – спросила Певунья.

– Мои родители умерли от холеры.

– А кем они были? – спросила Певунья.

– Старьевщиками, торговали старым тряпьем на Главном рынке.

– И за сколько вы продали их дело? – спросил Поножовщик.

– Я был тогда слишком молод, все продал мой опекун. Когда я стал совершеннолетним, мне еще пришлось вернуть ему тридцать франков... Вот и все мое наследство.

– А на кого же вы работаете?

– Мою обезьяну²⁶ зовут Борель с улицы Бурдонне. Болван и притом груб; вороват и скуп. Ему легче потерять глаз, чем расплатиться со своими работниками. Таковы его приметы. Если он заблудится, не разыскивайте его, пропади он пропадом. Я учился у него своему ремеслу с пятнадцати лет; в армии я не служил: вытянул счастливый номер. Живу я в старом еврейском квартале, в комнате на пятом этаже, окнами на улицу; зовут меня Родольф Дюран... Вот и вся моя история.

– А теперь твой черед, Певунья, – сказал Поножовщик, – свою историю я оставлю на закуску.

²⁶ Хозяина.

Глава III. История Певуньи

- Начнем с самого начала, – сказал Поножовщик.
- Да... с твоих родителей! – подхватил Родольф.
- Я их не знаю... – ответила Лилия-Мария.
- Как так? – вырвалось у Поножовщика.
- Я о них слыхом не слыхала. Меня нашли в капусте, как говорят маленьким детям.
- Ну и ну! Выходит, Певунья, мы с тобой из одного семейства!..
- У тебя тоже не было дома, Поножовщик?
- Я сирота, и дом мой – парижские улицы, как, верно, и у тебя, дочка.
- А кто же воспитал тебя, Певунья? – спросил Родольф.
- Сама не знаю, сударь... Сколько я себя помню, кажется, мне было лет семь-восемь, я жила с одноглазой старухой. Ее прозвали Сычихой из-за крючковатого носа и единственного круглого зеленого глаза, как у окривевшей птицы.
- Ха!.. Ха!.. Ха!.. Я так и вижу эту стерву, – вскричал, смеясь, Поножовщик.
- По вечерам одноглазая старуха, – продолжала Лилия-Мария, – посылала меня для виду продавать леденцы на Новом мосту, а на самом деле заставляла просить милостыню... Если я собирала меньше десяти су, она била меня и морила голодом.
- Понятно, дочка, – сказал Поножовщик, – пинок вместо хлеба и несколько подзатыльников в придачу.
- Бог ты мой, так я и жила...
- А ты уверена, что эта женщина не была твоей матерью? – спросил Родольф.
- Понятно, уверена: Сычиха то и дело попрекала меня, что я круглая сирота, что нет у меня ни отца, ни матери; клялась, будто подобрала меня на улице.
- Итак, – сказал Поножовщик, – ты получала вместо еды колотушки, если приносила домой меньше десяти су!
- На ночь я выпивала стакан воды и зарывалась в охапку соломы, брошенную Сычихой прямо на пол; говорят, будто солома греет. Какое там! Иной раз я всю ночь напролет дрожала от холода.
- Еще бы, эти перья из босса²⁷ холодят, как лед, ты права, милочка, – воскликнул Поножовщик, – навоз во сто крат лучше! Но люди воротят от него нос: подстилка, мол, не первой свежести: побывала в брюхе животного.
- Эта шутка вызвала улыбку на губах Лилии-Марии.
- Утром Сычиха давала мне с собой немного еды. Сразу на завтрак и обед, и посылала на Монфокон за червями для наживки: ведь, кроме всего, она торговала удочками под мостом Парижской Богоматери... А дорога от Дробильной улицы, где мы жили, до Монфокона неблизкая... особенно для голодного и озябшего семилетнего ребенка.
- Ходьба укрепила тебя, и ты выросла прямая, как тростинка, тебе не на что жаловаться, доченька, – сказал Поножовщик, высекая искру из огнива, чтобы раскурить трубку.
- Домой я возвращалась очень усталая, – продолжала свой рассказ Певунья. – Тогда около полудня Сычиха давала мне еще кусочек хлеба.
- От такого поста, дочка, талия у тебя стала тонкая, как у осы, не стоит жаловаться, – заметил Поножовщик, делая несколько глубоких затяжек. – Но что это с вами, приятель? Простите, я хотел сказать, господин Родольф; вид у вас какой-то чудной... Неужто из-за того, что эта девчонка столько намыкалась? Право... все мы намыкались, все жили в нищете.

²⁷ Соломы.

– О, я ручаюсь, Поножовщик, что у тебя было меньше бед, чем у меня, – проговорила Лилия-Мария.

– У меня, Певунья? Да знаешь ли ты, девочка, что ты жила как королева по сравнению со мной! По крайней мере, в детстве ты спала на соломе и ела хлеб!.. Я же, когда повезет, проводил ночи в Клиши, в печи для обжига гипса, как настоящий шатун²⁸, а голод утолял капустными листьями, что валяются возле придорожных тумб. Но идти в Клиши было далеко, а от голода у меня подгибались ноги, и чаще всего я спал под колоннами Лувра... зимой же просыпался иной раз под белыми простынями... когда шел снег.

– Мужчина куда выносливее, чем бедная худенькая девочка, – сказала Лилия-Мария, – к тому же я была маленькая, как воробышек...

– И ты еще помнишь об этом?

– Еще бы! Когда Сычиха принималась бить меня, я падала с первого же удара; тогда она пинала меня ногами, приговаривая: «У этой дуры сил ни на грош, она валится от одного щелчка». Старуха вечно звала меня воровкой, другого, настоящего имени, у меня не было, а Воровкой она меня сама окрестила.

– То же было и со мной, меня звали как придется, словно я был бездомным псом: мальчик, Альбинос, как тебя там. Поразительно, до чего у нас с тобой похожая судьба, дочка! – воскликнул Поножовщик.

– Это правда... если говорить о нищете, – сказала Лилия-Мария, все время обращаясь к Поножовщику.

Помимо воли она испытывала чувство, похожее на стыд, в присутствии Родольфа и едва осмеливалась поднять на него глаза, хотя он, по-видимому, принадлежал к тем людям, среди которых она выросла.

– А что ты делала, когда Сычиха не посылала тебя за червями? – спросил Поножовщик.

– Одноглазая заставляла меня просить милостыню до самой ночи неподалеку от нее: ведь по вечерам она варила на Новом мосту большие ячменные леденцы. О, тогда о куске хлеба нечего было и думать! Если я, на свое горе, просила есть, Сычиха говорила, сопровождая свои слова колотушками: «Когда ты наберешь десять су милостыни, Воровка, я дам тебе поужинать». Иной раз от голода и побоев я принималась громко плакать. Одноглазая вешала мне на шею лоток с леденцами для продажи и заставляла стоять на месте неподалеку от нее. Сколько я там слез пролила, как дрожала от холода и голода!

– В точности как я, доченька, – сказал Поножовщик, прерывая Певунью, – кто бы мог подумать, что от голода дрожишь так же, как от холода.

– Словом, я оставалась на Новом мосту до одиннадцати часов вечера со своей выставкой леденцов на шее. Мои слезы... часто трогали прохожих, и я набирала иной раз десять, а то и пятнадцать су, которые и отдавала Сычихе.

– В самом деле, пятнадцать су – знатная выручка для такого воробышка, как ты!

– Еще бы! Но, видя это...

– Одним глазом, – заметил, смеясь, Поножовщик.

– Конечно, ведь другого у нее не было... Сычиха взяла за привычку бить меня и перед тем, как нам с ней идти на Новый мост, чтобы мои слезы вызывали жалость прохожих и увеличивали подаяние.

– Это было не так уж глупо.

– Ты думаешь, Поножовщик? В конце концов я притерпелась к побоям; я видела, что Сычиха злится, если я не плачу, и, чтобы досадить ей, чем больнее она меня била, тем громче я смеялась, а по вечерам, вместо того чтобы обливаться слезами при продаже леденцов, я пела как жаворонок, хотя мне вовсе не хотелось... петь.

²⁸ Бродяга.

– Скажи-ка... эти леденцы... они, верно, очень соблазняли тебя, бедная моя Певунья?

– Еще бы, Поножовщик; и все же я ни разу не попробовала их. Но какой это был соблазн!.. Он-то и погубил меня... Однажды, когда я шла домой с Монфокона, какие-то мальчишки побили меня и утащили мою корзинку. Возвращаясь домой, я знала, что меня ожидают колодушки, а не корка хлеба. Вечером, до того как отправиться на мост, Сычиха, разъяренная тем, что накануне я ничего не собрала, принялась не бить меня, как обычно, а истязать до крови, вырывая у меня волосы на висках – место это самое чувствительное.

– Дьявольщина! Ну это уж слишком! – вскричал разбойник, сдвинув брови и ударяя кулаком по столу. – Бить ребенка – это не по мне... а истязать его... Чертова баба!

Родольф внимательно выслушал рассказ Лилии-Марии и теперь с удивлением смотрел на Поножовщика. Этот проблеск чувствительности удивлял его.

– Что с тобой, Поножовщик? – спросил он.

– Что со мной? Как, разве вас не трогает, что эта старая живодерка мучает ребенка? Неужто душа у вас такая же жесткая, как кулаки?

– Продолжай, девочка, – сказал Родольф, не отвечая на слова Поножовщика.

– Я уже говорила вам, что Сычиха тиранила меня, ей хотелось, чтобы я плакала; но меня это озлобило, и однажды, чтобы вывести ее из себя, я со смехом пришла на мост со своими леденцами. Одноглазая стояла у печки... И время от времени показывала мне кулак. А вместо того, чтобы плакать, я запела громче обычного, а между тем от голода у меня кишки свело. Я полгода продавала леденцы и ни разу их не попробовала. Ей-богу, в тот день я не удержалась... Отчасти от голода, отчасти чтобы позлить Сычиху, я беру один леденец и съедаю его.

– Bravo, дочка!

– Съедаю еще один.

– Bravo, да здравствует хартия!!!²⁹

– Леденцы казались мне такими вкусными! А тут торговка апельсинами принимается кричать: «Эй, Сычиха! Воровка поедает твои запасы!»

– Дьявольщина! Каша заваривается... заваривается каша, – проговорил Поножовщик, чрезвычайно заинтересованный рассказом. – Бедная мышка! Как ты небось задрожала, когда Сычиха заметила, что ты делаешь.

– Как же ты вышла из положения, бедная Певунья? – спросил Родольф, не менее заинтересованный, чем Поножовщик.

– Да, мне пришлось несладко! Но самое забавное, что одноглазая не могла отойти от своего варева, – проговорила, смеясь, Лилия-Мария, – хотя она и злобствовала, видя, что я поедаю ее леденцы.

– Ха!.. Ха!.. Ха!.. Что правда, то правда. Вот так положение! – воскликнул, хохоча, Поножовщик.

Посмеявшись вместе с ним, Лилия-Мария продолжала:

– Тут я подумала о побоях, которые меня ожидают, и сказала себе: «Плевать, все равно мне быть битой, что за один леденец, что за три». Беру третий леденец, вижу, что Сычиха издала угрожает мне своей большой железной вилкой... я помахиваю леденцом и съедаю его, ей-богу, не вру, у нее под носом.

– Bravo, дочка!.. Понимаю теперь, почему ты только что уколола меня ножницами... Полно, полно, я уже говорил об этом – смелости тебе не занимать. Но после твоей проделки Сычиха, видно, собралась живьем содрать с тебя кожу?

– Загасив свою печурку, она подходит ко мне... Милостыни я собрала на три су, а леденцов съела на целых шесть... Когда одноглазая взяла меня за руку, чтобы отвести домой, мне

²⁹ Имеется в виду Конституционная хартия 1814 г., которая приобрела особое значение после ее пересмотра в 1830 г. (Примеч. перев.)

показалось, что я упаду, до того мне было страшно... я помню тот вечер так ясно, словно наблюдала за собой со стороны... Как раз приближался Новый год. Ты знаешь, сколько лавок с игрушками на Новом мосту? Весь вечер у меня рябило в глазах... только оттого, что я любовалась на красивых кукол, на их красивые домики... Подумай, как это занятно для ребенка...

– А у тебя никогда не было игрушек, Певунья?

– У меня? Ну и балда же ты!.. Да кто бы мне подарил их? Наконец вечер кончился; хотя стояла зима, на мне не было ни чулок, ни рубашки, одно только поношенное полотняное платье да сабо на ногах. Право, я не задыхалась от жары. Так вот, когда одноглазая взяла меня за руку, я вся вспотела. Больше всего меня пугало, что всю дорогу Сычиха что-то бубнила себе под нос, а не ругалась, не орала, как обычно... Она только крепко держала меня за руку и заставляла идти быстро, так быстро, что мне приходилось бежать за ней. По дороге я потеряла сабо, но не смела сказать ей об этом и бежала дальше, ступая по тротуару босой ногой... Когда мы вернулись домой, вся нога у меня была в крови.

– Что за сволочь эта старуха! – вскричал Поножовщик, гневно ударяя кулаком по столу. – У меня сердце надрывается, как подумаю, что девчужка семенит за этой стервой, несмотря на свою окровавленную ногу.

– Мы жили на Дробильной улице... на чердаке. Внизу, рядом с входной дверью, помещался ликерщик. Сычиха входит к нему, по-прежнему держа меня за руку, и выпивает за стойкой полштофа водки.

– Черт возьми! Да если бы я столько выпил, то сразу бы окосел.

– Это была ее обычная порция. Недаром она ложилась спать вдрызг пьяная. Поэтому, наверно, она так больно била меня по вечерам. Поднимаемся к себе. Мне было невесело, можешь мне поверить. Сычиха запирает дверь на два поворота ключа; я бросаюсь к ее ногам и умоляю простить меня за то, что съела ее леденцы. Она не отвечает, и я слышу, как она бормочет, расхаживая по комнате:

«Что мне сделать с ней сегодня вечером, с этой воровкой леденцов? Что мне такое с ней сделать?» Она останавливается и смотрит на меня, вращая своим зеленым глазом... Я все еще стою на коленях. Внезапно кривая подходит к полке и берет клещи.

– Клещи! – воскликнул Поножовщик.

– Да, клещи.

– Для чего?

– Чтобы бить тебя? – говорит Родольф.

– Чтобы щипать тебя? – говорит Поножовщик.

– Как бы не так!

– Чтобы вырывать у тебя по волоску?

– Не отгадали! Да и не пробуйте!

– Сдаюсь.

– Сдаемся.

– Чтобы вырвать у меня зуб³⁰.

Поножовщик разразился такими ругательствами, такими яростными проклятиями, что посетители кабака взглянули на него с удивлением.

– В чем дело? Что с ним такое? – спросила Певунья.

– Что со мной?.. Да ее вглухую³¹, эту Сычиху, стоит ей попасть мне в руки!.. Где она? Скажи, Певунья, где она? Только бы мне найти эту чертовку, и я враз ее остужу³².

³⁰ Мы просим читателей, которые найдут эти жестокости неправдоподобными, вспомнить о почти ежегодных приговорах, выносимых озверевшим людям, которые бьют, истязают детей. Даже отцы и матери не чужды этим зверствам.

³¹ Зарежу.

³² Убью.

Глаза разбойника налились кровью.

Разделяя чувства Поножовщика, возбужденного жестокостью одноглазой, Родольф был поражен, что бывший убийца пришел в такое неистовство, услышав, что разъяренная старуха собирается вырвать зуб у ребенка.

Нам кажется, что такое чувство возможно, более того, вполне вероятно у жестокого человека.

– И что же, эта старая хрычовка все же вырвала у тебя зуб, бедная девочка? – спросил Родольф.

– Еще бы, конечно, вырвала!.. Но не сразу! Боже мой! Как она корпела надо мной! Голову мою она зажала между коленями точно в тисках. Наконец, с помощью клещей и пальцев, она вытащила у меня зуб, а затем сказала, верно, чтобы напугать меня: «Теперь я буду каждый день вырывать у тебя по зубу, Воронка; а когда ты останешься без зубов, я брошу тебя в воду, и тебя съедят рыбы; они отомстят тебе за то, что ты ходила за червями для наживки». Я вспоминаю об этом, потому что такая месть показалась мне несправедливой. Как будто я ходила за червями для своего удовольствия.

– Что за подлюга! – вскричал с еще большей яростью Поножовщик. – Ломать, рвать зубы у ребенка!

– Что ж тут такого? Смотри, ведь теперь ничего не заметно? – проговорила Лилия-Мария.

И, улыбнувшись, она приоткрыла свои розовые губки и показала два ряда маленьких зубов, белых, как жемчужины.

Чем был вызван этот ответ несчастной Певуньи? Беззаботностью, забывчивостью, великодушием? Родольф заметил также, что в ее рассказе не было ни слова ненависти к ужасной женщине, мучившей ее в детстве.

– И что ж ты сделала на следующий день? – спросил Поножовщик.

– Право, я была вконец измучена. Наутро, вместо того чтобы идти за червями, я побежала в сторону Пантеона и шла весь день в одном и том же направлении, до того я боялась Сычихи. Я готова была отправиться на край света, лишь бы не попасть к ней в лапы. Очутилась я на глухой окраине, где не у кого было попросить милостыни, да я и не осмелилась бы это сделать. Ночь я провела на складе среди штабелей дров. Я была маленькая, как мышка, подлезла под старые ворота и зарылась в кучу древесной коры. Мне так хотелось есть, что я принялась жевать тоненькую стружку, чтобы обмануть голод, но она оказалась слишком жесткой. Мне удалось откусить лишь кусочек березовой коры; березовая кора помягче. И тут я заснула. На рассвете я услышала какой-то шум и заползла дальше в глубь склада. Там было почти жарко, как в подвале. Если бы не голод, я еще никогда не чувствовала себя так хорошо зимой.

– В точности как я в моей гипсовой печи.

– Я не смела выйти со склада: боялась, что Сычиха разыскивает меня, чтобы вырвать мне зубы, а затем бросить в воду на съедение рыбам, и она, конечно, поймает меня, как только я сойду с места.

– Прошу, не говори больше об этой старой ведьме; у меня глаза наливаются кровью!

– Наконец, на другой день, я опять пожевала немного березовой коры и уже стала засыпать, когда меня внезапно разбудил громкий собачий лай. Прислушиваюсь... Собака продолжает лаять, приближаясь к штабелю дров, где я спряталась. Новая напасть! К счастью, собака, не знаю почему, не появлялась... Но ты будешь смеяться, Поножовщик.

– С тобой всегда можно посмеяться... Ты все же славная девочка. И ей-богу, я жалею, что ударил тебя.

– А почему тебе было и не ударить меня? Ведь у меня нет защитника.

– А я? – спросил Родольф.

– Вы очень добры, господин Родольф, но Поножовщик не знал, что вы окажетесь там... да и я не знала.

– Все равно от своих слов я не откажусь... Очень жалею, что ударил тебя, – повторил Поножовщик.

– Продолжай свой рассказ, детка, – сказал Родольф.

– Итак, я лежала, притулившись под штабелем дров, когда залаяла собака и чей-то грубый голос сказал: «Моя собака лает, кто-то спрятался на складе». – «Наверно, воры», – говорит другой голос. И оба они начинают науськивать собаку: «Пиль! Пиль!»

Собака бежит прямо на меня; испугавшись, я закричала что есть мочи. «Что это? – говорит первый голос. – Как будто ребенок кричит...» Мужчины отзывают собаку, идут за фонарем, я выхожу из своего убежища и оказываюсь лицом к лицу с толстым мужчиной и с рабочим в блузе. «Что ты делаешь на моем складе, воровка?» – злобно спрашивает толстый человек. «Мой добрый господин, я не ела уже два дня; я убежала от Сычихи, которая вырвала у меня зуб и хотела бросить в реку на съедение рыбам; мне негде было переночевать, я подлезла под ваши ворота и проспала ночь на куче коры под вашими штабелями; я никому не хотела причинить зла».

Тут торговец говорит рабочему: «Меня такими рассказами не проведешь, эта девчонка – воровка, она пришла воровать мои дрова».

– Ах он старый осел, старый болван! – вскричал Поножовщик. – Воровать его поленья, а тебе было всего восемь лет!

– Конечно, он сказал глупость... Рабочий правильно ответил: «Воровать ваши дрова, хозяин? Да откуда у нее силы возьмутся? Она меньше самого мелкого вашего полешка». – «Ты прав, – говорит толстяк. – Но воры часто учат детей шпионить за богатыми людьми и даже прятаться в их домах, чтобы ночью открывать входные двери своим сообщникам. Надо отвести ее в полицию».

– Ну и дурак стоеросовый этот торговец...

– Меня отводят в полицию. Я рассказываю все по порядку, выдаю себя за бродяжку; меня сажают в тюрьму, а затем уголовный суд отправляет меня за бродяжничество в исправительное заведение, где я должна пробыть до шестнадцати лет. Я горячо благодарю судей за их доброту... Еще бы... Понимаешь, в тюрьме меня кормили, никто не бил меня, это был рай по сравнению с чердаком Сычихи. Кроме того, в тюрьме я научилась шить. Но вот беда: я ленилась и любила бездельничать, мне нравилось петь, а не работать, особенно когда светило солнышко... О, если на дворе было ясно, тепло, я не могла удержаться и принималась петь... и тогда... как это ни странно, мне чудилось, что я на воле.

– Иначе говоря, деточка, ты прирожденный соловей, – сказал Родольф улыбаясь.

– Вы очень любезны, господин Родольф; с того времени меня стали звать Певуньей, а не Воровкой. Наконец мне исполняется шестнадцать лет, и я выхожу из тюрьмы... За ее воротами меня встречает здешняя Людоедка и две-три старухи, которые навещали некоторых заключенных, моих приятельниц, и всегда говорили мне, что в день моего освобождения у них найдется для меня работа.

– А, вот оно что! Понимаю, – пробормотал Поножовщик.

– «Принцесса, ангелочек, красотка, – сказали мне Людоедка и старухи. – Хотите поселиться у нас? Мы оденем вас, как куколку, и вы ничего не будете делать, только веселиться». Ты смекаешь, Поножовщик, что я не зря провела восемь лет в тюрьме и понимала, что к чему. Я их послала к черту, этих старых сводниц, и сказала себе: «Я хорошо умею шить, скопила за это время триста франков, и я еще молода...»

– Да, молода и красива... дочка, – сказал Поножовщик.

– Я провела в тюрьме восемь лет и теперь хочу попользоваться жизнью, ведь это никому не повредит; а когда деньги кончатся, то и работа найдется... И я начинаю сорить деньгами. Это была большая ошибка, – прибавила Лилия-Мария со вздохом, – прежде всего мне надо было обеспечить себя работой... Но дать мне совет было некому... Словом, что сделано, то

сделано... Итак, я принимаюсь тратить деньги. Прежде всего покупаю цветов, чтобы украсить свою комнату; я так люблю цветы! Потом покупаю платье, красивую шляпу и еду на осле в Булонский лес, еду в Сен-Жермен – тоже на осле.

– Небось с любовником, дочка? – спросил Поножовщик.

– Бог ты мой, нет; мне хотелось быть самостоятельной. Мы развлекались с моей товаркой по тюрьме, которая попала туда из воспитательного дома, хорошей такой девчонкой; ее звали по-разному, кто Риголеттой, кто Хохотушкой, потому что она постоянно смеялась.

– Риголетта? Хохотушка? Что-то не припомню такой, – сказал Поножовщик, видимо роясь в своих воспоминаниях.

– Еще бы, конечно, ты ее не знаешь: Хохотушка – честная девушка; она превосходная швея и теперь зарабатывает не меньше двадцати пяти су в день; и у нее собственное гнездышко... Вот почему я больше не посмела увидеться с ней. Я так усердно сорила деньгами, что под конец у меня осталось всего сорок три франка.

– На эти деньги тебе следовало купить ювелирный магазин, – пошутил Поножовщик.

– Признаться, я поступила лучше... Белье мне стирала женщина, родом из Лотарингии, кроткая, как овечка; в то время она была на сносях... А из-за своей работы ей вечно приходилось валандаться в воде... Представляешь? Работать прачкой она больше не может и просит принять ее в Бурб; мест там больше нет, и она получает отказ; бедняжка должна вот-вот родить, заработка больше нет, она даже не может заплатить за койку в меблированных комнатах! К счастью, как-то вечером она случайно встречает у моста Парижской Богоматери жену Губена, которая уже четыре дня прячется в подвале полуразрушенного дома, что находится позади больницы Отель-Дьё.

– А почему жена Губена должна была прятаться?

– Она боялась мужа, который хотел убить ее, и выходила только по ночам, чтобы купить себе хлеба. Таким образом она повстречала бывшую прачку, которая не знала, где приклонить голову, а ведь она скоро должна была родить... Жена Губена привела ее к себе в подвал. Все же это была крыша над головой.

– Погоди, погоди, жену Губена зовут Эльминой?

– Да, славная она женщина и хорошая портниха, – ответила Певунья, – она шила на меня и на Хохотушку... Словом, она сделала, что могла: отдала половину своего подвала, соломенной подстилки и хлеба бывшей прачке, которая родила там крохотного, жалкого ребеночка; а у женщин нет даже одеяла, чтобы завернуть его, ничего нет, кроме соломы!.. Тогда жена Губена не выдержала. Рискуя встретить мужа, который повсюду разыскивал ее, она вышла среди бела дня на улицу, чтобы повидаться со мной; она знала, что у меня осталось еще немного денег и что я не жадная: как раз мы с Хохотушкой собирались сесть в аглицкую кабарлетку³³ и истратить мои последние сорок три франка на поездку за город, в поля, я так люблю деревню, люблю смотреть на деревья... траву... Но когда Эльмина рассказала мне о несчастье с прачкой, я отослала кабарлетку, бегом вернулась к себе домой, взяла постельное белье, матрац, одеяла, вызвала носильщика и поспешила с ним в подвал к жене Губена... Вы бы видели, как была довольна бедная роженица. Мы с Эльминой попеременно ухаживали за ней, а когда она поправилась, я помогала ей до тех пор, пока она не вернулась на свою прежнюю работу. Теперь она зарабатывает себе на жизнь, но мне никак не удастся всучить ей счет за стирку моего белья! Я прекрасно понимаю, что таким образом она хочет расплатиться со мной!.. Но... если так будет продолжаться, я откажусь от ее услуг, – важно проговорила Певунья.

– А что случилось с женой Губена?

– Как, ты не знаешь? – спросила Певунья.

– Нет, а в чем дело?

³³ Наемный кабриолет на четырех колесах.

– Несчастливая женщина!.. Губен не промахнулся! Трижды всадил ей нож между лопатками! Он узнал, что ее видели возле больницы Отель-Дьё; как-то вечером подстерег ее, когда она вышла из подвала, чтобы купить молока для роженицы, и убил ее.

– Так, значит, ему амба³⁴, и, видно, через неделю его чикнут³⁵.

– Вот именно.

– И что же ты сделала, девочка, когда истратила на роженицу свои последние деньги? – спросил Родольф.

– Я попробовала найти работу. Я хорошо умела шить, была предприимчивой, чувствовала себя уверенно; вхожу в белошвейную мастерскую на улице Святого Мартина. Мне не хотелось быть обманщицей; я говорю, что два месяца назад вышла из тюрьмы и ищу работу; мне указывают на дверь. Я прошу дать мне на пробу какое-нибудь шитье; хозяйка мастерской отвечает, что она не доверит мне даже рубашки, а просить об этом – значит считать ее за дуру. Когда я, убитая, возвращалась домой... мне повстречалась Людоедка и одна из старух, которые всегда приставали ко мне после выхода из тюрьмы... Я не знала, как жить дальше... Они увезли меня... напоили водкой!.. Вот и все.

– Понимаю, – сказал Поножовщик, – теперь я знаю тебя так же хорошо, как если был бы сразу твоим отцом и матерью и ты никогда не покидала бы меня. Вот это исповедь так исповедь!

– Можно подумать, будто ты жалеешь, что рассказала нам свою жизнь, деточка? – спросил Родольф.

– Вы правы, тяжело ворошить старое. Сегодня мне впервые случилось вспомнить обо всем, начиная с детства, а это невесело... не правда ли, Поножовщик?

– Ладно уж, – иронически сказал Поножовщик, – ты, видно, жалеешь, что не была кухонной девкой в какой-нибудь харчевне или прислугой у старых дураков и нянькой их старых кошек?

– Все равно... быть честной, верно, очень приятно... – проговорила со вздохом Лилия-Мария.

– Честной!.. Взгляните только на эту физиономию!.. – воскликнул разбойник с громким смехом. – Честной!.. А почему бы тебе не получить награду за добродетель, чтобы почтить неизвестных тебе отца с матерью?

С лица Певуньи сошло за последние минуты характерное для нее беззаботное выражение.

– Ты знаешь, Поножовщик, что я не плакса, – сказала она, – отец мой или мать бросили меня у придорожной тумбы, как надоевшую собачонку! Я не в обиде на них, может, они и сами не могли прокормиться! Но, видишь ли, бывает доля счастливее моей.

– Счастливее твоей? Что тебе еще надобно? Ты хороша, как картинка; тебе нет семнадцати лет; ты поешь, как соловей; ты кажешься девочкой, тебя прозвали Лилией-Марией, и ты еще жалуешься! Посмотрим, что ты скажешь, когда в ходунах³⁶ у тебя будет грелка и на голове парик под шиншиллу, как у нашей Людоедки.

– О, я никогда не доживу до ее лет.

– Быть может, у тебя есть патент на то, как не стать гирухой?³⁷

– Нет, но я долго не протяну! У меня такой нехороший кашель.

– Вот оно что! Я так и вижу тебя на кречеле³⁸. Ну и глупая же ты... прости господи.

– И часто в голову тебе приходят такие мысли, Певунья? – спросил Родольф.

³⁴ Конец.

³⁵ Казнят.

³⁶ Ногах.

³⁷ Старухой.

³⁸ Похоронных дрогах.

– Иногда... Вы-то, господин Родольф, наверно, поймете меня. По утрам, когда за монетку, данную мне Людоедкой, я покупаю себе немного молока у молочницы, которая останавливается на углу Старосуконной улицы, и вижу, как она возвращается домой на своей тележке, запряженной ослом, я часто завидую ей... Я говорю себе:

«Она едет в деревню, на вольный воздух, в свою семью... а я поднимаюсь одна-одинешенька на чердак Людоедки, где даже в полдень бывает темно».

– Ну что ж, дочь моя, выкини такую штуку, будь честной, – сказал Поножовщик.

– Честной, бог ты мой! А на какие шиши? Одежда, которую я ношу, принадлежит Людоедке; я должна ей за помещение и за еду... Я не могу уйти отсюда... Она арестует меня как ворону... Я в ее власти... Мне нужно расплатиться с ней.

При этих горестных словах бедная девушка невольно вздрогнула.

– Тогда оставайся такой, какая ты есть, и не сравнивай себя с крестьянкой, – сказал Поножовщик. – Не сходи с ума! Подумай только, что ты блистаешь в столице, тогда как молочница возвращается домой, чтобы варить кашу своим соплякам, доить коров, идти за травой для кроликов и получать взбучку от мужа, когда тот возвращается из трактира. Вот уж действительно завидная судьба!

– Налей мне, Поножовщик, – сказала Лилия-Мария после длительного молчания и протянула ему стакан. – Нет, не вина, водки... Водка крепче, – проговорила она своим нежным голоском, отстраняя жбан с вином, который взял было Поножовщик.

– Водки! Наконец-то! Вот такой я люблю тебя, дочка, ты не робкого десятка! – сказал он, не поняв состояния девушки и не заметив слезы, повисшей на ее ресницах.

– Как жаль, что водка такая противная... Она здорово одурманивает... – проговорила Лилия-Мария, поставив на стол стакан, который она выпила с брезгливым отвращением.

Родольф выслушал с огромным интересом этот наивный и печальный рассказ. Не дурные наклонности, а нищета и обездоленность привели к гибели эту несчастную девушку.

Глава IV. История Поножовщика

Читатель, верно, не забыл, что за двумя собутыльниками внимательно следил некто третий, недавно пришедший в кабак.

Как мы уже говорили, один из этих мужчин был в греческом колпаке, прятал свою левую руку и настойчиво расспрашивал Людоедку, не видела ли она в тот день Грамотея.

Во время рассказа Певуньи, которого они не могли слышать, оба дружка несколько раз перешептывались, с тревогой посматривая на дверь.

Человек в греческом колпаке сказал своему приятелю:

– Что-то Грамотей никак не прихрюет³⁹, как бы андрус⁴⁰ не пришел его, чтобы отколоть побольше⁴¹.

– Тогда наше дело дрянь, ведь это мы вскормили дите⁴², – отозвался второй.

Новоприбывший, который наблюдал за этими двумя типами, сидел слишком далеко и не мог слышать их разговора; сверившись несколько раз с какой-то запиской, лежащей на дне его фуражки, он, видимо, остался доволен своими наблюдениями; встав из-за стола, он обратился к Людоедке, которая дремала за стойкой, положив ноги на грелку, а толстого черного кота – к себе на колени.

– Вот что, мамаша Наседка, – сказал он, – я мигом вернусь, последи за моим жбаном и тарелкой... Надо остерегаться любителей полакомиться за чужой счет.

– Будь спокоен, парень, – ответила хозяйка, – если твоя тарелка и твой жбан пусты, никто на них не позарится.

Новоприбывший от души посмеялся этой шутке и вышел, никем не замеченный.

Когда этот человек открыл дверь, Родольф увидел на улице угольщика огромного роста с перепачканным лицом и нетерпеливо махнул рукой, недовольный его навязчивой заботливостью. Но угольщик не принял во внимание досаду Родольфа и не отошел от кабака.

Несмотря на выпитый ею стакан водки, Певунья не развеселилась; напротив, лицо ее становилось все печальнее; она сидела, прислонившись спиной к стене, опустил голову на грудь, а ее большие голубые глаза машинально блуждали по сторонам; казалось, несчастную девушку булбуряют самые мрачные мысли.

Встретившись раза два-три с пристальным взглядом Родольфа, Певунья отводила глаза; она не понимала того странного впечатления, которое он производил на нее. Его присутствие стесняло, тяготило ее, и она упрекала себя в том, что не проявляет как должно своей благодарности к человеку, вырвавшему ее из рук Поножовщика; она готова была пожалеть, что так искренне рассказала о своей жизни в его присутствии.

Поножовщик, напротив, был в превеселом настроении; он один справлялся с заказанным блюдом, а вино и водка сделали его особенно общительным; чувство стыда, вызванное тем, что он нашел на себя управу, прошло благодаря щедрости Родольфа; к тому же он признавал за своим противником такое огромное превосходство, что испытанное унижение уступило место смешанному чувству восхищения, страха и уважения.

Отсутствие злопамятства, суровая откровенность, с которой он признался в убийстве человека и в справедливости понесенного наказания, самолюбивая гордость, с которой он похвалялся, что никогда не крал, доказывали, по крайней мере, что, несмотря на свои преступле-

³⁹ Не придет.

⁴⁰ Дружок.

⁴¹ Не прикончил его, чтобы отхватить себе побольше.

⁴² Обмозговали и подготовили дело.

ния, Поножовщик не совсем очерствел душой. Эти черты характера не ускользнули от пронизательного взгляда Родольфа, который с любопытством ожидал рассказа Поножовщика.

Человеческое честолюбие так ненасытно, так причудливо в своих разнообразных проявлениях, что Родольф желал встречи с Грамотеем, с этим страшным преступником и силачом, которого он мысленно сверг с пьедестала. И чтобы унять нетерпение, он попросил Поножовщика продолжить рассказ о своих приключениях.

– Ну же... приятель, – сказал он, – мы слушаем тебя.

Поножовщик осушил стакан и начал свою повесть в таких выражениях:

– Ты, бедная Певунья, была все же подобрана Сычихой, провались она в тартарары! У тебя было пристанище еще до того, как тебя отправили в тюрьму за бродяжничество... А я не припомню, чтобы мне доводилось спать в кровати до девятнадцати лет... Счастливым возрастом, когда я стал солдатом.

– Ты был на военной службе, Поножовщик? – спросил Родольф.

– Целых три года, но не забегайте вперед – всему свое время. Каменные плиты Лувра, гипсовые печи в Клиши и каменоломни в Монруже – таковы были те гостиницы, в которых я ночевал с юных лет. Как видите, у меня был дом в Париже и даже в деревне – ни больше ни меньше.

– И никакого ремесла?

– Сам не знаю, хозяин... припоминаю, как в тумане, что в детстве я свигался⁴³ со стариком тряпичником, который бил меня своим крюком. Должно быть, так оно и было, потому что позже я видеть не мог этих купидонов с их ивовыми колчанами: меня так и подмывало наброситься на них: явное доказательство, что они колошматили меня в детстве. Мое первое ремесло? Я работал подручным на живодерне в Монфоконе... Мне было лет десять-двенадцать, когда я впервые с отвращением перерезал горло несчастной старой кляче, но через месяц я и думать перестал о лошадях – какое там! Даже вошел во вкус этого дела. Ни у кого не было таких острых ножей, как у меня. Так и хотелось пустить их в ход!.. Когда я расправлялся с положенным количеством лошадей, мне бросали в награду кусок огузка клячи, сдохшей от болезни: туши здоровых лошадей продавались рестораторам, обосновавшимся вблизи от Медицинской школы, и те превращали их в говядину, в баранину, телятину, дичь, чтобы потрафить вкусам посетителей... А когда я завладевал принадлежащим мне куском мяса, мне сам черт был не брат! Я бежал со своей добычей в печь для обжига гипса, как волк – в свое логово, и там с разрешения рабочих приготавливал такое жаркое, что пальчики оближешь! Если печи были загашены, я шел в Роменвиль, собирал там хворост, складывал его в углу бойни, высекал искру с помощью огнива и жарил мясо целиком... Признаться, оно бывало почти сырое, зато таким манером я не всегда ел одно и то же.

– Но как же тебя звали? – спросил Родольф.

– Волосы у меня были еще светлее, чем теперь, кудель куделью, а кровь часто приливалась к глазам, за что меня и прозвали Альбиносом. Альбиносы – это белые кролики с красными глазами, – серьезно добавил Поножовщик в виде научного пояснения.

– А твои родители? Твоя семья?

– Мои родители? Они жили в доме под тем же номером, что и родители Певуньи. Где я родился? На первом попавшемся углу любой улицы, справа или слева от какой-нибудь тумбы, на берегу безымянного ручья.

– Ты проклинал своего отца и свою мать за то, что они тебя бросили?

– Проклинать их? Какой в этом прок?.. Но все же... по правде сказать... они сыграли со мной злую шутку, я не жаловался бы, если бы они поступили со мной так, как следовало бы

⁴³ Бродяжничал.

поступать с нищими всемогущему⁴⁴, то есть избавлять их от холода, голода и жажды; ему это ничего не стоило бы, а нищим было бы легче не воровать.

– Ты страдал от голода, холода и все же не стал вором, Поножовщик?

– Нет, а между тем я здорово бедовал, поверьте... Иногда шавал⁴⁵ по двое суток кряду, и не раз, не два, а гораздо чаще... И все же я не крал.

– Потому что боялся тюрьмы?

– Ну и шутник! – воскликнул Поножовщик, пожимая плечами, и громко расхохотался. – Выходит, я не крал хлеба из страха получить хлеб?.. Я оставался честным и подыхал с голоду, а если бы я крал, то меня кормили бы в тюрьме... и даже сытно кормили!.. Но нет, я не крал потому... потому... словом, потому, что красть не в моих понятиях!

Этот поистине прекрасный ответ, суть которого сам Поножовщик вряд ли понимал, глубоко удивил Родольфа.

Он почувствовал, что бедняк, остающийся честным среди жесточайших лишений, вдвойне достоин уважения, ибо наказание за кражу может стать для него источником сытой жизни.

Родольф протянул руку этому несчастному дикарю от цивилизации, еще не вполне развращенному нищетой.

Поножовщик взглянул на своего амфитриона удивленно, чуть ли не с уважением и едва осмелился дотронуться до протянутой ему руки. Он смутно ощущал, что между ним и Родольфом лежит глубокая пропасть.

– Молодец! – сказал ему Родольф. – Ты сохранил мужество и честь...

– Ей-богу, не знаю, – проговорил Поножовщик взволнованно, – но то, что вы говорите... видите ли... никогда я еще не чувствовал ничего похожего... одно могу сказать... и эти слова... и ваши удары в конце моей взбучки... мастерские удары... а вы, вместо того чтобы избить меня до полусмерти, платите за мой обед и говорите мне такие вещи. Но довольно об этом. Скажу одно: всегда, когда ни потребуется, вы можете рассчитывать на Поножовщика.

Не желая показать, что он тоже взволнован, Родольф спросил более сдержанно:

– И долго ты пробыл на бойне?

– Еще бы... Сначала мне было тошно перерезать горло этим несчастным старым клячам, которые не могли даже хорошенько лягнуть меня; но когда мне шел шестнадцатый год и голос мой начал ломаться, орудовать ножом стало для меня отрадой, потребностью, страстью, безумием! Я терял сон и аппетит... Я думал только об этом!.. Надо было видеть меня за работой; кроме старых холщовых штанов, на мне ничего не было. Я стоял со своим большим, хорошо наточенным ножом, а вокруг меня ожидали очереди пятнадцать-двадцать лошадей. Я не хвастаю. Дьявольщина! Не знаю, что на меня накатывало, когда я принимался за дело... какое-то безумие; в ушах у меня шумело, я приходил в ярость, в неистовство, глаза мои наливались кровью... и я резал, резал... резал их до тех пор, пока нож не выпадал у меня из рук! Дьявольщина! Какое наслаждение! Будь я миллионером, я платил бы деньги, чтобы заниматься этим делом.

– Вот откуда у тебя привычка баловаться ножом, – заметил Родольф.

– Да, наверно... Но когда мне исполнилось шестнадцать лет, эта ярость дошла до того, что, взявшись за нож, я терял голову и портил работу... Да, я кромсал лошадиные шкуры, нанося удары вкривь и вкось. В конце концов меня выгнали с бойни. Я хотел пойти в мясники: мне всегда нравилась эта работа. Не тут-то было! Они заважничали! Презирали меня! Так сапожник, мастер своего дела, презирает холодного сапожника. Видя такое дело – к тому же после шестнадцати лет моя страсть поиграть ножом прошла, – я стал искать любой работы...

⁴⁴ Бог. Как ни странно, но имя божье встречается даже в этом исковерканном языке.

⁴⁵ Не ел.

и не сразу ее нашел; в то время я часто голодал. Наконец я нанялся в каменоломни Монружа. Но через два года мне обрыдла эта работа – бегаешь с утра до ночи, как белка в колесе, из-за этого треклятого камня, а получаешь какие-то жалкие двадцать су в день. Я был высокий и здоровенный и решил поступить в солдаты. Меня спрашивают о моем имени, возрасте, просят предъявить бумаги. Имя? Альбинос. Возраст? Взгляните на мою бороду. Бумаги? Вот свидетельство из каменоломни в Монруже, за подписью моего начальника. Из меня мог выйти неплохой гренадер; я был завербован.

– С твоей силищей, с твоим мужеством и любовью действовать ножом ты стал бы, пожалуй, офицером, случись в это время война.

– Дьявольщина! Я и сам это понимаю! Убивать англичан или пруссаков было бы куда почетнее, чем резать старых кляч... Но, на мое несчастье, войны не было, зато была дисциплина... Если подмастерье выпшет своему хозяину, дело это плевое, в этом нет ничего такого: если он слабее противника, то сам получит вздрючку, если же сильнее, то получит ее хозяин. А его самого выставят за дверь, иногда посадят в тюрьму – и весь сказ. На военной службе – дело другое. Однажды сержант дал мне пинка, чтобы я скорее поворачивался; он был прав, ибо я гонял лодыря; я упрямлюсь, он толкает меня, я толкаю его; он берет меня за шиворот, я ударяю его кулаком. Тут солдаты наваливаются на меня. Я выхожу из себя, глаза наливаются кровью. Я сатанею... в руках у меня нож... – я как раз дежурил на кухне – и пошло, и пошло! Я принимаюсь орудовать ножом, как на бойне... Пришиваю⁴⁶ сержанта, раню двух солдат!.. Настоящее побоище!.. Я нанес одиннадцать ножевых ран им троим... подумать только... одиннадцать!.. Кровищи всюду было... кровищи, как на бойне!.. Я и сам был весь в крови.

С мрачным, диким выражением лица злодей потупился и умолк.

– О чем ты думаешь, Поножовщик? – спросил Родольф, с интересом наблюдавший за ним.

– Ни о чем, – резко ответил тот и продолжал со свойственным ему залихватским видом: – Наконец меня берут под стражу. Тащат на правилку и решают чикнуть⁴⁷.

– Тебе удалось бежать?

– Нет, меня не чикнули, но я пробыл пятнадцать лет на кобылке. Позабыл вам сказать, что, когда я был в полку, мне случилось вытащить из воды двух товарищей, которые чуть не утонули в Сене: мы стояли тогда гарнизоном в Мелене. В другой раз... но вы будете смеяться надо мной, скажете, пожалуй, что я чудодей, который не боится ни воды, ни огня, спасатель мужчин и женщин! Итак, в другой раз наш полк стоял в Руане. Все дома там деревянные, как загородные дачки; пожар начался в одном из кварталов, и скоро огонь уже полыхал вовсю; я был как раз дежурным по пожарной части. Приезжаем на место. Мне говорят, что какая-то старуха не может выбраться из своей спальни, к которой подбирается огонь: бегу туда. Дьявольщина! Да, там было жарковато... недаром мне вспомнились печи для обжига гипса в моей молодости. Все же я спас старуху, поджарив себе ступни ног. Словом, благодаря этим подвигам мой лекарь⁴⁸ так изворачивался, так молол языком, что мой приговор смягчили: вместо того чтобы отправиться под нож дяди Шарло⁴⁹, я пробыл пятнадцать лет на кобылке... Когда я узнал, что не буду гильотинирован, я хотел задушить болтуна адвоката. Понимаете, хозяин?

– Ты жалел, что твой приговор смягчили?

– Да... Тем, кто орудует ножом, нож дяди Шарло – справедливое наказание; тем, кто ворует, – кандалы на лапы! Каждому свое... Но нельзя заставлять тебя жить после того, как ты убил человека... Дворники не понимают, что делается с тобой, особенно в первое время.

⁴⁶ Убиваю.

⁴⁷ Тащат в суд и приговаривают к смертной казни.

⁴⁸ Адвокат.

⁴⁹ Палача.

– Значит, у тебя были угрызения совести?

– Угрызения совести? Нет, конечно, ведь я отбыл свой срок, – ответил варвар Поножовщик, – но вначале не проходило ночи, чтобы я не видел в кошмаре солдат и сержанта, которого зарезал, то есть... они были не одни, – прибавил преступник с ужасом, – десятки, сотни, тысячи других ждали своей очереди на огромной бойне... ждали, как лошади, которым я перерезал глотку в Монфоконе... Тут кровь бросалась мне в голову, и я брался за нож, как прежде, на бойне. Но чем больше я убивал людей, тем больше их становилось... И, умирая, они смотрели на меня так смиренно... что я проклинал себя за то, что убиваю их... но не мог остановиться... Это еще не все... У меня никогда не было брата... а выходило, что люди, чью кровь я проливал, – мои братья и что я их люблю... Под конец, когда сил у меня уже не было, я просыпался весь в поту, холодном, как талый снег.

– Дурной это сон, Поножовщик!

– Да, хуже некуда! Так вот, вначале на каторге я каждую ночь видел... этот сон. Поверьте, от такого кошмара можно сойти с ума или взбеситься. Недаром я дважды пытался покончить с собой, в первый раз проглотил ярь-медянки, а во второй попробовал задушить себя цепью, но, черт возьми, я силен как бык. От ярь-медянки мне захотелось пить, а от цепи, которой я стянул себе горло, остался на всю жизнь синий галстук. Потом кошмары стали реже, привычка жить взяла свое, и я стал таким же, как остальные.

– На каторге ты вполне мог научиться воровать.

– Да, но вкуса к воровству у меня не было... Те, что были на кобылке, поднимали меня на смех из-за этого, а я избивал их своей цепью. Вот так я и познакомился с Грамотеем. Что до него... ну и хватка! Он вздул меня не хуже, чем вы сегодня.

– Так он тоже освобожденный каторжник?

– Нет, ему навечно дали кобылу, но он сам себя освободил.

– Бежал с каторги? И никто его не выдал?

– Во всяком случае, я никогда не выдал бы Грамотея: вышло бы так, что я боюсь его.

– Но как же полиция не нашла его? Разве его приметы не были известны?

– Приметы?.. Как бы не так! Он давным-давно уничтожил личико, которым наделил его всемогутный. Теперь один лишь *пекарь*⁵⁰, что грешников припекает в аду, мог бы узнать Грамотея.

– Как же ему это удалось?

– Он начал с того, что подрезал себе нос, который был у него длиною в локоть, а затем умылся серной кислотой.

– Шутишь!

– Если он придет сюда сегодня вечером, вы сами в этом убедитесь: нос у Грамотея был как у попугая, а стал как у курносой⁵¹, не считая того, что губы у него величиною с кулак, а на лице столько шрамов, сколько заплат на куртке старьевщика.

– Значит, он стал неузнаваемым?

– За те полгода, что он бежал из Рошфора, легавые⁵² много раз видели его, но так и не узнали.

– За что его отправили на каторгу?

– Он был фальшивомонетчиком, вором и убийцей. Его прозвали Грамотеем, потому что у него красивый почерк и человек он очень умный.

– Его здесь боятся?

⁵⁰ Дьявол.

⁵¹ Смерти.

⁵² Полицейские (сыщики).

– Перестанут бояться, когда вы отколошматите его, как отколошматили меня. Дьявольщина! Любопытно было бы посмотреть на это.

– На что же он живет?

– Говорят, будто он хвастал, что убил и ограбил три недели назад торговца скотом на дороге в Пуасси.

– Рано или поздно его арестуют.

– Для того чтобы арестовать этого лиходея, требуется не меньше двух человек: у него всегда имеется под блузой два заряженных пистолета и кинжал; он говорит, что дядя Шарло ждет его, но умирают лишь один раз и, прежде чем сдаться, он перебьет всех, кто помешает ему удрать... Да, он говорит это напрямки, а так как он вдвое сильнее нас с вами, пришить его будет нелегко.

– А что ты делал после каторги?

– Я нанялся к подрядчику по выгрузке сплавного леса, работаю на набережной Святого Павла, этим и кормлюсь.

– Но если ты не скокарь, зачем тебе жить в Сите?

– А где, по-вашему, мне жить? Кто захочет знаться с бывшим каторжником? И кроме того, мне скучно в одиночестве, я люблю общество и живу здесь среди себе подобных. Иной раз поколочу кого-нибудь... Меня тут бояться как огня, но ключай⁵³ не может ко мне придраться; правда, иной раз за потасовку я и отсижу сутки в тюрьме.

– Сколько же ты зарабатываешь в день?

– Тридцать пять су. И так я буду жить до тех пор, пока у меня есть силы; а потом я возьму крюк да ивовый колчан, как тот старик тряпичник, которого я вижу в тумане моего детства.

– И все же ты не слишком несчастлив?

– Бывают люди понесчастнее меня, ясное дело. Если бы не кошмары о сержанте и солдатах, а мне они еще часто снятся, я спокойно дожидался бы минуты, когда околею, как и родился, возле какой-нибудь тумбы или в больнице... но этот кошмар... Черт бы его подрал... не люблю вспоминать о нем, – сказал Поножовщик.

И он выбил свою трубку о край стола.

Певунья рассеянно выслушала рассказ Поножовщика; по-видимому, она была погружена в какие-то печальные размышления.

Родольф и тот был задумчив.

Услышанные им рассказы пробудили в нем новые мысли.

Некое трагическое происшествие напомнило всем троим, в каком месте они находятся.

⁵³ Полицейский комиссар.

Глава V. Арест

Посетитель, который недавно вышел, поручив Людоедке свою тарелку и жбан с вином, вскоре вернулся в сопровождении широкоплечего энергичного вида мужчины.

– Вот так нежданная встреча, Борель! – сказал он ему.

– Входи же, давай выпьем с тобой по стакану вина.

Указав на новоприбывшего, Поножовщик шепотом сказал Родольфу и Певунье:

– Ну, теперь жди передряги... Это сыщик. Внимание!

Оба злодея – один из них сидел, надвинув до самых бровей греческий колпак, и не раз справлялся о Грамотее – обменялись быстрым взглядом, встали одновременно из-за стола и направились к двери, но двое полицейских бросились на них, издав условный крик.

Началась ожесточенная борьба.

Дверь таверны распахнулась, и другие агенты вбежали в залу, а на улице блеснули ружья.

Во время этой свалки угольщик, о котором мы уже упоминали, подошел к порогу кабака и, как бы случайно встретившись взглядом с Родольфом, приложил указательный палец к губам.

Быстрым, повелительным взмахом руки Родольф приказал ему уйти, а сам продолжал наблюдать за тем, что творилось в кабаке.

Мужчина в греческом колпаке орал словно одержимый. Полулежа на столе, он так отчаянно отбивался, что трое полицейских с трудом удерживали его. Подавленный, мрачный, с бескровным лицом и побелевшими губами, с отвислой дрожащей челюстью, его сообщник не оказал ни малейшего сопротивления и сам протянул руки, чтобы на них надели наручники.

Людоедка, привыкшая к таким сценам, безучастно сидела за стойкой, положив руки в карманы фартука.

– Что такое натворили эти двое, господин Нарсис Борель? – спросила она у знакомого ей агента.

– Убили вчера старуху с улицы Святого Христофора, чтобы обчистить ее комнату. Перед смертью несчастная женщина сказала, что укусила за руку одного из преступников. Мы следили за этими негодяями; мой приятель только что приходил сюда, чтобы опознать их; теперь голубчики попались.

– К счастью, они заранее уплатили мне за выпивку, – заметила Людоедка. – Не желаете ли вы выпить чего-нибудь, господин Нарсис? Ну хотя бы стаканчик «Идеальной любви» или «Утешения»?

– Нет, спасибо, мамаша Наседка, я должен доставить куда следует этих негодяев. Один из них никак не утихомирится.

В самом деле, убийца в греческом колпаке яростно сопротивлялся. Когда его подвели к извозчику, ожидавшему на улице, он стал так отбиваться, что пришлось тащить его на руках.

Охваченный нервной дрожью, сообщник убийцы едва держался на ногах, его лиловые губы шевелились, будто он что-то говорил... Его бросили в извозничью пролетку как мертвое тело.

– Вот что я вам скажу, мамаша Наседка, – заметил агент, – остерегайтесь Краснорукого: хитер, подлец! Он может втянуть вас в какое-нибудь грязное дело.

– Краснорукого? Я давным-давно не видела его в нашем квартале, господин Борель.

– С ним вечно так: если он где-нибудь находится... там-то его и не видно. Вы сами прекрасно знаете это... Не принимайте от него на хранение или в заклад ни вещей, ни денег: это будет рассматриваться как укрывательство краденого.

– Будьте спокойны, господин Борель: я боюсь Краснорукого больше, чем дьявола. Никогда не знаешь, куда он отправляется и откуда прибыл. В последний раз, когда я его видела, он сказал, что приехал из Германии.

– Во всяком случае, я вас предупредил... будьте осторожны.

Прежде чем уйти из кабака, полицейский агент внимательно осмотрел посетителей и сказал чуть ли не ласково Поножовщику:

– А, вот и ты, шалопай! Что-то давненько не слышать о тебе, о твоих потасовках! Видно, взялся за ум?

– Да, стал умником-разумником, господин Борель; вы же знаете, что я разбиваю носы лишь тем, кто меня об этом попросит.

– Недостает еще, чтобы такой силач, как ты, первый ввязывался в драку!

– И однако, вот кто меня одолел, – проговорил Поножовщик, кладя руку на плечо Родольфа.

– Вот те на! Этого человека я что-то не знаю, – заметил агент, разглядывая Родольфа.

– Сомневаюсь, чтобы нам довелось познакомиться, – ответил тот.

– Желая этого ради вашего блага, приятель, – сказал агент и, обратившись к Людоедке, продолжал: – До свидания, мамаша Наседка! Ваша таверна – настоящая мышеловка: сегодня я задержал здесь третьего убийцу.

– И надеюсь, не последнего, господин Борель; я всегда рада услужить вам, – любезно ответила Людоедка, отвешивая почтительный поклон.

После ухода полицейского агента молодой человек с серым испитым лицом, который курил, попивая водку, снова набил свою трубку и сказал сиплым голосом Поножовщику:

– Разве ты не узнал мужчину в греческом колпаке? Это же Волосатый – любовник Толстушки. Увидев полицейских, я подумал: «Недаром он все время прятал свою левую руку».

– Как удачно, что Грамотей не пришел сегодня, – продолжала Людоедка. – Греческий колпак несколько раз справлялся о нем из-за дел, которые они затеяли вместе... но я никогда не стану капать на своих клиентов. Пусть их забирают, ладно... у каждого свое ремесло... но я не продаю их. Смотрите: про волка речь, а волк навстречь, – заметила Людоедка при виде мужчины и женщины, входящих в кабак. – Вот и сам Грамотей со своей барулей.

При входе Грамотея нечто вроде лихорадочного трепета охватило зал.

Несмотря на присущую ему смелость, даже Родольф не мог побороть волнения при виде столь опасного преступника, на которого он взглянул с любопытством, смешанным с ужасом.

Поножовщик сказал правду: Грамотей чудовищно себя изуродовал. Трудно было представить себе что-нибудь более жуткое, чем лицо этого злодея, сплошь покрытое глубокими синевато-белыми шрамами; его губы вздулись под действием серной кислоты; часть носа была отрезана, и две уродливые дыры заменяли ноздри. Его серые, светлые, маленькие и круглые глазки хищно блестели, лоб, сплюснутый, как у тигра, был наполовину скрыт под шапкой из рыжего длинношерстного меха... Так и казалось, что это грива чудовища.

Росту он был не более пяти футов и двух-трех дюймов; его несоразмерно большая голова уходила в широкие, приподнятые, мясистые плечи, мощь которых чувствовалась даже под свободными складками блузы из сурового полотна; руки были длинные, мускулистые, пальцы короткие, толстые, сплошь покрытые волосами; его кривоватые ноги с огромными икрами свидетельствовали об атлетической силе.

Словом, этот человек напоминал в карикатурном виде Геркулеса Фарнезского, короткого, приземистого, плотного.

Что же касается выражения жестокости этой отвратительной морды, ее взгляда, беспокойного, изменчивого, горящего, как у дикого зверя, у нас не хватает слов, чтобы описать ее.

На пожилой, довольно опрятной женщине, сопровождавшей Грамотея, было коричневое платье, черная шаль в красную клетку и белый чепец.

Родольф увидел эту женщину в профиль; ее крючковатый нос, ее зеленый круглый глаз, тонкие губы, выступающий вперед подбородок, злое и хитрое выражение лица невольно напомнили ему Сычиху, зловещую старуху, некогда истязавшую Лилию-Марию.

Он хотел было поделиться своим впечатлением с Певуньей, когда на его глазах она побледнела, вперив полный немощного ужаса взгляд в мерзкую подругу Грамотея, и, схватив руку Родольфа дрожащими пальчиками, тихо сказала:

– Сычиха... Боже мой... Сычиха... Одноглазая старуха!

В эту минуту Грамотей, неслышно обменявшись несколькими словами с одним из завсегдатаев кабака, медленно приблизился к столу, за которым сидели Родольф, Певунья и Поножовщик. Затем, обратившись к Лилии-Марии, разбойник проговорил голосом, напоминающим рычание тигра:

– Вот что, хорошенькая беляночка, ты оставишь этих двух недотеп и пойдешь со мной...

Певунья ничего не ответила, только прижалась к Родольфу. Она была так напугана, что зубы у нее стучали.

– А я... не стану ревновать моего муженька, – проговорила Сычиха с громким смехом.

Она все еще не узнавала Воровки, своей прежней жертвы.

– Слышишь ты меня или нет, беляночка? – спросил урод, подходя еще ближе к столу. – Если ты не пойдешь со мной, я выколю тебе один глаз, чтобы ты была под стать Сычихе. А если ты, красавчик с усиками, – обратился он к Родольфу, – не перебросишь мне эту блондинку через стол... я прикончу тебя...

– Боже мой, боже мой! – воскликнула Певунья и, сложив с мольбой руки, обратилась к Родольфу: – Защитите меня!

Но, сообразив, что она подвергает его большой опасности, девушка продолжала шепотом:

– Нет, нет, не двигайтесь, господин Родольф; если он подойдет, я позову на помощь, он побоится скандала, появления полиции, Людоедка тоже вступится за меня.

– Не беспокойся, детка, – сказал Родольф, бесстрашно смотря на Грамотея. – Я рядом с тобой, сиди спокойно. Но так как нам с тобой претит вид этого уroda, я мигом вышвырну его на улицу.

– Ты? – спросил Грамотей.

– Да, я!!! – ответил Родольф.

И, невзирая на попытки Певуньи удержать его, он встал из-за стола.

Грамотей отступил на шаг, таким грозным было лицо Родольфа.

Лилия-Мария и Поножовщик были поражены злобой, лютым гневом, которые исказили в эту минуту лицо их спутника; его трудно было узнать. Во время своей драки с Поножовщиком он держался презрительно, насмешливо; но перед лицом Грамотея он, казалось, был охвачен дикой ненавистью: его расширенные от ярости зрачки как-то странно блестели.

Иные глаза обладают непреодолимой магнетической силой; говорят, что наиболее знаменитые дуэлянты одерживали свои кровавые победы благодаря гипнотической силе взгляда, который подавлял, парализовал их противников.

Родольф был наделен именно таким поразительным взглядом, пристальным, сверлящим, пугающим, которого не могут избежать те, на кого он направлен... Этот взгляд смущает их, властвует над ними; они почти физически ощущают его, но у них недостает сил от него оторваться.

Грамотей вздохнул, отступил на шаг и, уже не доверяя своей необычайной силе, стал нащупывать под блузой рукоятку кинжала.

На пол кабака могла пролиться кровь, если бы Сычиха, схватив за руку Грамотея, не вскричала:

– Погоди... погоди... чертушка. Выслушай меня; ты потом расправишься с этими двумя обормотами, они не уйдут от тебя...

Грамотей с удивлением взглянул на одноглазую.

А та уже несколько минут с возрастающим интересом наблюдала за Лилией-Марией, припоминая прошлое. Наконец все ее сомнения рассеялись: она узнала Певунью.

– Статочное ли дело! – воскликнула Сычиха, всплеснув руками. – Да ведь это Воровка, любительница полакомиться за чужой счет. Откуда ты взялась? Уж не *пекарь* ли послал тебя сюда? – прибавила она, показывая кулак девушке. – Неужто ты вечно будешь попадать ко мне в лапы? Будь спокойна, я не стану больше вырывать у тебя зубы, зато я заставлю тебя выплакать все глаза. Ах, как ты будешь рвать и метать. Так, значит, тебе ничего не известно? Я знаю, кто твои родители... Грамотей встретился на каторге с человеком, который привез тебя ко мне, когда ты была еще крошкой. Тот открыл ему имя твоей матери... твои родители – грачи⁵⁴.

– Вы знаете моих родителей? – воскликнула Лилия-Мария.

– Моему муженьку известна фамилия твоей матери... но я не допущу, чтобы он открыл ее тебе, скорее вырву у него язык... Не далее как вчера он виделся с человеком, который когда-то привез тебя в мою конуру, поговорил с ним о деньгах, которые перестали посылать мне, женщине, так долго кормившей тебя... но твоей матери плевать на тебя, она была бы рада-радешенька, если бы ты околела... И все же, знай ты, кто она, ты могла бы выманить у нее порядочные деньги, мой маленький подкидыш... У человека, о котором я говорю, имеются бумаги... да, письма твоей матери... Ты плачешь, Воровка... Так нет же, ты ничего не узнаешь о своей матери, ничегошеньки.

– Пусть лучше она думает, что я умерла... – проговорила Лилия-Мария, вытирая слезы.

Позабыв о Грамотее, Родольф внимательно слушал Сычиху, рассказ которой заинтересовал его.

Тем временем разбойник, не ощущая на себе властного взгляда Родольфа, приободрился; он не мог поверить, чтобы этот молодой человек, стройный, среднего роста, мог противостоять ему; уверенный в своей незаурядной силе, он приблизился к защитнику Певуньи и властно сказал Сычихе:

– Довольно, прикуси язык... Я хочу испортить вывеску этому грубияну, этому красавчику, чтобы хорошенькая беляночка нашла меня пригожее его.

Родольф мигом перепрыгнул через стол.

– Осторожно, не перебейте моих тарелок! – крикнула Людоедка.

Грамотей встал в оборонительную позицию: руки вытянуты вперед, торс откинут назад, нижняя часть туловища неподвижна, вся тяжесть тела перенесена на одну из огромных ног, подобных каменным тумбам.

В ту минуту, когда Родольф собирался напасть на него, кто-то с силой распахнул дверь кабака, и угольщик, о котором мы уже говорили, детина чуть ли не шести футов ростом, вбежал в залу, резко отстранил Грамотея, подошел к Родольфу и сказал ему на ухо по-английски:

– Сударь, Том и Сара... Они в конце улицы.

При этих таинственных словах Родольф сделал гневный, нетерпеливый жест, бросил луидор на стойку Людоедки и побежал к двери.

Грамотей попытался преградить путь Родольфу, но тот, обернувшись, нанес ему по голове два удара такой силы, что оглушенный злодей зашатался и тяжело рухнул на соседний стол.

– Да здравствует хартия! Узнаю «мои» удары в конце взбучки, – вскричал Поножовщик. – Еще несколько этаких ударов, и я сам буду наносить такие же...

Почти мгновенно придя в себя, Грамотей бросился за Родольфом, но тот исчез вместе с угольщиком в темном лабиринте улочек Сите, и разбойнику не удалось их нагнать.

⁵⁴ Богатые люди.

В ту минуту, когда Грамотей в ярости возвращался обратно, два человека торопливо подошли к кабаку со стороны, противоположной той, где исчез Родольф, и вбежали в него, запыхавшись, точно спешно проделали длинный путь.

Прежде всего они внимательно оглядели залу.

– Какое несчастье! – сказал один из них. – Он опять ускользнул от нас!

– Терпение!.. В сутках двадцать четыре часа, а перед нами еще долгие годы жизни, – ответил его спутник.

Оба новоприбывших говорили по-английски.

Глава VI. Том и Сара

Эти новые посетители принадлежали к классу, несравненно более высокому, чем всегда таверны.

У одного из них, высокого, стройного человека, были почти совсем седые волосы, черные брови и бакенбарды, костистое загорелое лицо, вид строгий, суровый. На его круглой шляпе бросалась в глаза траурная лента; черный длинный редингот был застегнут, как у военных, до самого верха, а серые облегающие панталоны заправлены в сапожки, некогда прозванные а ля Суворов.

Его спутник, тоже носивший траур, был мал ростом, красив, бледен. Его длинные черные волосы, темные глаза и брови подчеркивали матовую бледность лица; по походке, сложению, изяществу черт лица легко было догадаться, что это женщина, переодетая мужчиной.

– Том, мне хочется пить, вели принести чего-нибудь и расспроси этих людей о нем, – сказала Сара все так же по-английски.

– Хорошо, Сара, – ответил мужчина с седыми волосами и черными бровями.

В то время как Сара вытирала потный лоб, он сел за один из столиков и сказал Людоедке на прекрасном, почти без акцента французском языке:

– Пожалуйста, сударыня, велите подать нам вина.

Появление в кабаке этой пары привлекло всеобщее внимание; их одежда и манеры свидетельствовали о том, что они никогда не посещали подобных низкопробных заведений; а по их беспокойным озабоченным лицам можно было догадаться, что лишь важные причины могли привести их в этот квартал.

Поножовщик, Грамотей и Сычиха рассматривали вошедших с жадным любопытством.

Певунья, испуганная встречей с одноглазой, опасаясь угроз Грамотея, который хотел увести ее с собой, воспользовалась рассеянностью этих двух негодяев и, проскользнув в приоткрытую дверь кабака, вышла на улицу.

Поножовщику и Грамотею было явно не до того, чтобы еще раз помериться силами.

Удивленная появлением столь необычных посетителей, Людоедка разделяла всеобщий интерес. Том нетерпеливо повторил свою просьбу:

– Мы просили принести нам вина, сударыня; будьте так любезны выполнить наш заказ.

Мамаша Наседка, польщенная столь вежливым обращением, вышла из-за стойки и, грациозно облокотясь на столик Тома, спросила:

– Что вы желаете, литр вина или запечатанную бутылку?

– Подайте нам бутылку вина, стаканы и воды.

Людоедка принесла все, что требовалось. Том бросил на стол монету в сто су и, отказавшись от сдачи, сказал:

– Оставьте мелочь себе, хозяйюшка, и разрешите пригласить вас выпить с нами стакан вина.

– Вы очень любезны, сударь, – проговорила мамаша Наседка, смотря на Тома взглядом, в котором было больше удивления, чем признательности.

– Мы назначили свидание в кабачке на этой улице одному нашему приятелю; не знаю, мы, вероятно, ошиблись?

– Вы находитесь в «Белом кролике», где мы всегда рады вам услужить.

– Понимаю, – сказал Том, многозначительно взглянув на Сару. – Да, именно здесь он должен был ждать нас.

– Видите ли, на этой улице есть только один «Белый кролик», – с гордостью проговорила Людоедка. – Но каков из себя ваш приятель?

– Высокий, тонкий, волосы и усы светло-каштановые, – сказал Том.

– Погодите, погодите, да это же мой недавний посетитель. Огромного роста угольщик пришел за ним, и они вместе ушли отсюда.

– Как раз их-то мы и разыскиваем, – сказал Том.

– Они были здесь вдвоем? – спросила Сара.

– Нет, угольщик зашел лишь на минутку; а ваш приятель ужинал с Певуньей и Поножовщиком. – И Людоедка указала взглядом на того из сотрапезников Родольфа, который оставался в кабаке.

Том и Сара повернулись лицом к Поножовщику.

Внимательно осмотрев его, Сара спросила по-английски у своего спутника:

– Знаешь этого человека?

– Нет. Что до Родольфа, Чарльз потерял его из виду среди этих темных улочек. Видя, что Мэрф, наряженный угольщиком, расхаживает возле этого кабака и беспрестанно заглядывает в его окна, он кое-что заподозрил и пришел предупредить нас... Но, очевидно, Мэрф узнал Чарльза.

Во время этого разговора, который велся тихим голосом, на иностранном языке, Грамотей, глядя на Тома и Сару, обратился к Сычихе:

– Этот долговязый выложил сто су Людоедке. Скоро полночь; на улице дождь, ветер; когда они выйдут, мы последуем за ними; я оглушу долговязого и отберу у него деньги. Он с женщиной и не посмеет кричать.

– А если малышка позовет ночной дозор, у меня в кармане есть пузырек серной кислоты, который я тут же разобью о ее физиономию: детей надо поить, чтобы не орали.

Помолчав, Сычиха продолжала:

– Послушай, Чертушка. Стоит нам найти Воровку, и мы возьмем ее нахрапом. Я натру ей морду серной кислотой, после чего она перестанет гордиться своей хорошенькой рожией.

– Знаешь, Сычиха, я кончу тем, что женюсь на тебе, – сказал Грамотей. – Нет женщины, равной тебе по хитрости и мужеству... В ночь, когда мы имели дело с торговцем скотом, я оценил тебя. Решено и подписано: ты – моя жена, которая будет работать со мной лучше любого мужчины.

Подумав, Сара сказала Тому, указывая на Поножовщика:

– А что, если нам порасспросить этого человека? Быть может, мы узнаем, что привело сюда Родольфа.

– Попробуем, – согласился Том и, обратившись к Поножовщику, сказал: – Мы должны были встретиться в этом кабаке с одним из наших друзей; говорят, он обедал с вами; вы, очевидно, знакомы с ним, приятель, не знаете ли вы, куда он ушел?

– Я знаком с ним только потому, что он отдубасил меня два часа назад, защищая Певунью.

– А до этого вы никогда его не видели?

– Никогда... Мы случайно встретились в проходе дома, где живет Краснорукий.

– Хозяюшка, еще одну бутылку вина, да самого лучшего, – сказал Том.

Они с Сарой едва пригубили вино, зато мамаша Наседка выпила несколько стаканов, видимо, чтобы оказать честь своему винному погребку.

– И подайте, пожалуйста, бутылку на стол этого господина, если он согласится распить ее с нами, – добавил Том.

Тем временем Грамотей с Сычихой продолжали обсуждать шепотом свои зловещие планы.

Как только бутылка была принесена, Сара и Том подсели к Поножовщику, удивленному и польщенному таким вниманием; к ним присоединилась и Людоедка, посчитавшая излишним новое приглашение. Разговор возобновился.

– Вы говорили, любезный, что встретились с Родольфом в доме, где живет Краснорукий? – сказал Том, чокаясь с Поножовщиком.

– А как же, любезный, – ответил тот и мигом опорожнил свой стакан.

– Какое странное прозвище... Краснорукий! Что он представляет собой, этот Краснорукий?

– Он промышляет варой, – небрежно обронил Поножовщик и прибавил: – Ну и знатное у вас винцо, мамаша Наседка!

– Потому-то, приятель, ваш стакан и не должен пустовать, – заметил Том, снова наливая вина Поножовщику.

– За ваше здоровье, – сказал Поножовщик, – и за здоровье вашего друга, который... Довольно, молчок. Будь моя тетьа мужчиной, она приходилась бы мне дядей, как говорится в поговорке. Ну, да чего там... Я-то понимаю, что подразумеваю...

Сара заметно покраснела. Том продолжал:

– Я не совсем понял, что вы сказали о Красноруком. Очевидно, Родольф выходил от него?

– Я вам сказал, что Краснорукий промышляет варой.

Том с удивлением посмотрел на Поножовщика.

– Что значит – промышляет варой... Как вы сказали?..

– Промышлять варой? Ну, ясное дело, заниматься контрабандой. Значит, вы не знаете музыки⁵⁵.

– Я ничего не понимаю, милейший.

– Я вам сказал: значит, вы не говорите на арго, как господин Родольф.

– На арго? – повторил Том, с изумлением смотря на Сару.

– Какие же вы телепни!⁵⁶ Зато друг Родольф – замечательный малый, и хоть он мастер по веерам, а даже меня заткнет за пояс своим арго... Ну ладно, раз вы не знаете этого прекрасного языка, я скажу по-французски, что Краснорукий контрабандист. Я говорю это запросто, не желая ему зла... Он и сам не скрывает этого и даже похвастается своей контрабандой под носом у таможенников; но пусть они только попробуют найти и зацапать его товар... не тут-то было: Краснорукий – хитрюга.

– Но зачем Родольф ходил к этому человеку? – спросила Сара.

– Ей-богу, сударь... или сударыня, как вам будет угодно, я ничего об этом не знаю. Это так же верно, как и то, что я пью с вами это винцо. Сегодня вечером я хотел поколотить Певунью, я был не прав: она хорошая девушка; она бежит от меня в проход дома Краснорукого, я преследую ее... Там было темным-темно, и, вместо того чтобы схватить Певунью, я натыкаюсь на господина Родольфа... который всыпал мне по первое число... О да... Особенно хороши были последние удары... Дьявольщина! Как они были отработаны! Он пообещал показать мне этот прием.

– А что, в сущности, за человек этот Краснорукий? – спросил Том. – Чем он торгует?

– Краснорукий-то? Как вам сказать... Он продает все, что запрещено продавать, и делает все, что запрещено делать. Вот его позиция. Правильно я говорю, мамаша Наседка?

– О да, он малый не промах, – подтвердила Людоедка.

– И ловко же морочит таможенников, – продолжал Поножовщик. – Они раз двадцать делали обыск в его загородной хибаре, но так ничего и не нашли; а между тем он часто выносит оттуда целые тюки.

– У него все шито-крыто, – сказала Людоедка, – говорят, будто у Краснорукого имеется тайник, который сообщается с колодцем и ведет в катакомбы.

⁵⁵ Вы не знаете жаргона.

⁵⁶ Простаки.

– Но тайника этого никто не отыскал. Чтобы вывести Краснорукого на чистую воду, следовало бы разрушить его хибару, – сказал Поножовщик.

– А под каким номером значится дом, где живет в городе Краснорукий?

– Под номером тринадцать, Бобовая улица; Краснорукий – торговец, продает и покупает все, что пожелаете... Это известно во всей округе, – пояснил Поножовщик.

– Я запишу этот адрес в блокноте; если мы не отыщем Родольфа, я попытаюсь справиться о нем у господина Краснорукого, – сказал Том.

И он записал название улицы и номер дома контрабандиста.

– Вы вполне можете гордиться своей дружбой с господином Родольфом: это надежный товарищ и славный малый... Кабы не угольщик, он отдубасил бы за милую душу Грамотея, вон того, что сидит там, в углу, с Сычихой... Дьявольщина! Меня так и подмывает стереть в порошок эту старую ведьму, как подумаю, что она проделывала с Певуньей... Но терпение... как говорится, удар кулаком всегда при мне.

– Родольф вас побил. Вы должны его ненавидеть!

– Чтобы я ненавидел такого смелого, щедрого человека! Этого еще не хватало! И впрямь, я и сам не понимаю, почему так получилось... Взять хотя бы Грамотея, он тоже побил меня, и я только бы порадовался, если бы его придушили... Господин Родольф побил меня гораздо крепче... и вот какая штука: я желаю ему добра. Ради него я готов в огонь и воду, а ведь познакомились мы с ним только сегодня вечером.

– Вы сказали это потому, что мы его друзья.

– Нет, дьявольщина, нет, клянусь честью!.. В его пользу говорят те удары, что он нанес мне под конец... А он, прямо как ребенок, даже не гордится ими. Ничего не скажешь, он мастер, законченный мастер... И кроме того, он говорит тебе такие слова... такие вещи, от которых сердце переворачивается; и, наконец, когда он смотрит на тебя... у него что-то такое есть в глазах... Видите ли, я был пехотинцем... С таким начальником мы пошли бы на приступ неба.

Том и Сара молча переглянулись.

– Неужели эта поразительная власть над людьми будет всегда и повсюду сопутствовать ему? – с горечью молвила Сара.

– Да... До тех пор, пока мы не наложим заклятия на его чары, – заметил Том.

– Да, что бы ни случилось, это надо, надо сделать, – проговорила Сара и провела рукою по лбу, словно отгоняя какое-то тягостное воспоминание.

Часы на ратуше пробили полночь.

Кенкет таверны распространял теперь лишь сумеречный свет.

За исключением Поножовщика, двух его сотрапезников, Грамотея и Сычихи, все посетители понемногу разошлись. Грамотей шепотом сказал жене:

– Мы спрячемся с тобой в доме напротив, увидим, когда наши сударики выйдут на улицу, и последуем за ними. Если они повернут влево, мы подождем их в закоулке на улице Святого Элигия, если они повернут вправо, мы подождем их у разрушенного дома, того, что неподалеку от лавчонки, торгующей требухой. Там есть большая яма... Я кое-что придумал.

И Грамотей направился к двери вместе с Сычихой.

– Вы ничего не закажете нынче вечером? – спросила у них Людоедка.

– Нет, мамаша Наседка... Мы зашли только обогреться, – сказал Грамотей и вышел из кабака вместе с Сычихой.

Глава VII. Кошелек или жизнь

Шум захлопнувшейся двери вывел Тома и Сару из задумчивости, и они поблагодарили Поножовщика за сообщенные им сведения; последний внушал им меньше доверия с тех пор, как он грубо, но искренне выразил свое восхищение Родольфом.

После ухода Поножовщика ветер еще усилился, а дождь полил как из ведра.

Грамотей и Сычиха, прятавшиеся на противоположной стороне улицы, увидели, что Поножовщик свернул в сторону разрушенного дома. Вскоре его отяжелевшие шаги – следствие частых возлияний этого вечера – заглохли среди завывания ветра и шума дождя, хлеставшего по стенам домов.

Том и Сара покинули кабак, невзирая на погоду, и отправились в сторону, противоположную той, которую избрал Поножовщик.

– Они у нас на крючке⁵⁷, – тихо сказал Грамотей. – Готовь пузырек с серной кислотой: внимание!

– Давай снимем обувь, чтобы они не услышали наших шагов.

– Ты права, ты всегда бываешь права, Хитруша; я никогда бы не подумал об этом; пойдём крадучись, как кошки.

Мерзкая парочка сняла башмаки и стала пробираться в темноте вдоль домов...

Теперь шум их шагов был настолько смягчен, что они могли следовать чуть ли не вплотную за Томом и Сарой.

– К счастью, извозчик ожидает нас на углу улицы, иначе мы промокли бы до костей, – сказал Том. – Тебе не холодно, Сара?

– Быть может, нам удастся выяснить что-нибудь у этого Краснорукого, – задумчиво проговорила Сара, не отвечая на вопрос брата.

Они как раз находились вблизи того места, где Грамотей решил совершить ограбление.

– Я ошибся и пошел не по той улице, – сказал Том, – нам надо было свернуть влево, в сторону разрушенного дома, чтобы выйти к тому месту, где нас ожидает извозчик. Придется вернуться назад.

Грамотею и Сычихе пришлось спрятаться в подъезде какого-то дома, чтобы не быть замеченными Томом и Сарой.

– По мне, пусть лучше отправятся в сторону развалин, – проговорил Грамотей. – Если этот сударик будет фордыбачить... у меня есть одна мыслишка...

Сара с Томом снова миновали кабак и добрались до развалин. Этот разрушенный дом с зияющими отверстиями подвалов являл собой нечто вроде глубокого рва, вдоль которого и шла улица.

Вдруг Грамотей прыгнул с ловкостью и силой тигра, схватил своей широченной рукой Тома за горло и проговорил:

– Выкладывай деньги, не то я сброшу тебя в эту дыру!

И разбойник толкнул Тома, заставив его потерять равновесие: одной рукой он удержал его на краю глубокой ямы, а другой зажал, как в тисках, руку Сары.

Прежде нежели Том успел сделать хоть одно движение, Сычиха обчистила его карманы с поразительной хваткой и проворством.

Сара не вскрикнула, не попыталась вырваться.

– Отдай им свой кошелек, Том, – сказала она спокойно и, обратившись к разбойнику, добавила: – Мы не станем кричать, не причиняйте нам зла.

⁵⁷ Они у нас в руках.

Тщательно обшарив карманы своих жертв, попавших в расставленную им западню, Сычиха обратилась к Саре:

– Покажи руки: есть у тебя кольца? Нету колец, – продолжала, ворча, старуха. – Какая незадача!

На протяжении всей этой стремительной и неожиданной сцены хладнокровие не изменило Тому.

– Хотите заключить сделку? В моем бумажнике имеются лишь ненужные вам документы; принесите мне его завтра, и вы получите двадцать пять луидоров, – сказал он Грамотею, рука которого уже не так сильно сжимала его горло.

– И чтобы при этом мы попались в ловушку? Дудки! – ответил грабитель. – А теперь убирайся, не оглядываясь. Счастье твое, что ты так дешево отделался.

– Минутку, – сказала Сычиха. – Если он окажется покладистым, то получит обратно свой бумажник, всегда можно договориться. – И, обратившись к Тому, спросила: – Знаете долину Сен-Дени?

– Знаю.

– А Сент-Уен знаете?

– Да.

– Против Сент-Уена, где проходит дорога Восстания, местность ровная, среди полей там далеко видно. Приходите туда завтра утром – один, с деньгами в кармане; вы встретите там меня, и я верну вам бумажник: даешь – берешь.

– Да он же подведет тебя под арест, Сычиха!

– Не такая уж я дура!.. Там все видать как на ладони. У меня только один глаз... но видит он хорошо; если этот господин придет с кем-нибудь, он никого не найдет: я мигом улечусь.

Саре пришла в голову какая-то неожиданная мысль.

– Хочешь хорошо заработать? – спросила она у Грамотея.

– Хочу.

– Видел ты в кабаке, откуда мы вышли, – я только сейчас тебя узнала, – повторяю, видел ли ты в кабаке мужчину, за которым зашел угольщик?

– Мужчину с тонкими усиками? Как не видать... Я собрался мокрого места не оставить от этого мерзавца, но не успел... Он оглушил меня двумя ударами и опрокинул на стол... такого со мной еще не бывало... О, я отомщу ему!

– Да, я говорю о нем, – сказала Сара.

– О нем? – вскричал Грамотей. – Тысяча франков чистоганом, и я его убью.

– Сара! – в ужасе крикнул Том.

– Негодяй! Речь идет не о том, чтобы его убивать...

– Так о чем же?

– Приходите завтра в долину Сен-Дени, вы встретите там моего спутника, – продолжала она, – убедитесь, что он один; он скажет вам, что надо сделать. И если вам это удастся... я дам вам не тысячу, а две тысячи франков.

– Послушай, Чертяка, – шепотом сказала Сычиха, – тут можно хорошо заработать: это – грачи, они, видно, хотят насолить своему врагу, а враг их – тот негодяй, которого ты хотел прикончить... Надо пойти туда, но вместо тебя схожу я... Из-за двух тысяч франков, старичок, стоит потрудиться.

– Ладно, приду не я, а моя женушка, – заметил Грамотей. – Вы скажете ей, что надо сделать, а я подумаю...

– Пусть так, значит, завтра в час дня.

– Да, в час дня.

– В долине Сен-Дени?

– В долине Сен-Дени.

– Между Сент-Уеном и дорогой Восстания, в самом ее конце.
– Договорились.
– Я верну вам бумажник.
– И получите обещанные пятьсот франков и, кроме того, задаток в счет другого дела, если вы не будете слишком требовательны.
– Теперь идите направо, а мы пойдем налево. И не смейте следовать за нами, не то... Грамотей и Сычиха тут же исчезли.
– Сам демон пришел нам на помощь, – проговорила Сара, – этот разбойник может оказать нам услугу.
– Сара, теперь мне страшно... – сказал Том.
– А мне не страшно. Напротив, я надеюсь... но идем, идем скорее, я знаю теперь, где мы находимся; до извозчика недалеко.

И они быстрым шагом направились к площади Парижской Богоматери.

Невидимый свидетель присутствовал при этой сцене.

Свидетелем этим был Поножовщик, укрывшийся от дождя в разрушенном доме. Сговор между Сарой и злодеем, направленный против Родольфа, очень взволновал Поножовщика; он был напуган той опасностью, которая грозила его новому другу, и сожалел, что не может предотвратить ее. По всей вероятности, его ненависть к Грамотею и Сычихе подогрела эти добрые чувства.

Поножовщик решил предупредить Родольфа об ожидающей его беде; но как найти его? Он позабыл адрес мнимого мастера по раскраске вееров. Возможно, Родольф больше не зайдет в кабак «Белый кролик»; где же искать его? Занятый этими мыслями, Поножовщик машинально последовал за Томом и Сарой; он увидел, что они сели на извозчика, ожидавшего их у паперти собора Парижской Богоматери.

Извозчик тронул.

Блестящая мысль пришла в голову Поножовщику, и он уцепился за задок экипажа.

В час ночи извозчик остановился на бульваре Обсерватории, и Том с Сарой скрылись в одной из близлежащих улочек.

Было темным-темно. Поножовщик не мог найти ничего, что помогло бы ему на следующий день более точно определить место, где он находился. Тогда с хитростью дикаря он вытащил из кармана нож и сделал глубокий надрез на стволе дерева, возле которого остановился экипаж. Затем он вернулся в свое жилище, от которого отъехал довольно далеко. В эту ночь, впервые за долгое время, Поножовщик уснул глубоким сном, который не был потревожен кошмаром о бойне сержантов, как он называл этот кошмар на своем грубом языке.

Глава VIII. Прогулка

На следующий день после того вечера, в который произошли события, только что рассказанные нами, яркое осеннее солнце сияло в безоблачном небе; ночная буря миновала, и гнусный квартал, в котором читатель побывал вместе с нами, казался менее отталкивающим в свете погожего дня, хотя и был затенен домами.

То ли Родольф перестал опасаться встречи со старыми знакомыми, которых избегал накануне, то ли решил пренебречь этой возможностью, только в одиннадцать часов утра он появился на Бобовой улице и направился в таверну Людоедки.

Родольф был все так же одет по-рабочему, но в его внешности появилась некая изысканность: под новой открытой на груди блузой виднелась красная шерстяная рубашка с серебряными пуговицами; воротник другой рубашки из белого полотна был небрежно повязан черным шелковым галстуком; из-под небесно-голубой бархатной фуражки с лакированным козырьком выбивались каштановые завитки волос; грубые подбитые шипами башмаки уступили место до блеска начищенным сапожкам, которые подчеркивали изящество его ног, казавшихся особенно маленькими по сравнению с широкими бархатными штанами оливкового цвета.

Этот костюм отнюдь не портил осанки Родольфа, являвшей собой редкое сочетание грации, гибкости и силы.

Наша современная одежда так безобразна, что можно только выиграть, сменив ее на самое заурядное платье.

Людоедка мирно отдыхала на пороге кабака, когда подошел Родольф.

– Я к вашим услугам, молодой человек. Вы, верно, пришли за сдачей со своих двадцати франков? – проговорила она с оттенком почтительности, не решаясь «позабыть» о том, что накануне победитель Поножовщика бросил на ее стойку луидор. – Вам причитается семнадцать ливров десять су... Да, вот еще что... Вчера вас спрашивал высокий, хорошо одетый мужчина; на ногах у него были шикарные сапожки, а под руку он вел маленькую женщину, переодетую мужчиной. Они пили с Поножовщиком мое лучшее вино из запечатанной бутылки.

– А, так они пили с Поножовщиком! И о чем они с ним говорили?

– Я неправильно сказала, что они пили, они лишь пригубили вино и...

– Я спрашиваю тебя, что они говорили Поножовщику.

– Они разговаривали о том о сем... О Красноруком, о вёдре и ненастье.

– Они знают Краснорукого?

– Нет, напротив, это Поножовщик говорил им, что это за птица, и рассказывал, как вы его самого побили.

– Ладно, не об этом толк.

– Так вернуть вам сдачу?

– Да... И я возьму с собой Певунью, чтобы провести с ней день за городом.

– О, это невозможно, мой милый.

– Почему?

– Ведь она может не вернуться, правда? А все, что на ней надето, принадлежит мне, не считая двухсот двадцати франков, которые она задолжала мне за еду и квартиру, с тех пор как живет у меня; не будь она такой честной девочкой, я не пустила бы ее дальше угла этой улицы.

– Певунья должна тебе двести двадцать франков?

– Двести двадцать франков десять су... Но вам-то какое дело до этого, парень? Уж не собираетесь ли вы уплатить за нее? Не разыгрывайте из себя милорда!

– Получай! – сказал Родольф, бросая одиннадцать луидоров на оцинкованную стойку Людоедки. – Теперь, сколько стоит тряпье, в которое она одета?

Измученная старуха рассматривала один за другим луидоры, всем своим видом выражая сомнение и недоверие.

– Черт подери! Неужто ты думаешь, что я даю тебе фальшивые деньги? Пошли обменять золотые монеты, и покончим с этим делом... Сколько стоит тряпье, которое ты даешь напрокат этой несчастной девушке?

Раздираемая различными чувствами – желанием заключить выгодную сделку, удивлением, что у рабочего может быть столько денег, опасением попасть впросак и надеждой заработать еще больше, Людоедка некоторое время молчала.

– Ее тряпье стоит по меньшей мере... сто франков, – сказала она наконец.

– Такие обноски? Полно!!! Ты оставишь себе вчерашнюю мелочь, и я дам тебе еще один луидор, и ни гроша больше. Позволить тебе так бессовестно обдирать меня значило бы обкрадывать бедняков, которые имеют право на подавание.

– В таком случае, мой милый, я оставляю за собой это тряпье: Певунья не выйдет отсюда; я вольна продавать мои вещи за угодную мне цену.

– Пусть в аду Люцифер воздаст тебе по заслугам! Вот деньги, ступай и приведи Певунью.

Людоедка забрала золото, подумав, что рабочий совершил кражу или получил наследство, и сказала ему с гаденькой улыбкой:

– А почему бы, сынок, вам самому не сходить за Певуньей?.. Это доставит ей удовольствие... Честное слово мамыши Наседки, вчера она здорово пялила на вас глаза!

– Ступай за ней сама и скажи, что я повезу ее в деревню... и ни слова больше. Главное, чтобы она не знала, что я уплатил ее долг.

– Это еще почему?

– Не все ли тебе равно?

– В самом деле, мне это безразлично, я предпочитаю, чтобы она по-прежнему считала себя в моей власти...

– Да замолчишь ли ты наконец? Ступай!..

– О, какой злока! Жалею тех, с кем вы не в ладах... Хорошо! Иду... иду...

И Людоедка поднялась на чердак.

Несколько минут спустя она вернулась.

– Певунья не хотела мне верить; она покраснела как рак, когда узнала, что вы здесь... А когда я разрешила ей провести день за городом, мне показалось, что она сошла с ума; в первый раз в жизни она чуть не бросилась мне на шею.

– Это от радости... что покидает тебя.

В эту минуту в залу вошла Лилия-Мария, одетая, как и накануне: платье из коричневого бомбазина, оранжевая шаль, завязанная на спине, и головная косынка в красную клетку, позволяющая видеть лишь две толстые белокурые косы.

Она вспыхнула, увидев Родольфа, и смущенно опустила глаза.

– Не согласитесь ли вы, детка, провести со мной целый день за городом? – спросил Родольф.

– С большим удовольствием, господин Родольф, раз мадам мне это разрешила.

– Я отпустила тебя, кисонька, в награду за хорошее поведение, которое украшает тебя... Ну же, поцелуй меня...

И мегера приблизила к Лилии-Марии свое лицо в красных прожилках.

Превозмогая отвращение, бедная девушка подставила ей лоб для поцелуя, но Родольф локтем отбросил старуху к ее стойке, взял под руку Лилию-Марию и вышел из кабака под град проклятий мамыши Наседки.

– Будьте осторожны, господин Родольф, – сказала Певунья, – Людоедка, пожалуй, бросит вам что-нибудь в голову: она такая злая!

– Не беспокойтесь, детка. Но что это с вами? Вид у вас смущенный... печальный!.. Вы недовольны, что идете со мной?

– Напротив... но... но... вы взяли меня под руку.

– Что ж из этого?

– Ведь вы рабочий... И кто-нибудь может сказать вашему хозяину, что встретил вас со мной... Как бы это не повредило вам. Хозяева не любят, когда их подчиненные уходят с работы. И Певунья осторожно высвободила свою руку.

– Идите один... я дойду вслед за вами до заставы... А как только мы очутимся за городом, я присоединюсь к вам.

– Ничего не бойтесь, прошу вас, – сказал Родольф, тронутый ее деликатностью, и снова взял под руку Лилию-Марию. – Мой хозяин живет далеко отсюда, к тому же мы найдем извозчика на Цветочной набережной.

– Как вам будет угодно, господин Родольф; я сказала так, чтобы не навлечь на вас неприятностей...

– Верю вам, спасибо. Но, скажите откровенно, вам все равно, куда ехать?

– Да, все равно, лишь бы это было за городом... В деревне так красиво... и так приятно дышать чистым воздухом! Знаете, за последние пять месяцев я ни разу не была дальше Цветочного рынка! И Людоедка лишь потому отпускала меня из Сите, что очень мне доверяет.

– А для чего вы ходили на рынок? Чтобы купить цветов?

– О нет, у меня не было на это денег; я ходила туда посмотреть на цветы, понюхать их... И в базарные дни, когда Людоедка разрешала мне провести полчаса на рынке, я чувствовала себя такой счастливой, что забывала обо всем.

– А когда вы возвращались к Людоедке... по этим гадким улицам?..

– Как вам сказать... Мне было еще более грустно, чем до прогулки... и я сдерживала слезы, чтобы не нарваться на побои. И знаете... кому я завидовала на рынке... очень завидовала?.. Молоденьким работницам, таким чистеньким, которые шли с рынка веселые-превеселые с горшком красивых цветов в руках.

– Я уверен, что, будь у вас на подоконнике несколько горшков с цветами, вы не чувствовали бы себя такой одинокой.

– Ваша правда, господин Родольф! Представьте себе, что однажды, на свои именины, Людоедка – она знала, что я люблю цветы, – подарила мне маленький розовый кустик. Если бы вы знали, как я была счастлива! Я даже перестала скучать, ей-богу! Я то и дело смотрела на свою розочку... Забавлялась, считая ее листики, бутоны. Но в Сите плохой воздух, два дня спустя розочка стала желтеть. Тогда... Но вы станете смеяться надо мной, господин Родольф.

– Нет, нет, продолжайте.

– Так вот, я попросила у Людоедки позволения гулять с моей розочкой, как я гуляла бы с ребенком. Да, я ходила с ней на набережную, воображая, что ей полезно побыть с другими цветами, на свежем, хорошем, душистом воздухе; я смачивала ее поблекшие листочки в чистой воде, потом я вытирала их и на четверть часа выставляла цветок на солнце... Дорогая моя розочка никогда не видела солнца в Сите... впрочем, как и я... ведь на нашей улице солнце не опускается ниже крыши... Наконец я возвращалась... Уверяю вас, господин Родольф, что благодаря этим прогулкам моя розочка прожила на десять дней больше, чем прожила бы без них.

– Охотно верю, и, конечно, для вас было большой потерей, когда она погибла.

– Да, я оплакивала ее, это было для меня настоящим горем... И вот что, господин Родольф, раз вы понимаете, что можно любить цветы, я могу сказать вам одну вещь. Так вот, я питала нечто вроде благодарности... Ну, теперь вы непременно посмеетесь надо мной...

– Нет, нет! Я люблю, я обожаю цветы! И вполне понимаю те безрассудства, которые люди совершают из-за них.

– Так вот, я была благодарна моему бедному кусту, который так мило цвел для меня... хотя... словом... несмотря на то, что я представляю собой...

И Певунья, опустив голову, покраснела от стыда.

– Бедная девочка! Вы так ясно сознавали весь ужас своего положения, что, вероятно, нередко...

– ...мне хотелось покончить с собой, вы это хотели сказать, господин Родольф? – подхватила Певунья, прервав своего спутника. – О да, можете мне поверить: не раз за последний месяц я смотрела вверх парашюта на Сену... но затем я смотрела на цветы, на солнце... И думала: река останется на своем месте; мне еще нет семнадцати лет... как знать?

– Когда вы говорили себе: «Как знать?..» – вы на что-то надеялись?

– Да.

– На что же?

– Сама не знаю... Я надеялась... Да, надеялась помимо воли... В такие минуты мне казалось, что моя горькая судьба незаслуженна, что во мне есть что-то и хорошее. Я говорила себе: «Мне очень тяжело пришлось, но, по крайней мере, я никогда никому не делала зла... Если бы я могла посоветоваться с кем-нибудь, то не дошла бы до того, до чего дошла!» Эти мысли разгоняли немного мою грусть... Надо сказать, что они стали приходиться ко мне после гибели моего розового кустика, – прибавила Певунья с торжественным видом, вызвавшим улыбку у Родольфа.

– И это большое горе еще не прошло?..

– Нет... Вот взгляните.

И Певунья вытащила из кармана маленький сверток с засохшим розовым кустиком, тщательно перевязанным розовой шелковой лентой.

– И вы его сохранили?

– Ну конечно... Это все, что у меня есть на белом свете.

– Как, у вас нет ничего своего?

– Ничего...

– А это коралловое ожерелье?

– Оно принадлежит Людоедке.

– Как, у вас нет ни носового платка, ни чепчика, ни какой-нибудь тряпицы?

– Ничего у меня нет, ничегошеньки... только сухие веточки моей бедной розы, вот почему я так дорожу ими.

С каждым словом Певуньи удивление Родольфа возрастало; он не мог понять этого жуткого рабства, этой чудовищной торговли телом и душой женщины, продающей себя за грязное помещение, за поношенное платье и несъедобную пищу⁵⁸.

Родольф с Певуньей дошли до Цветочной набережной, где их ждал извозчик. Родольф посадил Певунью и сел подле нее.

– В Сен-Дени, – сказал он кучеру, – там я скажу, куда ехать дальше.

Извозчик тронул; солнце сияло, на небе не было ни облачка; стекла кареты были опущены, и в нее врвался чистый прохладный воздух.

– Что это? Женское пальто! – воскликнула Певунья, заметив, что она сидит на чем-то мягком.

– Да, пальто для вас, детка; я захватил его, опасаясь, как бы вы не продрогли. Хорошенько закутайтесь в него.

⁵⁸ Если бы нам было разрешено входить в подробности, которых мы поневоле избегаем, мы доказали бы, что это рабство существует, что полиция ему не препятствует, что несчастная женщина, нередко проданная своими близкими и брошенная в омут разврата, осуждена, так сказать, навеки оставаться в нем, что ее раскаяние, ее угрызения совести бесплодны и что фактически ей почти невозможно выбраться из этой грязи. (См. прекрасную книгу доктора Паран-Дюшатле, труд философа и благородного человека.) (Примеч. авт.)

Певунья, не привыкшая к такой предупредительности, с удивлением взглянула на Родольфа.

– Боже мой, как вы добры, господин Родольф! Мне просто совестно.

– Из-за того, что я добрый?

– Нет, но... вы говорите сегодня не так, как вчера, да и сами стали совсем другим.

– Скажите, Лилия-Мария, какой Родольф вам больше нравится, вчерашний или сегодняшний?

– Вы мне больше нравитесь таким, как сегодня... Однако вчера мне казалось, что я вам ровня...

И, сразу спохватившись, что могла его обидеть своими словами, она пояснила:

– Хотя я и сказала, что вам ровня, но я прекрасно понимаю, что это не так...

– Вот что меня удивляет, Лилия-Мария.

– Что именно, господин Родольф?

– Вы словно забыли то, что вам сказала вчера Сычиха... будто она знает ваших родителей... вашу мать.

– О, я ничего не забыла... Я думала этой ночью о ее словах и плакала... Но я уверена, что это неправда... Одноглазая выдумала эту историю, чтобы меня огорчить...

– Вполне возможно, что Сычиха лучше осведомлена, чем вы полагаете... А если это так, разве вы не были бы рады найти вашу мать?

– Увы, господин Родольф, если моя мать никогда не любила меня, к чему мне находить ее?... Она даже не захочет взглянуть на меня... А если бы она меня любила... я опозорю ее!.. Она может умереть от стыда.

– Если мать любила вас, Лилия-Мария, она пожалеет вас, простит и снова полюбит... Если она вас бросила... то, увидев, на какую страшную долю она обрекла вас своим поступком... Стыд, испытанный ею, послужит вам отпущением.

– А к чему мне мстить ей? А кроме того, если бы я отомстила, мне кажется, что уже не имела бы права считать себя несчастной... А подчас это меня утешает.

– Вы правы, не будем больше говорить об этом.

Карета как раз подъезжала к Сент-Уену, к тому месту, где расходятся два пути: шоссе на Сен-Дени и дорога Восстания.

Несмотря на однообразие пейзажа, Лилия-Мария пришла в такой восторг при виде полей, как она говорила, что, позабыв о печальных мыслях, навеянных воспоминанием о Сычихе, она восторженно встрепенулась и ее прелестное личико просияло. Она выглянула в дверцу кареты и, хлопая в ладоши, воскликнула:

– Господин Родольф, какое счастье!.. Трава, поля! Если вы только позволите, я спущусь вниз... Какая чудная погода! Мне так хочется побегать по лугам...

– Побегаем, детка... Извозчик, останови!

– Как! Вы тоже хотите побегать, господин Родольф?

– Еще бы, это такое удовольствие.

– Какое счастье! Господин Родольф!!!

И Родольф с Певуньей, схватившись за руки, побежали во всю прыть по обширному лугу, с опозданием скошенному во второй раз.

Прыжки, веселье, радостные крики, восторг Лилии-Марии не поддаются описанию. Подобно козочке, долго пробывшей взаперти, она с упоением вдыхала живительный воздух... Она ходила туда-сюда, останавливалась и вновь самозабвенно бежала дальше.

При виде растущих кучками маргариток и золотых бубенчиков, выдержавших первые заморозки, Певунья не могла удержаться от возгласов радости, она собрала все цветы до единого. Вдосталь набегавшись, она быстро устала, ибо отвыкла от таких игр, остановилась, чтобы перевести дух, и села на ствол дерева, лежащий у края глубокого рва.

На чистом белом личике Лилии-Марии, обычно слишком бледном, появился яркий румянец. Ее большие голубые глаза сияли, алые губки открывали два ряда влажных жемчужин, грудь бурно вздымалась под старенькой оранжевой шалью; одну руку она прижимала к сердцу, чтобы унять его биение, а другой протягивала Родольфу букет собранных ею полевых цветов.

Как пленительно было выражение невинной и чистой радости, которой дышало это целомудренное личико!

Обретя дар речи, Лилия-Мария сказала Родольфу:

– Как добр господь бог, что послал нам такой чудесный денек!

И в ее словах прозвучали глубокое счастье и чуть ли не мистическая благодарность.

Слезы выступили на глазах Родольфа, когда он услышал, что Лилия-Мария, обездоленная, покинутая, презираемая, погибшая девушка, не имевшая ни крова, ни хлеба, обратилась с этим криком души и неизъяснимой признательности к создателю лишь потому, что наслаждалась солнцем и видом скошенного луга.

Созерцательное настроение Родольфа было нарушено непредвиденным случаем.

Глава IX. Неожиданность

Мы уже говорили, что Певунья села на ствол дерева, лежащий у края глубокого рва. Какой-то мужчина неожиданно вылез из этой рытвины и, сбросив с себя охапку сена, под которой он прятался, разразился оглушительным хохотом.

Певунья вскрикнула от ужаса и обернулась.

Это был Поножовщик.

– Не бойся, дочка, – сказал Поножовщик при виде испуга девушки, которая прижалась к своему спутнику. – Послушайте, господин Родольф, вот удивительная встреча, а? Вы не ждали ничего такого? Я тоже... – Затем он прибавил уже серьезным тоном: – Вот что, хозяин... видите ли, можно говорить что угодно... но что-то есть там, в небе... наверху... над нашими головами... Всемогущий – хитрец! На мой взгляд, он говорит каждому человеку: «Ступай туда, куда я тебя направляю...» – вот он и направил сюда вас обоих, что чертовски странно!

– Что ты тут делаешь? – спросил крайне удивленный Родольф.

– Я тут на посту ради вас, хозяин... Но дьявольщина! Какая удача, что вы пришли в окрестности моего загородного дома... Право, тут что-то есть... положительно что-то есть...

– Еще раз спрашиваю, что ты тут делаешь?

– Немного погодя вы все узнаете. Дайте срок, мне надо влезть на вашу конную обсерваторию.

Поножовщик бросился бегом к извозчику, стоявшему неподалеку, окинул своим зорким взглядом долину и поспешно вернулся обратно.

– Да объяснишь ли ты мне наконец, что все это значит?

– Терпение, терпение, хозяин... еще один вопрос... Который час?

– Половина первого, – ответил Родольф, взглянув на часы.

– Ладно... у нас еще есть время... Сычиха придет сюда лишь через полчаса.

– Сычиха! – воскликнули разом Родольф и молодая девушка.

– Да... Сычиха. В двух словах, хозяин, вот какая вышла история: вчера, когда вы убежали из кабака, туда пришли...

– Высокий мужчина и женщина, переодетая мужчиной, которые справлялись обо мне. Знаю. Дальше.

– Затем они выставили мне бутылку вина и хотели заставить меня болтать о вас... Я ничего не мог им сказать... уж по одному тому, что вы не сообщили мне ничего, разве только, как можно осчастливить человека, отколошматив его... Из ваших секретов я знал лишь тот, что имел касательство к последним кулачным ударам. Да и если бы я знал что-нибудь, ничего бы не изменилось... потому что я ваш друг до гроба... мэтр Родольф... Пусть меня изжарят в аду, если я знаю, почему это так, но я чувствую к вам как бы привязанность бульдога к своему хозяину... Но тут уж ничего не поделаешь... Эта привязанность сильнее меня, и я решил не думать о ней... Теперь это ваша забота... Поступайте со мной как знаете...

– Благодарю тебя, приятель, но продолжай...

– Высокий господин и маленькая дама, переодетая мужчиной, поняли, что ничего из меня не вытянут; они ушли от Людоедки, я тоже ушел... они повернули в сторону Дворца правосудия, я – в сторону собора Парижской Богоматери. Дойдя до конца улицы, замечаю, что дождь припустил всюду, настоящий потоп. Вижу поблизости полуразрушенный дом и говорю себе: «Если ливень продлится, я не хуже проведу здесь ночь, чем в моей конуре». Соскальзываю в какой-то подвал, где не каплет, устраиваю себе постель на старой балке, подушкой мне служит строительный мусор, словом, располагаюсь со всеми удобствами, как король...

– Дальше, дальше!..

– Мы пили с вами вместе, мэтр Родольф, да я еще выпил с высоким господином и с маленькой женщиной, переодетой мужчиной... это к слову, чтобы вы знали, что голова у меня была тяжелая... да и, кроме того, ничто так не усыпляет, как шум дождя. Итак, я преспокойно заснул. Словно бы недолго я задавал храпака, как вдруг какой-то шум разбудил меня; это был голос Грамотея, который, можно сказать, *дружески* беседовал с кем-то. Прислушиваюсь... Дьявольщина!.. Кого же я узнаю? Высокого господина, того, что был в кабаке с маленькой женщиной.

– Они беседовали с Грамотеем и Сычихой? – спросил Родольф с крайним изумлением.

– Да... Они договаривались встретиться на следующий день.

– Значит, сегодня! – воскликнул Родольф.

– В час дня.

– Через несколько минут!

– У развилки шоссе на Сен-Дени и дороги Восстания.

– Здесь?!

– Правильно, господин Родольф, здесь!

– С Грамотеем?! Будьте осторожны, господин Родольф! – воскликнула Певунья.

– Успокойся, дочка, он не придет, явится сюда одна Сычиха.

– Как мог этот человек войти в сношения с такими двумя негодьями? – сказал Родольф.

– Честное слово, понятия не имею. Вероятно, я проснулся лишь в конце разговора – мужчина просил вернуть бумажник, который Сычиха обещала принести ему сюда... за вознаграждение в пятьсот франков. Надо думать, что сначала Грамотей обокрал их... и что лишь после этого они стали разговаривать по душам.

– Как это странно...

– Боже мой, все это пугает меня из-за вас, господин Родольф, – пролепетала Лилия-Мария.

– Господин Родольф не ребенок, дочка; но ты верно сказала: Грамотей вполне может подложить ему свинью.

– Продолжай, приятель.

– Высокий мужчина и маленькая женщина пообещали две тысячи франков Грамотею, видно, для того, чтобы он напакостил вам, а как – понятия не имею. Вскорости сюда придет Сычиха: она вернет высокому мужчине его бумажник, узнает, чем тут пахнет, и передаст все, что требуется, своему муженьку, который возьмется за остальное.

Лилия-Мария вздрогнула.

Родольф презрительно улыбнулся.

– Две тысячи франков, чтобы напакостить вам! Мэтр Родольф... это наводит меня на мысль (я не хочу ни с кем себя сравнивать) об объявлениях, в которых обещается награда в сто франков за потерянную собаку. Прочитав такое объявление, я скромно говорю себе: «Скотина, если ты потеряешься, никто не даст и пяти франков, чтобы вернуть тебя». Две тысячи франков, чтобы напакостить вам!.. Кто же вы такой?

– Я скажу тебе это немного погодя.

– Ладно, хозяин... Услыхав такое предложение, я подумал: «Надо узнать, где обосновались эти богачи, которые хотят науськать Грамотея на господина Родольфа; это может пригодиться». Когда они немного отошли, я вылез из своего подвала и крадучись последовал за ними; на площади собора Парижской Богоматери большой мужчина и маленькая женщина подходят к извозчику, садятся в карету, я на запятки, и мы прибываем на бульвар Обсерватории. Было темно, как в печке, я ничего не мог разглядеть и сделал зарубку на дереве, чтобы найти это место на следующий день.

– Очень хорошо, приятель.

– Сегодня утром я вернулся туда. В десяти шагах от моего дерева... я увидел улочку, перегороженную барьером... в уличной грязи отпечатки маленьких и больших ног... В конце улочки садовая калитка, где шаги прекращаются... здесь, видно, и свили себе гнездо высокий мужчина и маленькая женщина.

– Спасибо, дорогой; сам того не зная, ты оказал мне большую услугу.

– Прошу прощения, мэтр Родольф, я догадался кой о чем... и потому сделал это.

– Понимаю, приятель, и мне хотелось бы вознаградить тебя не только словами благодарности... К несчастью, я всего лишь бедняк рабочий... хотя за то, чтобы напакостить мне, обещаны, как ты говоришь, две тысячи франков... Я объясню тебе, в чем дело.

– Ладно, говорите али нет – мне все равно... Против вас задумано черное дело, а я хочу ему помешать... Остальное меня не касается.

– Я догадываюсь, чего они добиваются. Выслушай меня: я изобрел способ механически обтачивать слоновую кость для вееров, но изобрел его не один; я жду моего компаньона, чтобы применить этот способ; а нашей моделью хотят во что бы то ни стало овладеть мои конкуренты, так как благодаря ей можно заработать большие деньги.

– Так, значит, высокий мужчина и маленькая женщина...

– Фабриканты, у которых я работал, но не захотел открыть им свой секрет...

Это объяснение, видимо, удовлетворило Поножовщика, человека не слишком развитого.

– Теперь я все понял... Подумать только, какие прощелыги!.. И у них даже не хватает смелости самим сделать эту подлость... Еще несколько слов, чтобы закончить мой рассказ. Вот что я подумал сегодня утром: «Я знаю, где встретятся Сычиха и высокий мужчина, и подожду их там; ноги у меня хорошие, а мой подрядчик наберется терпения, плевать на него...» Я прихожу сюда... вижу эту дыру, беру вон там охапку сена, прячусь под ней до кончика носа и жду Сычиху... Но вот неожиданно-негаданно вы приезжаете в эту долину, и бедная Певунья садится как раз на край моей засады; тут как на грех мне захотелось позабавиться, и, сбросив с себя сено, я заорал как полоумный.

– Что же ты собираешься делать?

– Дождаться Сычихи – она наверняка придет первая – и постараться услышать, что она скажет высокому мужчине, поскольку это может вам пригодиться. На всем этом поле есть только этот ствол дерева, словно нарочно оставленный здесь, чтобы люди могли посидеть и отдохнуть; отсюда все видать как на ладони... Свидание Сычихи назначено у перекрестка, в четырех шагах отсюда; готов поспорить, что наши голубчики сядут именно здесь; а если нет и я ничего не услышу... то, когда они разойдутся, я нападу на Сычиху – и на том спасибо, – уплачу ей, что положено, за зуб Певуньи, а затем примусь душить ее до тех пор, пока она не назовет фамилию родителей этой бедной девушки... Что вы скажете о моем плане, мэтр Родольф?

– Твой план неплох, парень, но в нем надо кое-что исправить.

– Главное, Поножовщик, не затевайте ссоры из-за меня... Если вы побьете Сычиху, Грамотей...

– Замолчи, дочка... Сычихе не миновать моих кулаков... Дьявольщина! И как раз потому, что у нее есть защитник, Грамотей, я удвою дозу колотушек.

– Послушай, парень, у меня есть лучший способ отомстить Сычихе за ее издевательства над Певуньей, о чем я скажу тебе позже. – И, отходя на несколько шагов от Певуньи, Родольф продолжал, понизив голос: – Хочешь оказать мне настоящую услугу?..

– Приказывайте, мэтр Родольф.

– Сычиха тебя не знает?

– Вчера в кабаке я видел ее в первый раз.

– Вот что надо сделать... Сначала ты спрячешься, но, когда она подойдет сюда, ты выйдешь из своей засады.

– Чтобы свернуть ей шею?..

– Нет... Это потом!.. Сегодня надо только помешать ей встретиться с высоким мужчиной... Видя, что она не одна, он не решится подойти... Если он все же подойдет, не отходи от нее ни на минуту... при тебе он не будет говорить с ней начистоту.

– Если мужчина найдет меня слишком навязчивым... я отколочу его по первое число... Он не Грамотей и не мэтр Родольф.

– Я знаю этого человека, он не станет связываться с тобой.

– Ладно, я слеую за Сычихой как ее тень. Человек этот не сможет сказать при мне ни одного слова, которого бы я не услышал, и в конце концов уберется восвояси...

– Если они договорятся о другой встрече, ты узнаешь об этом, поскольку все время будешь при них. Впрочем, само твое присутствие отпугнет высокого мужчину.

– Прекрасно. А после я задам трепку Сычихе?.. От этого я не могу отказаться.

– Не теперь... Одноглазая не знает: вор ты или нет?

– Откуда ей знать, разве только Грамотей говорил ей загодя, что воровать не в моих правилах...

– Если он говорил ей об этом, ты сделаешь вид, что изменил своим принципам.

– Я?

– Ты!..

– Дьявольщина! Господин Родольф... Но подумайте... Гм! гм... Такая игра мне не подходит.

– Ты поступишь, как сочтешь нужным... Увидишь, я не предлагаю тебе ничего бесчестного...

– О, на этот счет я спокоен.

– И ты прав.

– Говорите, хозяин... Я поступлю, как вы прикажете.

– Как только высокий мужчина уйдет, ты постарайся умаслить Сычиху.

– Я? Эту старую гадину... Мне было бы легче подрататься с Грамотеем. Я не знаю, сумею ли я удержаться, чтобы сразу не наброситься на нее.

– Тогда ты все испортишь.

– Но что же я должен сделать?

– Сычиха будет в ярости от того, что денежки от нее уплыли; ты постарайся успокоить ее, скажешь, будто у тебя наклеивается выгодное дельце, ради которого ты должен встретиться здесь со своим сообщником; ну, а если Грамотей захочет присоединиться к вам... можно получить большие деньги.

– Гм... гм...

– После часа ожидания ты скажешь ей: «Мой товарищ не пришел... Придется отложить встречу» – и назначишь свидание Сычихе и Грамотею на завтра... пораньше. Понимаешь?

– Понимаю.

– А сегодня вечером приходи в десять часов на угол Елисейских полей и аллеи Вдов; я буду ждать тебя и объясню остальное...

– Если вы готовите им западню, будьте осторожны!.. Грамотей хитрец... Вы побили его... При малейшем подозрении он может вас убить...

– Будь спокоен.

– Дьявольщина! Вот так штука... Вы из меня прямо-таки веревки вьете. Не скажу, чтобы я колебался: чует мое сердце, что Грамотей и Сычиха хлебнут горя... И все же... Еще одно слово, господин Родольф.

– Говори.

– Я не думаю, что вы способны устроить ловушку Грамотею и передать его в руки полиции... Он закоснелый негодяй, который давно заслуживает смерти... но подвести его под арест... это не мое дело.

– И не мое, приятель; но мне надо свести счеты с ним и с Сычихой, которые вступили в заговор с моими недругами. И вдвоем с тобой, если ты согласен мне помочь, мы справимся с ними.

– Ладно, поскольку мерзавец этот не лучше своей мерзавки... я с вами заодно.

– И если мы добьемся удачи, – сказал Родольф серьезным, торжественным тоном, который поразил Поножовщика, – ты будешь так же горд, как после спасения тонущего солдата и чуть не сгоревшей женщины, которые обязаны тебе жизнью.

– Как вы это сказали, мэтр Родольф! Я никогда не замечал у вас такого взгляда... Но скорей, скорей, – вскричал Поножовщик, – я вижу вдалеке белую точку; это, должно быть, чепец Сычихи. Уезжайте, а я снова залезу в свою дыру.

– Сегодня, в десять часов вечера...

– На углу аллеи Вдов и Елисейских полей, договорились!

Лилия-Мария не слышала последней части разговора Поножовщика и Родольфа. Она первая села в карету.

Глава X. Ферма

После своих переговоров с Поножовщиком Родольф был некоторое время задумчив, озабочен.

Лилия-Мария, не решавшаяся прервать молчание своего спутника, печально смотрела на него.

Подняв голову, Родольф спросил ее с доброй улыбкой:

– О чем вы думаете, детка? Вам неприятно было встретиться с Поножовщиком, да? Нам было так весело!

– Наоборот, господин Родольф, эта встреча – большая удача для нас, ведь Поножовщик может оказать вам услугу.

– Скажите, не считался ли Поножовщик среди завсегдатаев кабака человеком, сохранившим кое-какие добрые чувства?

– Не знаю, господин Родольф... До вчерашнего дня я часто его видела, но почти никогда с ним не говорила... Я думала, что он такой же злой, как и все остальные.

– Позабудем обо всем этом, милая Лилия-Мария, мне было бы очень неприятно опечалить вас; мне так хотелось, чтобы вы хорошо провели этот день.

– О, я очень счастлива! Ведь я давным-давно не была за городом.

– Со времени ваших поездок в кабриолете с Хохотушкой?

– Бог ты мой, да... Это было весной, и хотя теперь глубокая осень, прогулка доставляет мне такое же большое удовольствие. Как ярко светит солнце!.. Взгляните на розовые облачка там... вдаль... А этот холм... и хорошенькие белые домики среди деревьев... Листья еще не облетели. Это удивительно для ноября, правда, господин Родольф? В Париже листья так быстро опадают... А вон там стайка голубей... Смотрите, они сели на крышу мельницы... В деревне не устаешь смотреть вокруг: все так занято!

– Одно удовольствие, Лилия-Мария, видеть, как вы восприимчивы ко всем мелочам, которые создают очарование загородного пейзажа.

В самом деле, по мере того как девушка созерцала эту спокойную, ласкающую взор картину, ее личико снова расцветало.

– Вон там, на вспаханных полях горит солома, красивый белый дым поднимается к небу... А этот плуг, в который впряжена пара хороших, упитанных лошадей серой масти. Будь я мужчиной, я с радостью стала бы пахарем... Идти за плугом по безмолвному полю... и видеть далеко-далеко большие леса, особенно по такой погоде, как сегодня!.. Тут сразу захочется спеть одну из тех грустных песен, от которых слезы навертываются на глаза... как, например, о Женевиэве Брабантской. Вы знаете эту песню, господин Родольф?

– Нет, детка, но будет очень мило, если вы споете ее сегодня попозже, на ферме, ведь впереди у нас с вами целый день.

– Какое счастье! Мы едем на ферму, господин Родольф?

– Да, на ферму моей кормилицы, хорошей, достойной женщины, которая меня вырастила.

– И мы сможем выпить там молока?

– Подумаешь, молока! Мы отведаем превосходных сливок, которые фермерша снимет при нас, и свежайших яиц.

– И мы сами вынем их из гнезда?

– Разумеется...

– И мы сходим на скотный двор, чтобы взглянуть на коров?

– Конечно.

– И на молочную ферму тоже?

– Да, и на молочную ферму.

– И на голубятню?

– Да, и на голубятню.

– Право, господин Родольф, прямо не верится... Как мне будет весело! Какой чудесный день!.. Какой чудесный день! – радостно воскликнула Лилия-Мария.

Но тут мысли девушки внезапно приняли другой оборот: она подумала, что после часов, проведенных на свободе, в деревне, ей придется вернуться на свой вонючий чердак, и, закрыв лицо руками, она расплакалась.

– Что с вами, Лилия-Мария? Кто вас огорчил? – удивленно спросил Родольф.

– Ничего... ничего, господин Родольф.

И она вытерла глаза и попыталась улыбнуться.

– Простите, если я опечалилась... не обращайтесь внимания, это просто так, клянусь вам... одна мысль пришла в голову... я развеселюсь.

– Но вы только что были такая радостная.

– Именно поэтому мне и взгрустнулось, – наивно ответила Лилия-Мария, подняв на Родольфа глаза, еще мокрые от слез.

Эти слова многое сказали Родольфу: он обо всем догадался.

Желая развеять подавленное настроение девушки, он сказал ей с улыбкой:

– Держу пари, что вы подумали о своей розочке. Уверен, вы жалеете, что не можете разделить с ней удовольствие от поездки на ферму. Бедный розовый кустик! Вы способны были бы и его напоить сливками!

Певунья воспользовалась этой шуткой, чтобы улыбнуться; мало-помалу легкое облачко грусти рассеялось; она решила бездумно наслаждаться настоящим и закрыть глаза на будущее.

Карета приближалась к Сен-Дени, высокий шпиль церкви виднелся вдали.

– О, какая красивая колокольня! – воскликнула Певунья.

– Это великолепная церковь Сен-Дени... Хотите, я прикажу извозчику остановиться?

Певунья опустила глаза.

– С тех пор как я живу у Людоедки, я ни разу не входила в церковь, я не смела. Зато в тюрьме я очень любила петь в хоре во время мессы! И в праздник Тела Господня мы делали такие красивые букеты для алтаря.

– Но господь бог добр, милостив: почему вы боитесь обратиться к нему с молитвой, войти в церковь?

– О нет... нет... господин Родольф... Это было бы кощунством... Я и без того гневлю бога.

– Скажите, вы любили кого-нибудь до сих пор?

– Нет, никогда.

– Почему?

– Вы же видели посетителей кабака... а кроме того, чтобы любить, надо быть честной...

– Честной?

– Да, зависеть только от себя... суметь... Но если вам все равно, господин Родольф, пожалуйста, не будем говорить об этом.

– Хорошо, Лилия-Мария, поговорим о другом... Но почему вы так смотрите на меня? И снова ваши красивые глаза полны слез... Я огорчил вас чем-нибудь?

– О, как раз напротив; но вы так добры ко мне, что у меня слезы навертываются на глаза... и потом вы не говорите мне «ты»... и потом... можно подумать, что вы взяли меня на прогулку только ради моего удовольствия: такое у вас бывает довольное выражение лица, когда вы видите меня счастливой. Вы не только защитили меня вчера... вы позволяете мне провести с вами такой чудесный день.

– Правда, вы чувствуете себя счастливой?

- Я долго-долго не забуду этого счастья.
- Счастье бывает так редко.
- Да, очень редко.
- По правде сказать, за неимением того, чего у меня нет, я забавляюсь иногда, предаваясь мечтам, и говорю себе: «Вот кем бы мне хотелось быть... вот доля, которая пришлась бы мне по душе...» А вам, Лилия-Мария, наверное, тоже случается мечтать, строить воздушные замки?
- Да, прежде, в тюрьме, до моего прихода к Людоедке, я только и делала, что мечтала и пела; но теперь это бывает со мной все реже... А чего бы вам хотелось, господин Родольф?
- Быть богатым, очень богатым... Иметь слуг, экипажи, выезжать в свет, каждый день бывать в театре. А вы о чем мечтаете, Лилия-Мария?
- Я не так требовательна, как вы; мне хотелось бы расплатиться с Людоедкой и иметь после этого немного денег, чтобы подыскать работу, снять уютную маленькую комнатку, очень чистенькую, с деревьями перед окнами, на которые я поглядывала бы, сидя за шитьем.
- И много цветов на подоконнике?..
- О, конечно... И, если только это возможно, жить в деревне, вот и все.
- Комнатка, работа – это лишь необходимое; но в мечтах можно позволить себе и нечто большее... Разве вам не хотелось бы иметь выезд, бриллианты, красивые платья?
- Столького я не требую... Быть свободной, жить в деревне и не бояться, что умрешь в больнице... О, главное – не умереть в больнице... И знаете, господин Родольф, такая мысль часто приходит мне в голову, это мучительно!
- Увы, нам, бедным людям...
- Я говорю не о нищете... А о том, что бывает после смерти.
- И что же?
- Вы не знаете, что делают с бедняками после смерти?
- Нет...
- Я дружила в тюрьме с одной девушкой... Она умерла в больнице... А тело ее отдали хирургам, – прошептала, вздрогнув, бедняжка.
- Неужели, несчастная, у вас часто бывают такие мрачные мысли? Это ужасно!!!
- Вас удивляет, господин Родольф, что я стыжусь того, что будет с моим телом после смерти... Увы, боже мой... ведь только этот стыд мне и оставили...
- Эти горькие, скорбные слова глубоко опечалили Родольфа. Он, содрогаясь, закрыл лицо руками; он думал о роке, поразившем Лилию-Марию... думал о матери этой несчастной девушки... Ее мать... Она была счастлива, богата, быть может, уважаема...
- Уважаема... богата... счастлива... А ее дочь, которой она, вероятно, безжалостно пожертвовала, чтобы избежать позора, сменила чердак Сычихи на тюрьму, а тюрьму на вертеп Людоедки; из этого вертепа она может попасть в больницу... а после смерти...
- Какая страшная судьба!
- Горькие, скорбные слова Певуньи глубоко опечалили Родольфа.
- Видя мрачное выражение его лица, она застенчиво сказала:
- Простите, господин Родольф, мне следовало отогнать эти грустные мысли. Вы взяли меня с собой, чтобы доставить мне удовольствие, а я то и дело говорю вам что-нибудь печальное... такое печальное, господа, что и сама не знаю, как это получается, право же, это помимо моей воли... Я никогда не была счастливее, чем сегодня, и, однако, слезы поминутно навертываются на глаза... Вы не гневаетесь на меня из-за этого? Скажите, господин Родольф? Впрочем... видите... эта грусть рассеялась так же быстро, как и пришла... Теперь... я о ней даже не думаю... Я буду благоразумна... Пожалуйста, господин Родольф, посмотрите мне в глаза.
- И Лилия-Мария, раза два-три прикрыв веки, чтобы прогнать последние упрямые слезинки, широко-широко открыла глаза и взглянула на Родольфа с очаровательной наивностью.

– Лилия-Мария, умоляю вас, не принуждайте себя. Будьте веселой, если вам весело... и грустной, если вам грустно... Бог ты мой, на меня, говорящего с вами, тоже находят иногда мрачные мысли. И мне было бы очень тяжело изображать радость, которую я не испытываю.

– Правда, господин Родольф, и вам бывает грустно?

– Конечно, мое будущее нисколько не лучше вашего... У меня нет ни отца, ни матери... Стоит мне завтра заболеть, мне не на что будет жить. Ведь я расходую все, что зарабатываю.

– Вы совершаете ошибку, поверьте... большую ошибку, господин Родольф, – проговорила Певунья с явной укоризной, которая заставила его улыбнуться, – вам следовало бы класть деньги в сберегательную кассу... Все мое злосчастье произошло от того, что я не сэкономила денег... Имея в запасе двести франков, рабочий никогда не будет жить за чужой счет, никто не припрет его к стене... Безденежье нередко бывает дурным советчиком.

– То, что вы говорите, очень правильно, очень умно, моя маленькая хозяйюшка. Однако двести франков... как сэкономить двести франков?

– Но, господин Родольф, это же проще простого: давайте подсчитаем, и вы убедитесь в этом... Вы зарабатываете иной раз до пяти франков в день, правда?

– Да, когда я работаю.

– Надо работать ежедневно. Неужели вам так уж плохо живется? У вас прекрасное ремесло... художник по раскраске вееров... Да такая работа должна быть для вас удовольствием... Право, вы неблагоприятны, господин Родольф, – прибавила Певунья строгим тоном. – Рабочий может жить, и хорошо жить, на три франка в день; таким образом, у вас будет ежедневно оставаться двадцать су, а в конце месяца наберется целых шестьдесят франков... Это же кругленькая сумма!

– Да, но так приятно прохлаждаться, бездельничать!

– Повторяю, господин Родольф, вы неблагоприятны, как ребенок...

– Хорошо, отныне я буду благообразен, маленькая ворчунья; вы дали мне превосходную мысль... Я не подумал об этом...

– В самом деле? – воскликнула девушка, радостно хлопая в ладоши. – Если бы вы знали, как вы меня обрадовали!.. Вы станете откладывать сорок су в день! Правда?

– Да... Я стану экономить сорок су в день, – сказал Родольф, улыбаясь помимо воли.

– Правда, правда?

– Обещаю вам...

– Вот увидите, как вы будете гордиться первыми отложенными деньгами... Но это еще не все... Только обещайте мне не сердиться.

– Разве у меня очень злой вид?

– Конечно, нет... Но я не знаю, должна ли я...

– Вы должны говорить мне все без утайки, Лилия-Мария.

– Так вот... словом, вы, который... Сразу видно, что вы выше занимаемого вами положения... Почему же вы посещаете такие кабаки, как кабак Людоедки?

– Если бы я не пришел туда, я не имел бы удовольствия поехать за город вместе с вами, Лилия-Мария.

– Истинная правда, но дело не в этом, господин Родольф... Я бесконечно довольна сегодняшним днем и все же с легким сердцем откажусь поехать с вами еще раз, если это может вам повредить...

– Как раз наоборот, ведь вы даете мне такие великолепные советы.

– И вы последуете им?

– Честное слово, ведь я обещал вам. Да, я буду откладывать по меньшей мере сорок су в день...

Глава XI. Пожелания

Тут Родольф обратился к извозчику, миновавшему деревню Сарсель:

– Сверни вправо на первую же дорогу после селения Вилье-ле-Бель, затем влево, и поедешь все прямо, никуда не сворачивая.

Теперь, когда вы довольны мной, Лилия-Мария, – сказал Родольф, – можно позабыться, как мы говорили недавно, и построить наши воздушные замки. Это стоит недорого, и вы не станете упрекать меня в мотовстве.

– Нет, не стану... Давайте построим ваш воздушный замок.

– Сперва... ваш, Лилия-Мария.

– Посмотрим, угадаете ли вы, что мне по душе, господин Родольф.

– Попробую... Думаю, что эта дорога... я говорю «эта», потому что мы едем по ней...

– Правильно, не надо искать мой замок слишком далеко.

– Я полагаю, что эта дорога ведет к прелестной деревне, лежащей далеко от шоссе.

– Да, жить там будет гораздо спокойнее.

– Деревня расположена среди деревьев, на склоне холма.

– Рядом протекает маленькая речка.

– Вот именно... Маленькая речка... Сразу же за селом мы увидим хорошенькую ферму; с одной стороны дома – фруктовый сад, с другой – прекрасный цветник.

– Я так и вижу все это, господин Родольф.

– На первом этаже фермы имеется обширная кухня для батраков и столовая для фермерши.

– А на окнах дома – зеленые решетчатые ставни... они придают ему такой веселый вид, правда, господин Родольф?

– Зеленые ставни... Согласен с вами... Нет ничего милее зеленых ставней... Естественно, что фермерша доводится вам тетей.

– И конечно... она очень добрая женщина.

– Превосходная, и она полюбит вас как мать...

– Милая тетя!.. Как приятно, должно быть, когда тебя кто-нибудь любит.

– И вы тоже ее полюбите?

– О, – воскликнула Лилия-Мария, складывая руки и подымая глаза к небу с выражением неопишуемого счастья. – О да, я полюблю ее; я буду помогать ей во всем: шить, убирать белье, перебирать и складывать на зиму фрукты, вести хозяйство... Ей не придется жаловаться на мою леность, даю вам слово!.. Прежде всего утром...

– Погодите, Лилия-Мария... Какая же вы нетерпеливая!.. Дайте мне закончить описание дома.

– Продолжайте, продолжайте, господин художник, сразу видно, что вы привыкли рисовать красивые пейзажи на ваших веерах, – проговорила, смеясь, Певунья.

– Ну и болтушка... Дайте мне договорить...

– Вы правы: я болтаю; но это так занятно!.. Да, господин Родольф, я слушаю; кончайте же описание дома фермерши.

– Ваша спальня расположена на втором этаже.

– Моя спальня! Какое счастье! Посмотрим, посмотрим, какая она! – И молодая девушка, прижавшись к Родольфу, с любопытством широко открыла глаза.

– В вашей спальне два окна, которые выходят на разбитый в саду цветник и на луг, внизу которого течет маленькая речка; на противоположном берегу речки – холм, покрытый старыми каштанами, среди которых виднеется церковная колокольня.

– До чего все это красиво!.. До чего красиво, господин Родольф! Так и хочется побывать там.

– Три-четыре коровы пасутся на лугу, который отделен от сада изгородью из боярышника.

– А из моей спальни видны коровы?

– Как на ладони.

– Среди них будет одна, моя любимица, правда, господин Родольф? Я повешу ей на шею хорошенькие колокольчики и приучу есть из моих рук.

– Она не преминет сделать это. Она белая, без единого пятнышка, совсем еще молодая, и зовут ее Мюзеттой.

– Ах, какое красивое имя! Милая Мюзетта, я так ее полюблю!

– Закончим описание вашей спальни, Лилия-Мария; стены ее обиты тисненым полотном, а на окнах висят точно такие же занавески; вьющиеся розы и ветви огромного куста жимолости затемяют с этой стороны стену фермы и свешиваются над вашими окнами, так что по утрам вам стоит лишь протянуть руку, чтобы собрать прекрасный букет роз и жимолости.

– Ах, господин Родольф, какой вы замечательный художник!

– Посмотрим теперь, как вы проводите время на ферме!

– И как же?

– Ваша славная тетушка будит вас по утрам, нежно целуя в лоб; она приносит вам в кровать кружку парного молока, потому что, бедная девочка, у вас слабые легкие! Вы встаете, обходите ферму, здороваетесь с Мюзеттой, с курами, с вашими любимцами голубями, с цветами, растущими в саду. В девять часов утра приходит ваш учитель.

– Мой учитель?

– Вы прекрасно понимаете, что вам надо научиться читать, писать и считать, чтобы помогать вашей тете вести приходо-расходные книги.

– Ваша правда, господин Родольф, а я и не подумала об этом... Конечно, мне необходимо научиться писать, чтобы помогать тете, – серьезно сказала бедная девочка, настолько поглощенная красочным описанием этой мирной жизни, что поверила в ее реальность.

– После вашего урока вы займетесь пересмотром и раскладкой белья или сядете вышивать хорошенький чепчик вроде тех, что носят здешние крестьянки. Часа в два пополудни вы приметесь за уроки, а затем пойдете с тетей на прогулку, летом посмотрите, как работают жнецы, а осенью – пахари; вы немного устанете и вернетесь домой с большой охапкой полевых трав для вашей любимой Мюзетты.

– Конечно, ведь обратно мы пройдем по лугу, правда, господин Родольф?

– Несомненно. Как раз в этом месте через речку перекинут деревянный мост... Когда вы вернетесь, будет, по-моему, часов шесть или семь; в это время в большой кухне фермы весело горит огонь; вы заходите туда, чтобы обогреться и побеседовать со славными людьми, которые ужинают там после пахоты. Затем вы сами поужинаете вместе с тетей. Иногда к вам присоединится приходский священник или кто-нибудь из старых друзей дома... После трапезы вы читаете или шьете, в то время как ваша тетя играет в карты. В десять часов она целует вас в лоб, и вы поднимаетесь к себе... А на следующий день все повторяется сызнова.

– Так можно прожить до ста лет и ни на минуту не соскучиться.

– Но это еще не все! А воскресенья, а другие праздники?

– Что же мы будем делать в эти дни, господин Родольф?

– Вы принарядитесь, наденете хорошенькое платье вроде тех, что носят здешние крестьянки, и один из тех прелестных круглых чепчиков, которые вам так к лицу, сядете в плетеную одноколку вместе с тетей и батраком Жаком и поедете к обедне в приходскую церковь; а летом будете присутствовать с тетей на храмовых праздниках всех окрестных сел. Вы такая нежная, милая, такая прекрасная хозяйка, ваша тетя так любит вас, а священник так хорошо

о вас отзывается, что все парни будут приглашать вас танцевать, ведь именно так начинается здесь всякое сватовство... И не сегодня-завтра какой-нибудь молодой человек понравится вам... и...

Удивленный молчанием Певуньи, Родольф взглянул на нее.

Бедная девочка с трудом сдерживала рыдания... Поверив ненадолго словам Родольфа, она позабыла о настоящем, а теперь поневоле вспомнила о нем; и контраст между настоящим и мечтой о спокойной, радостной жизни дал ей почувствовать весь ужас ее положения.

– Лилия-Мария, что с вами?

– Ах, господин Родольф, сами того не желая, вы очень огорчили меня... ведь я на минуту поверила в этот рай.

– Но, детка, он существует. Взгляните... Извозчик, останови...

Карета остановилась.

Певунья машинально подняла голову. Она находилась на вершине небольшого холма.

Каковы же были ее удивление, ее растерянность!..

Приглядное село на склоне холма, ферма, луг, прекрасные коровы, маленькая речка, каштановая роща, церковь вдалеке – картина, нарисованная Родольфом, была у нее перед глазами, вплоть до Мюзетты, красивой белой телки, будущей любимицы Певуньи...

Этот прелестный пейзаж был озарен ярким ноябрьским солнцем... Пурпурные и желтые листья каштанов еще не облетели и вырисовывались на лазури неба.

– Ну как, Лилия-Мария, разве я плохой художник? – проговорил Родольф, улыбаясь.

Певунья смотрела вокруг себя с удивлением, смешанным с беспокойством. То, что она видела, казалось ей чудом.

– Что это, господин Родольф? Боже мой, уж не грежу ли я?.. Мне даже страшно... Все, о чем вы говорили...

– Нет ничего проще, детка... Фермерша – моя кормилица, и на этой ферме я был взращен... Я написал сегодня рано утром кормилице, что приеду проведать ее; моя картина нарисована с натуры.

– Вы правы, господин Родольф, – сказала Певунья с глубоким вздохом.

Глава XII. Ферма

Ферма, куда Родольф привез Лилию-Марию, лежала за селом Букеваль, небольшим уединенным приходом, мало кому известным, окруженным полями, в двух лье от Экуена.

Следуя указаниям Родольфа, извозчик спустился по крутой дороге и свернул на длинную аллею, обсаженную яблонями и вишневыми деревьями. Карета бесшумно катила по мягкому, коротко стриженному газону, покрывающему большинство проселочных дорог.

Лилия-Мария, молчаливая, грустная, оставалась под тяжелым впечатлением, которое, сам того не желая, вызвал у нее Родольф, о чем он готов был пожалеть.

Через несколько минут карета, миновав широкий въезд во двор, проехала по указанию Родольфа вдоль густой шпалеры грабов и остановилась у простого деревянного крыльца, увитого виноградом, который осень окрасила в пурпур.

– Вот мы и приехали, Лилия-Мария, – сказал Родольф, – довольны вы?

– Да, господин Родольф... Но мне кажется, что я не посмею взглянуть на фермершу, мне будет стыдно перед ней...

– Почему, дитя мое?

– Вы правы, господин Родольф... она не знает меня.

И Певунья подавила вздох.

В доме, очевидно, ждали приезда Родольфа.

Как только извозчик открыл дверцу кареты, женщина лет пятидесяти, одетая, как и все богатые фермерши парижских окрестностей, с лицом одновременно грустным, добрым и приветливым, спустилась с крыльца и поспешила навстречу Родольфу, почтительно и радостно приветствуя его.

Певунья покраснела до ушей и после минутного колебания вышла из кареты...

– Здравствуйтесь, моя милая госпожа Жорж, – сказал Родольф фермерше, – как видите, я точен.

Вложив затем деньги в руку кучеру, он сказал:

– Можешь возвращаться в Париж.

У извозчика, низкорослого, приземистого человека, шляпа была надвинута на глаза, а лицо почти скрыто подбитым мехом воротником длинного пальто; он положил деньги в карман, ничего не говоря, влез на козлы, стегнул лошадь и быстро скрылся в конце зеленой аллеи.

«После такой длинной дороги этот не сказавший ни слова извозчик что-то очень торопится уехать... – подумал Родольф. – Как? Всего два часа! Он, видно, хочет пораньше вернуться в Париж, чтобы сделать еще несколько ездов».

Однако Родольф не придавал никакого значения этой мелькнувшей у него мысли.

Лилия-Мария подошла к Родольфу и с видом смущенным, встревоженным, чуть ли не испуганным сказала ему, понизив голос, чтобы г-жа Жорж не услышала ее:

– Боже мой! Господин Родольф, простите меня... Вы отослали извозчика?.. А как же быть с Людоедкой? Увы, я обязана вернуться к ней сегодня вечером... иначе... она сочтет меня воровкой. Ведь все, что на мне надето, принадлежит ей... и я еще должна...

– Успокойтесь, детка, это мне надо просить у вас прощения...

– Вам, у меня?.. За что?

– За то, что я не сказал вам этого раньше: вы ничего не должны Людоедке... Вы можете сбросить эту мерзкую одежду и заменить ее той, которую вам предложит любезная госпожа Жорж. Вы с ней почти одного роста, и она с удовольствием даст вам что-нибудь из своего гардероба... Как видите, она уже входит в роль вашей тетушки.

Лилии-Марии казалось, что все это сон; она попеременно смотрела на фермершу и на Родольфа, не веря своим ушам.

– Неужто я больше не вернусь в Париж? – молвила она голосом, дрожащим от волнения. – Я смогу остаться здесь? И госпожа Жорж разрешит мне?.. Значит, он возможен... тот воздушный замок, о котором мы только что говорили?

– Он перед вами, я имел в виду эту ферму.

– Нет, о нет! Это было бы слишком прекрасно... слишком хорошо.

– Никогда не бывает слишком хорошо, Лилия-Мария.

– О, сжальтесь надо мной, господин Родольф... не обманывайте меня, мне было бы слишком больно...

– Дорогое дитя, верьте мне, – сказал Родольф по-прежнему ласково, но с оттенком горделивого достоинства, которое Лилия-Мария никогда не замечала у него, – да, если захотите, то, начиная с сегодняшнего дня, вы будете вести рядом с госпожой Жорж ту спокойную жизнь, описание которой только что привело вас в восторг... Хотя госпожа Жорж и не доводится вам тетушкой, она будет относиться к вам с самой нежной заботливостью; в глазах обитателей фермы вы будете считаться ее племянницей; эта небольшая ложь сделает более естественным ваше пребывание здесь... Повторяю... если вам этого хочется, Лилия-Мария, вы можете осуществить свою недавнюю мечту. Когда вы будете одеты, как молоденькая фермерша, – продолжал Родольф, улыбаясь, – мы сводим вас к вашей любимице Мюзете, хорошенькой белой телке, которая с нетерпением ждет обещанных вами колокольчиков. Мы поглядим также на ваших приятелей-голубей; я непременно хочу выполнить свое обещание.

Лилия-Мария крепко сжала руки. Удивление, радость, признательность, глубокое уважение отразились на ее прелестном личике; глаза ее наполнились слезами.

– Господин Родольф... – воскликнула она, – значит, вы ангел господень, если делаете столько добра людям, не зная их, и спасаете несчастных от нищеты и позора!!!

– Мое бедное дитя, – ответил Родольф с улыбкой, в которой сквозила глубокая печаль и невыразимая доброта, – хотя я еще молод, но уже испытал много горя; этим и объясняется мое сострадание ко всем обездоленным, Лилия-Мария, или, лучше сказать, Мария. Да, пусть отныне ваше имя будет Мария, нежное и красивое, как вы сами. Ступайте теперь с госпожой Жорж, до моего отъезда мы еще поговорим с вами, и я покину вас очень счастливым... при мысли, что вы счастливы.

Лилия-Мария ничего не ответила, она преклонила колена, взяла руку Родольфа и, прежде нежели он успел ей помешать, почтительно поднесла ее к губам движением, исполненным изящества и скромности.

После чего она последовала за госпожой Жорж, которая смотрела на нее с глубоким сочувствием.

Глава XIII. Мэрф и Родольф

Родольф вышел во двор фермы, где он встретился с мужчиной высокого роста, который накануне, переодетый угольщиком, зашел предупредить его о прибытии Тома и Сары.

Мэрфу, так звали этого человека, было лет пятьдесят; седина посеребрила остатки его некогда рыжеватых волос, которые кудрявились по бокам почти голого черепа; полное розовое лицо было чисто выбрито, за исключением очень коротких рыжих бакенбард, которые, прикрывая уши, заканчивались полумесяцем на пухлых щеках. Несмотря на почтенный возраст и полноту, Мэрф был подвижен и крепок. Его физиономия, на первый взгляд флегматичная, говорила о характере одновременно доброжелательном и решительном. Он носил длинный черный сюртук с широкими фалдами, обширный жилет и белый галстук; зеленовато-серые штаны были из той же ткани, что и гетры на перламутровых пуговицах, не вполне доходившие до подвязок и позволявшие видеть дорожные чулки из некрашеной шерсти.

Одеждой и осанкой Мэрф являл законченный тип помещика-дворянина, как говорят англичане. Поспешим добавить, что он был англичанином и дворянином (эсквайром), но не фермером. В ту минуту, когда Родольф вошел во двор, Мэрф клал в специальное отделение небольшого дорожного экипажа пару только что вычищенных пистолетов.

– Зачем, к черту, ты взял эти пистолеты?

– Это касается только меня, монсеньор, – сказал Мэрф, спрыгивая с подножки. – Вы занимаетесь своими делами, а я – своими.

– На какое время ты заказал лошадей?

– Как вы приказали, они будут здесь с наступлением темноты.

– Ты приехал утром?

– В восемь часов. У госпожи Жорж было достаточно времени, чтобы все подготовить.

– Ты не в духе... Ты недоволен мной?

– Более чем недоволен... Гораздо более. Не сегодня-завтра... Словом, вам грозит опасность... Дело идет о вашей жизни...

– Тебе не пристало так говорить! Дай тебе волю, ты один взял бы на себя весь риск и...

– Право, если бы вы делали добро, не рискуя жизнью, я не узрел бы в этом большой беды.

– Зато я не испытал бы столь большого удовольствия, дорогой Мэрф.

– Такой человек, как вы, и посещаете низкопробные таверны! – проговорил Мэрф, пожимая плечами.

– О, как это похоже на всех ваших Джонов Булей с их преклонением перед аристократией, воображающих, будто вельможи – люди иной породы, чем вы, несчастные бараны, гордящиеся своими мясниками!!!

– Будь вы англичанином, монсеньор, вы бы поняли это... люди чтят тех, кто им оказывает честь. Впрочем, кем бы я ни был, турком, китайцем или американцем, я все равно сказал бы, что вы напрасно рискуете жизнью таким образом. Вчера вечером, в гнусной улочке Сите, куда мы отправились с вами на поиски этого Краснорукого (чтоб ему пусто было), только опасение прогневить вас непослушанием помешало мне прийти вам на помощь в вашей драке с разбойником, которого вы нашли в этом вертепе.

– Иначе говоря, господин Мэрф, вы сомневаетесь в моей силе, в моем мужестве?

– К несчастью, вы много раз доказывали мне и силу свою, и мужество. Благодарение богу, Крабб из Рамсгейта научил вас боксу; парижанин Лакур показал вам, как надо пользоваться шпагой, скрытой в трости, наносить удары ногами и шулки ради обучил вас аргю; знаменитый Бертран преподавал вам фехтование, и в ваших поединках с мастерами этого дела вы нередко были победителем. Из пистолета вы убиваете ласточку на лету; у вас стальные мускулы;

несмотря на изящество и стройность, вы с такой же легкостью победили бы меня, с какой скаковая лошадь победила бы ломовую... Это правда...

Родольф не без удовольствия выслушал этот перечень своих гладиаторских качеств.

– Так чего же ты боишься? – спросил он с улыбкой.

– Я утверждаю, что вам не пристало вступать в драку с первым попавшимся мужланом. Я говорю это не из-за того, что считаю неприличным для некоего почтенного дворянина, моего знакомого, мазать себе лицо углем и походить в таком виде на черта... Несмотря на мою седину, дородность и степенность, я переоделся бы канатным плясуном, лишь бы сослужить вам службу, но от своих слов я не откажусь.

– О, я прекрасно знаю это, дорогой Мэрф. Когда какая-нибудь мысль засядет в твоей упрямой башке, когда преданность внедрится в твое стойкое и отважное сердце, самому дьяволу не вырвать их у тебя ни когтями, ни зубами.

– Вы льстите мне, монсеньор, вы замышляете какое-нибудь...

– Говори, не стесняйся.

– Какое-нибудь безрассудство, монсеньор.

– Мой бедный Мэрф, ты плохо выбрал время, чтобы читать мне нотации.

– Почему?

– Я переживаю как раз одну из редких минут счастья, гордости... Я приехал сюда...

– В местность, где вы сделали столько добра?

– Здесь я спасаюсь от твоих проповедей, это мое прибежище.

– Если так, то где же еще, черт возьми, я смогу вас пожурить, монсеньор?

– По всему видно, Мэрф, что ты хочешь помешать моему новому безрассудству.

– Есть безрассудство и безрассудство, монсеньор, к некоторым из них я отношусь снисходительно.

– Например, к мотовству?

– Да, что ни говори, а имея миллиона два годового дохода...

– И вместе с тем иной раз мне не хватает денег, мой бедный друг.

– Кому вы это говорите, монсеньор?

– И все же бывают радости, трепетные, чистые, глубокие, которые вдобавок недорого стоят! Какое чувство можно сравнить с тем, что я испытал, когда эта обездоленная девушка, увидев себя здесь, где ничто не грозит ей, в порыве благодарности поцеловала мне руку? Это еще не все; мое счастье не кончится на этом: завтра, послезавтра и еще долгие дни я буду с наслаждением думать о том, что чувствует эта бедная девочка, просыпаясь утром в своем спокойном убежище, под одной крышей с такой превосходной женщиной, как госпожа Жорж, которая нежно полюбит ее, ибо несчастье сближает людей.

– О, что касается госпожи Жорж, никогда еще ваши добрые дела не находили лучшего применения. Благородная, мужественная женщина!.. Ангел, сущий ангел по своей редкой добротели! Меня нелегко растрогать, но несчастья госпожи Жорж растрогали меня... Зато ваша новая протеза... Впрочем, не будем говорить об этом, монсеньор.

– Почему, Мэрф?

– Монсеньор, поступайте как вам заблагорассудится...

– Я делаю то, что хорошо и справедливо, – проговорил Родольф с оттенком нетерпения.

– Справедливо... по вашему мнению.

– Справедливо перед богом и перед моей совестью, – строго заметил Родольф.

– Простите, монсеньор, но мы все равно не пойдем друг друга. Повторяю, не стоит больше говорить об этом.

– А я приказываю вам говорить, – повелительно воскликнул Родольф.

– Еще ни разу не случилось, монсеньор, чтобы вы приказывали мне молчать; надеюсь, что на этот раз вы не прикажете мне говорить, – гордо ответил Мэрф.

– Сударь!!! – воскликнул Родольф.

– Монсеньор!!!

– Вам известно, сударь, что я не терплю недомолвок.

– А если, на мой взгляд, они необходимы? – резко возразил Мэрф.

– Так знайте же, сударь, я снисхожу до фамильярности с вами, но при одном условии: вы обязаны возвыситься до откровенности со мной.

Невозможно описать выражение крайнего высокомерия, отразившегося на лице Родольфа при этих словах.

– Монсеньор, мне пятьдесят лет, я дворянин; вам не пристало так разговаривать со мной.

– Замолчите!

– Монсеньор!

– Замолчите!

– Монсеньор, негоже принуждать великодушного человека вспоминать об оказанных им услугах.

– Твои услуги? Разве я не оплачиваю их всеми возможными способами?

Надо сказать, что Родольф не приписывал этим жестоким словам того унижительного смысла, который усмотрел в них Мэрф из-за своего подневольного положения; к несчастью, именно так он истолковал их. Лицо Мэрфа побагровело от стыда, и он поднес сжатые кулаки ко лбу с выражением горестного возмущения; но тут настроение его резко изменилось, и, бросив взгляд на Родольфа, благородное лицо которого было искажено чувством гневного презрения, он подавил вздох, посмотрел на молодого человека с ласковым состраданием и сказал ему взволнованно:

– Монсеньор, опомнитесь!.. Вы неблагоприятны!..

Эти слова окончательно вывели из себя Родольфа; глаза его дико сверкнули, губы побелели, и он подошел к Мэрфу, угрожающе подняв руку.

– Как ты смеешь?! – воскликнул он.

Мэрф отступил на шаг и проговорил скороговоркой, как бы помимо воли:

– Монсеньор, монсеньор, *вспомните о тринадцатом января!*

Эти слова оказали поразительное действие на Родольфа. Его лицо, искаженное гневом, разгладилось. Он пристально взглянул на Мэрфа, опустил голову и после минутного молчания прошептал изменившимся голосом:

– Ах, сударь, как вы жестоки... я полагал, однако, что мое раскаяние, мои угрызения совести!.. И это вы!.. Вы!..

Родольф не закончил фразы, его голос прервался; он опустился на каменную скамью и закрыл лицо руками.

– Монсеньор, – воскликнул Мэрф в отчаянии, – мой добрый господин, простите вашего старого преданного Мэрфа! Только доведенный до крайности и опасаясь, увы, не за себя... а за вас... последствий вашей горячности, я сказал без гнева, без упрека, сказал помимо воли и с чувством сострадания... Монсеньор, я был не прав, что обиделся. Боже мой, кому лучше знать ваш характер, как не мне, человеку, который всегда был при вас с самого вашего детства!.. Умоляю, скажите, что прощаете меня за то, что напомнил вам об этом роковом дне... Увы... Чего вы только не делали, дабы искупить...

Родольф поднял голову; он был очень бледен.

– Замолчи, замолчи, старый друг, – сказал он грустно и мягко своему давнему спутнику, – я благодарен тебе, что одним словом ты утишил мою гневную вспышку; я не стану просить прощения за дерзости, которые тебе наговорил: ты сам знаешь, что «от сердца до уст далеко», как говорят добрые люди в нашем краю. Я был не в себе, позабудем об этом.

– Увы! Теперь вы долго будете грустить... Какой же я дурак!.. Больше всего на свете мне хочется, чтобы ваше мрачное настроение развеялось... А я снова вызываю его своей глупой

обидчивостью! Бог ты мой! Какой толк быть честным человеком с седеющей головой, если ты не умеешь терпеливо сносить незаслуженные упреки. Так нет же, – продолжал Мэрф с волнением, тем более комичным, что оно не вязалось с его обычным спокойствием, – так нет же, мне, видите ли, требуется, чтобы меня хвалили с утра до ночи, чтобы мне повторяли: «Господин Мэрф лучший из слуг; господин Мэрф, вы замечательный человек; боже, как он хорош собой, господин Мэрф, нет и не бывало преданности, равной вашей, славный Мэрф!» Полно, старый попугай, тебе, значит, требуется, чтобы кто-то беспрестанно гладил твою старую голову.

Вспомнив затем о ласковых словах, сказанных ему Родольфом в начале беседы, он воскликнул с еще большим пылом:

– Сам же он назвал меня своим хорошим, старым, верным Мэрфом!.. А я, словно какой-нибудь мужлан, из-за его невольной вспышки!.. Черт возьми!.. Я готов выдрать себе волосы.

И достойный джентльмен поднес руки к вискам.

Эти слова и жесты Мэрфа доказывали, что отчаяние его достигло предела. К несчастью или к счастью для Мэрфа, он был почти совсем лыс, и покушение на свою шевелюру ничем ему не грозило, о чем он искренне сожалел, ибо когда слова сменялись делом, то есть когда его скрюченные пальцы встречали лишь гладкую, блестящую, как мрамор, поверхность черепа, достойный эсквайр был смущен и пристыжен, считая себя хвастуном, бахвалом из-за проявленного им самомнения. Поспешим сказать в оправдание Мэрфа, что у него была некогда самая густая, самая золотистая шевелюра, когда-либо украшавшая голову йоркширского дворянина.

Разочарование Мэрфа по поводу отсутствия его шевелюры обычно забавляло Родольфа. Но в эту минуту его мысли были серьезны, горестны. Не желая, однако, усугублять раскаяние своего спутника, он сказал ему с мягкой улыбкой:

– Послушай, мой славный Мэрф, ты как будто превозносил до небес то доброе, которое я сделал госпоже Жорж...

– Монсеньор...

– Но тебя удивляет мой интерес к этой бедной погибшей девушке?

– Монсеньор, умоляю вас... Я был не прав... не прав...

– Нет... Я понимаю, первое впечатление могло обмануть тебя... Но поскольку ты знаешь всю мою жизнь, поскольку помогаешь мне с редкой преданностью, с редким мужеством выполнить задачу, которую я возложил на себя, я обязан по велению долга или, если хочешь, из чувства благодарности объяснить тебе, что не поступаю легкомысленно.

– Мне ли не знать этого, монсеньор!

– Тебе известны мои мысли о том добре, что может делать человек. Выручать порядочных людей, которые жалуется на свою долю, – хорошо. Разузнавать о тех, кто честно, мужественно ведет битву с жизнью, и приходить им на помощь, иной раз без их ведома... вовремя предупредить нищету и соблазн, ведущие к преступлению... еще лучше. Обелять в их собственных глазах и возвращать к честной, достойной жизни тех, кто сумел сохранить великодушные чувства среди унижительного презрения, гнетущей нищеты и окружающей испорченности, и ради этого смело входить в соприкосновение с нищетой, испорченностью и грязью... лучше всего. Преследовать непримиримой ненавистью, неумолимым возмездием порок, подлость, преступление, ползают ли они в грязи или купаются в роскоши, не что иное, как акт справедливости... Но слепо помогать заслуженной нищете, позорить, осквернять милосердие и жалость, профанировать сочувствие и подаяние – благих, целомудренных утешительниц моей израненной души... и дарить их людям недостойным, бесчестным было бы отвратительно, постыдно, кощунственно. Это значило бы породить сомнение в существовании бога, а дающий должен пробуждать веру в него.

– Монсеньор, я вовсе не хотел сказать, что вы облагодетельствовали кого-нибудь недостойного.

– Еще одно слово, мой старый друг. Госпожа Жорж и несчастная девушка, которую я поручил ее попечению, вышли из двух противоположных миров, но обе очутились в бездне злосчастья. Жизнь одной из них, счастливой, богатой, любимой, уважаемой, наделенной всеми добродетелями, была растоптана, загублена лицемерным негодяем, за которого ее выдали недалёковидные родители... Я говорю с радостью, что без меня эта несчастная женщина погибла бы в нищете, ибо стыд мешал ей просить о помощи.

– Ах, монсеньор, когда мы поднялись на ее мансарду, какую мы увидели там страшную нищету! Это было ужасно, ужасно!.. И когда после долгой болезни она, так сказать, пришла в себя здесь, в этом спокойном доме, каково же было ее удивление, ее благодарность! Вы правы, монсеньор, помощь, оказываемая людям, попавшим в такую горькую беду, внушает веру в бога.

– И помогать им – значит почитать его! Да, согласен, нет ничего более возвышенного, чем мудрая и спокойная добродетель, нет никого более достойного уважения, чем такая женщина, как госпожа Жорж. Воспитанная доброй и благоразумной матерью в разумном соблюдении своих обязанностей, она ни разу не нарушила его... ни разу!!! И мужественно прошла через самые тяжкие испытания. Разве не славим мы всевышнего во всей его благодати, спасая от разврата одну из редких натур, которых ему было угодно наделить многими качествами?.. Не заслуживает ли жалости, интереса, уважения... да, уважения, эта несчастная девочка, которая, предоставленная самой себе, истерзанная, заключенная в тюрьму, униженная и поруганная, свято сохранила в глубине сердца ростки добра, заложенные в нее богом? Если бы ты слышал бедняжку... при первом выражении сочувствия с моей стороны, как первом дружеском сердечном слове, обращенном к ней, лучшие свойства, тончайшие чувства, самые поэтические и чистые помыслы пробудились в ее простодушной душе наподобие того, как весной множество полевых цветов произвольно распускается на лугах, пригретых солнцем! Во время часовой беседы с Лилией-Марией я открыл в ней сокровище доброты, деликатности, мудрости, мой дорогой Мэрф. Улыбка тронула мои губы, а слезы навернулись на глаза, когда среди своей пленительной и разумной болтовни она доказывала мне необходимость откладывать по сорок су в день, чтобы уберечь себя от нужды и дурных соблазнов. Бедная крошка! Она говорила все это таким серьезным, убежденным голосом; она была так искренне довольна, что дает мне хороший совет, и так искренне обрадовалась, когда я обещал слушаться ее!.. Я был тронут, уверяю тебя, тронут до слез, я уже говорил тебе об этом... А меня еще обвиняют в том, что я человек пресыщенный, черствый, непреклонный... О нет, нет! Слава богу, я еще чувствую иногда, как бурно, горячо бьется мое сердце... Но ты сам растроган, мой старый друг... Право, Лилии-Марии не придется ревновать тебя к госпоже Жорж, ее участь не оставит тебя безразличным.

– Ваша правда, монсеньор... Эта просьба о том, чтобы вы откладывали по сорок су в день – ведь она думала, что вы рабочий, вместо того чтобы выпрашивать их для себя... да, эта просьба тронула меня, быть может, больше, чем следовало бы.

– Стоит мне подумать, что у этой девочки, как говорят, есть мать, богатая, уважаемая, которая бессовестно бросила ее... О, если это так – надеюсь, я узнаю правду и все расскажу тебе. О, если это так... горе... горе этой женщине! Ее ждет грозное возмездие... Мэрф, Мэрф... я еще никогда не чувствовал такой беспощадной ненависти, как при мысли об этой незнакомке. Ты же знаешь, Мэрф, знаешь... иная месть дорога моему сердцу... иная боль драгоценна мне... я жажду иных слез!

– Увы, монсеньор, – проговорил Мэрф, огорченный выражением сатанинской злобы, искажившей при этих словах черты Родольфа, – я знаю, что люди, заслуживающие внимания и участия, часто говорят о вас: «Так, значит, он добрый ангел!» Зато другие, заслуживающие презрения и ненависти, восклицают, проклиная вас в порыве отчаяния: «Так, значит, он демон!..»

– Тише, сюда идут госпожа Жорж с Марией... Распорядитесь, чтобы все было готово к нашему отъезду: мне надо пораньше быть в Париже.

Глава XIV. Расставание

Благодаря стараниям г-жи Жорж Марию (так мы будем называть отныне Певунью) нельзя было узнать.

Хорошенький круглый чепчик, какие носят местные крестьянки, и причесанные на пробор густые белокурые волосы обрамляли ее девственное личико. Большой шейный платок из белого муслина скрещивался у нее на груди и уходил под высокий квадратный нагрудник фар-тучка из переливчатой тафты, голубые и розовые отцветы которой падали на коричневое платье, словно сшитое по ней.

Личико девушки было сосредоточенно, ибо большое счастье погружает иные натуры в невыразимую грусть, в светлую меланхолию.

Родольфа не удивила задумчивость Марии. Появись она веселая, болтливая, у него сложилось бы менее высокое мнение о ней.

С присущим ему тактом он не сказал ни одного лестного слова Марии, хотя она и блистала красотой.

Родольф чувствовал нечто торжественное, священное в возрождении этой души, вырванной у порока.

Госпожа Жорж, на серьезном лице которой лежал отпечаток долгих страданий и покорности судьбе, смотрела на Марию со снисходительностью и чуть ли не материнской нежностью: так прихлилась ей по душе мягкость и изящество этой девушки.

– Вот и моя детка... Она пришла поблагодарить вас за все, что вы для нее сделали, – проговорила г-жа Жорж, подводя Певунью к Родольфу.

При слове «детка» Певунья медленно подняла большие голубые глаза на свою покровительницу и посмотрела на нее с чувством неизъяснимой благодарности.

– Спасибо вам за Марию, дорогая госпожа Жорж, она заслуживает вашей нежной заботливости... да и всегда будет достойна ее.

– Господин Родольф, – проговорила Певунья дрожащим голосом, – вы поймете, не правда ли, что я не нахожу слов...

– Ваше волнение мне и так все сказало, Мария...

– О, она и сама понимает, что должна благодарить провидение за ниспосланное ей счастье, – растроганно молвила г-жа Жорж. – Когда она вошла в мою спальню, ее первым побуждением было броситься на колени перед распятием.

– Ведь теперь благодаря вам, господин Родольф, я смею молиться, – проговорила Мария, смотря на своего покровителя.

Мэрф резко отвернулся: английская невозмутимость не позволяла ему показать, насколько он тронут этими простыми словами Марии.

– Дитя мое, – сказал Родольф, – мне надо побеседовать с госпожой Жорж... Мой друг Мэрф ходит с вами на ферму... и познакомит вас с вашими будущими питомцами... Скоро и мы присоединимся к вам... Мэрф!.. Мэрф! Ты что, не слышишь меня?

Достойный джентльмен стоял в эту минуту спиной к Родольфу и притворялся, что громко сморкается; он спрятал платок в карман, надвинул на глаза шляпу и, наполовину обернувшись к Марии, подал ей руку. Мэрф так искусно проделал все это, что ни Родольф, ни г-жа Жорж не увидели его лица. Затем, держа под руку молодую девушку, он быстро зашагал к зданию фермы, и Певунье пришлось бежать за ним, как она бегала в детстве за Сычихой.

– Так что же вы думаете о Марии, госпожа Жорж?

– Я уже говорила вам, господин Родольф, что, войдя в мою спальню, она поспешно преклонила колени перед висящим у меня распятием... Не могу выразить, сколько было непосредственности, подлинного религиозного чувства в этом поступке... Я сразу поняла, что душа ее

осталась чиста... И кроме того, в благодарности Марии нет ничего искусственного... выпрени- него; вот почему ее чувство кажется особенно искренним. Приведу еще один пример, который покажет вам, что ей присуще глубокое религиозное чувство. «Вы были, вероятно, поражены и очень счастливы, когда господин Родольф сказал, что вы останетесь здесь?.. Какое впечатление его слова произвели на вас?» – «О, когда господин Родольф сказал мне это, я сама не знаю, что случилось со мной; я почувствовала нечто вроде священного трепета, благоговейной радости, как прежде, при входе в церковь... когда я смела туда входить, – прибавила она, – ведь вам известно, сударыня...» Я не позволила ей продолжать, видя, что лицо покрылось краской стыда: «Я знаю, дитя мое, я всегда буду называть вас так... Я знаю, что вы много выстрадали, детка, но бог благословляет тех, кто любит и страшится его, тех, кто несчастлив и раскаялся...»

– Ну что же, милая госпожа Жорж, я вдвойне доволен тем, что сделал. Со временем эта бедная девушка еще больше расположит вас к себе... вы правильно угадали: задатки у нее превосходные.

– Вот что еще тронуло меня, господин Родольф: она не задала мне ни одного вопроса о вас, хотя любопытство ее, конечно, было возбуждено. Меня поразила ее сдержанность, деликатность, и мне захотелось понять, насколько непосредственно такое поведение. «Вам, наверно, интересно узнать, кто такой ваш таинственный благодетель?» – «Я знаю... – ответила она с прелестной наивностью: – Он зовется моим благодетелем».

– Так, значит, вы полюбите ее, великодушная женщина? Вам будет приятно ее общество, и она займет уголок в вашем сердце...

– Во всяком случае, я буду заботиться о ней... как заботилась бы... о нем, – сокрушенно проговорила г-жа Жорж.

Родольф взял ее за руку.

– Полно, полно, еще рано отчаиваться... Если до сих пор мои поиски не увенчались успехом, быть может, в один прекрасный день...

Госпожа Жорж печально покачала головой.

– Моему несчастному сыну исполнилось бы теперь двадцать лет, – проговорила она с горечью.

– Скажите лучше, что ему исполнилось двадцать...

– Да услышит вас бог, господин Родольф!

– Он услышит меня... я твердо верю в это... Вчера я ходил на поиски (правда, напрасные) некоего пройдохи, прозванного Красноруким, который, как мне говорили, кое-что знает о вашем сыне. По выходе из дома, где живет Краснорукий, мне пришлось вступить в драку, благодаря которой я и встретил эту несчастную девушку.

– Ну что же... по крайней мере, ваше желание мне помочь навело вас на след нового злосчастья, господин Родольф.

– Впрочем, мне давно хотелось исследовать категорию отверженных людей... Я был почти уверен, что среди них найдутся души, которые можно вырвать у старика Сатаны, – сказал с улыбкой Родольф, – я забавляюсь, идя наперекор его козням, и иной раз мне удается похитить лучшую его добычу.

И, перейдя на более серьезный тон, Родольф спросил:

– Никаких сведений из Рошфора?

– Никаких... – ответила г-жа Жорж тихо, с дрожью в голосе.

– Тем лучше!.. Теперь уже можно не сомневаться, что этот изверг погиб в каком-нибудь болоте при попытке к бегству. Его приметы широко известны... он опасный преступник, и, конечно, все средства были пущены в ход, чтобы разыскать его; ведь прошло уже полгода с тех пор, как он исчез с ка...

Родольф умолк, не решаясь произнести это страшное слово.

– С каторги!.. Хотите вы сказать... с каторги! – воскликнула как потерянная несчастная женщина. – И этот человек – отец моего сына!.. О, если мой бедный ребенок еще жив... если он по моему примеру не переменял фамилии... Какой это стыд для него... какой стыд! Но это еще пустяки... Ведь отец его мог исполнить свою чудовищную угрозу... Ах, господин Родольф, простите меня, но, невзирая на все ваши благодеяния, я чувствую себя очень несчастной.

– Успокойтесь, прошу вас.

– Иной раз мне мерещатся всякие ужасы. Мне чудится, что мужу удалось сбежать из Рошфора, что он цел и невредим, что он ищет меня, хочет убить, как убил, быть может, нашего сына. Ума не приложу, что он мог с ним сделать!

– Эта тайна давно гложет меня, – задумчиво проговорил Родольф. – Для чего этот подлец взял с собой вашего сына, когда пятнадцать лет тому назад он пытался, по вашим словам, перебраться через французскую границу? Маленький ребенок мог только помешать его бегству.

– Увы, господин Родольф, когда мой муж (несчастливая женщина вздрогнула, произнеся это слово) был арестован на границе, привезен в Париж и брошен в тюрьму, я получила разрешение на свидание с ним. Тогда-то он и произнес эти страшные слова: «Я похитил твоего сына потому, что ты любишь его; таким образом я заставлю тебя посылать мне деньги, которые будут, а может, и не будут истрачены на него... это уже моя забота... Останется ли он в живых или нет – неважно... Но если он выживет, то окажется в руках такого человека, что стыд за сына падет на твою голову, как уже пал на нее стыд за его отца...» И вот месяц спустя мой муж был приговорен к пожизненной каторге... С тех пор все просьбы, мольбы, обращенные в моих письмах к мужу, были тщетны; я так ничего и не узнала о судьбе моего мальчика... Ах, господин Родольф, где теперь мой сын? Мне то и дело вспоминаются чудовищные слова, сказанные мужем: «Стыд за сына падет на твою голову, как уже пал на нее стыд за его отца!»

– Но злодеяние бессмысленно; зачем было развращать, растлевать несчастного ребенка? И главное, зачем отнимать его у вас?

– Я уже говорила вам об этом, господин Родольф: чтобы вынудить меня посылать ему деньги; хотя он и разорил нас с сыном, у меня еще оставались кое-какие средства, которые он и выманивал у меня таким способом. Прекрасно зная его подлость, я все же не могла поверить, чтобы хоть часть этих денег не пошла на воспитание бедного мальчика.

– А у вашего сына не было никакого отличительного признака, никакой вещицы, которые помогли бы установить его личность?

– Ничего, господин Родольф, кроме крошечного скульптурного изображения святого духа из лазурита, которое он носил на серебряной цепочке; эта реликвия, освященная самим святейшим отцом, принадлежала моей матери, которая очень чтит ее; я тоже носила ее; потом повесила этот талисман на шею моему сыну. Увы, он потерял свою чудодейственную силу.

– Как знать! Мужайтесь, несчастная мать: бог всемогущ.

– Да, провидение послало мне вас, господин Родольф.

– Слишком поздно, милая госпожа Жорж, слишком поздно. Раньше я сумел бы, возможно, избавить вас от долгих лет скорби...

– Ах, господин Родольф, вы и так меня осчастливили.

– Чем же? Я купил у вас эту ферму. В дни вашего благоденствия вам нравилось совершенствовать и украшать свои владения; затем вы согласились стать моим управляющим; благодаря вашим стараниям, вашей деловитости ферма приносит мне доход...

– Приносит вам доход, сударь? – переспросила г-жа Жорж, прерывая Родольфа. – Ведь я сама отдаю арендную плату нашему славному аббату Лапорту, а он, по вашему приказанию, раздает ее нуждающимся.

– Ну что же, разве это не превосходное употребление денег? Но скажите, вы предупредили нашего милого аббата о моем приезде? Я непременно хочу поручить ему мою протекцию. Он получил мое письмо?

– Господин Мэрф отнес ему письмо сегодня утром, как только приехал на ферму.

– В этом письме я рассказал в нескольких словах вашему славному священнику историю этой бедной девочки; я не был уверен, что сумею приехать к вам сегодня. В этом случае Мэрф привез бы вам Марию.

Подошедший батрак прервал эту беседу, происходившую в саду.

– Сударыня, его преподобие ожидает вас.

– Скажи, парень, а почтовые лошади прибыли?

– Да, господин Родольф, уже запрягают.

И батрак вышел из сада.

Госпожа Жорж, священник и все жители фермы знали покровителя Марии лишь под именем Родольфа. Мэрф хранил гробовое молчание насчет своего бывшего питомца; правда, он всегда титуловал его с глаза на глаз, зато при посторонних называл его не иначе как г-ном Родольфом.

– Я забыл предупредить вас, дорогая госпожа Жорж, – сказал Родольф, когда они возвращались на ферму, – по-моему, у Марии слабые легкие. Лишения, нищета подорвали ее здоровье. Сегодня утром, при дневном свете, я был поражен ее бледностью, хотя на щеках ее играл яркий румянец; мне показалось также, что глаза у нее лихорадочно блестят... ей потребуется заботливый уход.

– Можете рассчитывать на меня, господин Родольф. Слава богу, у нее нет ничего серьезного... В этом возрасте... она быстро поправится в деревне, на свежем воздухе, отдых и счастье тоже сделают свое дело.

– Согласен с вами... но я не особенно доверяю вашим деревенским врачам... Я скажу Мэрфу, чтобы он привез сюда моего доктора – негра... он превосходный врач и назначит пациентке тот режим, в котором она нуждается... Вы часто будете осведомлять меня о здоровье Марии... Немного спустя, когда она успокоится и окрепнет, мы подумаем о ее будущем... Быть может, для нее лучше всего было бы остаться с вами... если она придется вам по сердцу.

– Таково и мое желание, господин Родольф. Она заменит мне ребенка, которого я неустанно оплакиваю.

– Ну что ж, будем надеяться на счастливый исход... для вас и для нее.

Когда Родольф с г-жой Жорж приближались к дому, Мэрф и Мария подходили к нему с другой стороны.

Мария была оживленна после прогулки. Родольф обратил внимание г-жи Жорж на два ярких пятна, рдевших на щеках молодой девушки, которые резко выделялись на нежной белизне ее кожи.

Достойный джентльмен, оставив Певунью, подошел со смущенным видом к Родольфу и сказал ему на ухо:

– Эта девушка околдовала меня; не знаю теперь, кто из них мне больше нравится – она или госпожа Жорж... Я был скотиной, болваном.

– Только не вырывай себе волосы из-за этого, старый друг, – сказал Родольф и с улыбкой пожал руку эсквайра.

Опираясь на Марию, г-жа Жорж вошла в маленькую гостиную в первом этаже своего дома, где ее ожидал аббат Лапорт.

Мэрф отлучился, чтобы распорядиться об отъезде.

Госпожа Жорж, Мария, Родольф и священник остались одни.

Стены и мебель этой простой и уютной гостиной были обиты тисненым полотном, как, впрочем, и остальные комнаты дома, точно описанного Родольфом во время его поездки с Певуньей.

Толстый ковер лежал на полу, огонь пылал в камине, и два огромных букета китайских астр всевозможной расцветки стояли в двух хрустальных вазах, распространяя вокруг себя легкий бальзамический аромат.

Сквозь полузакрытые решетчатые ставни были видны луг, маленькая речка и холм, поросший каштанами.

Аббату Лапорту, сидевшему у камина, перевалило за восемьдесят, и после революции он стал настоятелем этого бедного прихода.

Трудно было встретить более почтенную внешность, чем у этого аббата с его старческим, исхудавшим и болезненным лицом в рамке длинных седых волос, которые падали на воротник его черной, кое-где заплатаанной сутаны; по словам аббата, лучше отдать хорошее, теплое сукно двум-трем неимущим детям, чем разыгрывать из себя щеголя, иными словами, чем менять сутаны каждые два-три года.

Добрый аббат был очень стар, так стар, что его руки вечно дрожали, и иной раз, когда в разговоре он поднимал их, можно было подумать, что он благословляет свою паству.

Родольф с интересом наблюдал за Марией.

Если бы он хуже знал ее, или, точнее, хуже разгадал ее душу, он был бы, вероятно, удивлен тем благоговейным спокойствием, с которым она подошла к священнику.

Тонкое чутье Марии подсказало ей, что стыд кончается там, где начинаются раскаяние и искупление.

– Ваше преподобие, – почтительно сказал Родольф, – госпожа Жорж согласилась взять на попечение эту юную девушку... для которой я хочу испросить и вашего благосклонного внимания.

– Она имеет на него право, сударь, как и все те, кто прибегает к нам. Милосердие бога неистоимо, мое дорогое дитя! Он доказал вам это, не покинув вас в ваших горьких испытаниях... Мне все известно. – И он взял руку Марии в свои дрожащие старческие руки. – Великодушный человек, спасший вас от гибели, исполнил слово Писания, гласящее: «Господь печется о тех, кто призывает Его; Он услышит их стоны и спасет их». А теперь постарайтесь заслужить своим поведением милосердие Господне. Я же всегда буду рад подбодрить, поддержать вас... на той благой стезе, на которую вы вступили. У вас перед глазами неизменно будет назидательный пример госпожи Жорж... А во мне вы найдете внимательного советчика... Господь завершит свое дело...

– Я буду молиться за тех, кто пожалел меня и привел к богу, отец мой... – сказала Певунья.

И почти непроизвольно она опустилась на колени перед священником. Рыдания душили ее.

Госпожа Жорж, Родольф и аббат были глубоко растроганы.

– Дорогое дитя, – сказал священник, – вы скоро заслужите отпущение грехов, ибо являетесь скорее жертвой, нежели грешницей. Как сказал пророк: «Господь поддерживает тех, кто готов пасть, и поднимает тех, кто повержен».

– Прощайте, Мария, – сказал Родольф, вручая девушке маленький золотой крестик на черной бархотке. – Сохраните его на память обо мне; сегодня утром я велел выгравировать на нем число этого дня – дня вашего освобождения... вашего искупления. Скоро я приеду навестить вас.

Мария поднесла крестик к губам.

В эту минуту Мэрф открыл дверь в гостиную.

– Господин Родольф, – сказал он, – экипаж подан.

– Прощайте, отец мой... прощайте, милая госпожа Жорж... Я вверяю вам ваше дитя или, точнее, наше дитя. Еще раз прощайте, Мария.

Опираясь на г-жу Жорж и на Певунью, которые направляли его неверные шаги, почтенный аббат вышел из гостиной, чтобы проводить Родольфа.

Последние лучи солнца ярко освещали эту примечательную и скорбную группу.

Престарелого священника, олицетворяющего милосердие, прощение и вечную надежду...

Женщину, испытавшую все несчастья, какие могут поразить жену и мать.

Юную девушку, едва вышедшую из детского возраста, которую нищенство и гнусная преступная среда толкнули некогда в омут порока.

Родольф сел в коляску, Мэрф поместился рядом с ним...

Лошади тронули и помчались во весь опор.

Глава XV. Свидание

Поручив Певунью заботам г-жи Жорж, Родольф, все так же одетый по-рабочему, стоял в полдень следующего дня у двери кабака «Корзина цветов», расположенного неподалеку от заставы Берси.

Накануне, в десять часов вечера, Поножовщик пришел на свиданье, назначенное ему Родольфом. Читатель узнает из продолжения этого рассказа о результате их встречи.

Итак, был полдень, дождь лил как из ведра; вода в Сене, вздувшейся от непрерывных дождей, сильно поднялась и залила половину набережной.

Время от времени Родольф нетерпеливо посматривал в сторону заставы; наконец, увидев вдалеке мужчину и женщину под зонтом, он узнал Сычиху и Грамотея.

Оба они преобразились; разбойник отказался от своего отрепья и от выражения зверской жестокости; на нем был длинный редингот из зеленого касторина, на голове – круглая шляпа; его галстук и рубашка поражали безупречной белизной. Если бы не отталкивающее безобразие черт лица и не хищный блеск жгучих бегающих глазок, его можно было бы принять, судя по спокойной, уверенной походке, за добропорядочного буржуа.

Одноглазая тоже прифрантилась, надела белый чепчик и большую шаль из шелковых охлопков, подделку под кашемировую; в руке она держала объемистую корзину.

Дождь внезапно прекратился. Родольф превозмог чувство гадливости и двинулся навстречу отвратительной супружеской паре.

Грамотей сменил кабацкое арго на чуть ли не изысканный язык, который, свидетельствуя об образованности этого человека, до странности не вязался с его похвалой своими кровавыми подвигами.

При приближении Родольфа Грамотей отвесил ему глубокий поклон; Сычиха сделала реверанс.

– Сударь... я ваш покорнейший слуга... – сказал Грамотей. – Разрешите засвидетельствовать вам мое почтение, весьма рад познакомиться... Или, точнее, возобновить знакомство... ибо позавчера вы почтили меня двумя ударами кулака, способными убить носорога... Но пока что не стоит говорить об этом; то была шутка с вашей стороны... уверен, простая шутка... позабудем о ней... Зато серьезные интересы объединяют нас. Вчера вечером, в одиннадцать часов, я встретился в кабаке с Поножовщиком; я назначил ему свидание здесь на тот случай, если он пожелает быть нашим сотрудником, но он, видимо, наотрез отказался от этого дела.

– А вы-то согласны?

– Если вам угодно, господин... Ваше имя?

– Родольф.

– Господин Родольф... мы зашли бы в «Корзину цветов»... ни я, ни моя супруга еще не завтракали... Мы побеседуем о наших делишках и кстати заморим червячка.

– Охотно.

– По дороге можно будет перекинуться несколькими словами. Не в упрек вам будь сказано, вы с Поножовщиком должны возместить мне и моей жене понесенные нами убытки. Из-за вас мы потеряли более двух тысяч франков. Неподалеку от Сент-Уена у Сычихи было назначено свидание с высоким господином в трауре, он позавчера вечером осведомлялся о вас в кабаке; он предложил нам две тысячи франков, чтобы мы кое-что сделали вам... Поножовщик приблизительно объяснил нам суть дела... Да, чуть не забыл, Хитруша, – обратился разбойник к жене, – сходи в «Корзину цветов», выбери там отдельный кабинет и закажи хороший завтрак: отбивные котлеты, кусок телятины, салат и две бутылки лучшего бонского вина; мы нагоним тебя.

За все это время Сычиха ни на минуту не отрывала от Родольфа своего единственного глаза; обменявшись взглядом с Грамотеем, она тотчас же ушла.

– Итак, я говорил вам, господин Родольф, что Поножовщик ввел меня в курс дела.

– А что значит вести в курс?

– Правильно... Этот язык несколько сложен для вас; я хотел сказать, что Поножовщик объяснил мне в общих чертах, чего хочет от вас высокий господин в трауре со своими двумя тысячами.

– Хорошо, хорошо.

– Не слишком-то хорошо, молодой человек, ибо Поножовщик, встретив вчера утром Сычиху возле Сент-Уена, не отошел от нее ни на шаг, даже когда появился высокий господин в трауре; вот почему этот последний не посмел к ней приблизиться. Следовательно, с вашей помощью мы должны вернуть эту сумму, не считая пятисот франков за бумажник, который мы все равно не стали бы отдавать, ибо из просмотра бумаг явствует, что они стоят много дороже.

– В нем были большие ценности?

– Нет, только документы, которые показались мне весьма любопытными, хотя в большинстве своем они написаны по-английски; я их храню вот здесь, – сказал разбойник, похлопывая по боковому карману своего редингота.

Слова Грамотея о том, что он имеет при себе бумаги, выкраденные им два дня назад у Тома, очень обрадовали Родольфа, ибо бумаги эти имели для него большое значение. Указания, данные им Поножовщику, не преследовали иной цели, как помешать Тому подойти к Сычихе; в этом случае бумажник остался бы у нее, а Родольф надеялся сам завладеть им.

– Итак, я сохранил их на всякий случай, – сказал разбойник, – ибо я нашел адрес господина в трауре и не сегодня-завтра повываюсь с ним.

– Если хотите, мы заключим с вами сделку, если наше дело выгорит, я куплю у вас все бумаги; ведь я знаком с этим человеком и они мне нужнее, чем вам.

– Поживем – увидим... Но вернемся к нашему разговору.

– Так вот, я предложил великолепное дело Поножовщику, он сперва согласился, потом отказался.

– Вечно у него какие-то причуды...

– Но, отказавшись, он обратил внимание...

– Он обратил ваше внимание...

– Черт возьми!.. Вы на грамматике собаку съели.

– Оно и понятно, ведь по профессии я школьный учитель.

– Итак, он обратил мое внимание на вас, сказал, что сам не ест *красного хлеба*, но не хочет отваживать от него других, и добавил, что вы – человек, который мне нужен.

– Не могли бы вы сказать – не сочтите мой вопрос за бестактность, – почему вчера утром вы назначали свидание Поножовщику в Сент-Уене, что позволило ему встретиться с Сычихой? Он был в замешательстве и ничего мне не объяснил толком.

Родольф незаметно прикусил губу и, пожимая плечами, ответил:

– Вполне естественно, ведь я открыл ему свой план лишь наполовину: понимаете... он еще не дал мне окончательного ответа.

– Вы поступили осмотрительно...

– Тем более что у меня было два дела на примете.

– Да?

– Вот именно.

– Вы человек осторожный... Итак, вы назначили свидание Поножовщику в Сент-Уене для...

После недолгого колебания Родольфу удалось придумать довольно правдоподобную историю, чтобы замаять неловкость Поножовщика.

– Вот в чем дело... – сказал он. – Операция, которую я предлагаю, хороша тем, что хозяин дома, о котором идет речь, уехал за город... но я очень опасался, как бы он не вернулся. Чтобы быть спокойным на этот счет, я сказал себе: остается только одно...

– Убедиться воочию в присутствии хозяина дома в деревне.

– Вы правы... Итак, я отправляюсь в Пьерфит, где находится его дача... моя двоюродная сестра работает у него прислугой... понимаете?

– Прекрасно понимаю, парень. И что же?

– Сестра сказала мне, что ее хозяин приедет в Париж только послезавтра.

– Послезавтра?

– Да.

– Превосходно, но я возвращаюсь к своему вопросу... Зачем было назначать свидание Поножовщику в Сент-Уене?

– Вы не только сообразительны... На каком расстоянии от Пьерфита находится Сент-Уен?

– Приблизительно на расстоянии одного лье.

– А сколько от Сент-Уена до Парижа?

– Столько же.

– Так вот, если бы я никого не нашел в Пьерфите, иначе говоря, если бы дача была пуста... там тоже можно было обделать выгодное дельце, не такое выгодное, как в Париже, но все же сносное... В этом случае я поспешил бы в Сент-Уен за Поножовщиком, который ждал меня в условленном месте. Мы вернулись бы в Пьерфит по известной мне проселочной дороге.

– Понимаю. А если, напротив, дело ждало вас в Париже?

– Мы добрались бы до заставы Этуаль по дороге Восстания и по аллее Вдов.

– Да, это рядом. Из Сент-Уена вам было рукой подать до обеих операций... ловко придумано. Теперь мне ясно присутствие Поножовщика в Сент-Уене... Итак, мы говорили, что дом на аллее Вдов будет пустовать до послезавтра...

– Да... за исключением привратника.

– Само собою разумеется... И это выгодная операция?

– Сестра говорила мне о шестидесяти тысячах франков золотом в кабинете хозяина дома.

– И вам знакомо расположение комнат в доме?

– Как нельзя лучше... сестра работает там уже год... И постоянно говорит об огромных суммах, которые хозяин берет из банка, чтобы вложить их в дело; вот я и надумал. Только сторож там человек здоровенный, и мне пришлось обратиться к Поножовщику... Он долго ломался, потом было согласился... но увильнул... Впрочем, он не такой человек, чтобы мог продать друга.

– Да, в нем есть кое-что хорошее. Вот мы и пришли. Не знаю, как у вас, но у меня на воздухе разыгрался аппетит...

Сычиха ждала их на пороге кабачка.

– Вот сюда, сюда, – проговорила она, – проходите, пожалуйста! Я заказала завтрак.

Родольф хотел пропустить разбойника перед собой: для этого у него были особые основания... но Грамотей так настойчиво отказывался от этого знака внимания, что Родольф прошел первым. Еще не садясь за стол, Грамотей тихонько постучал по обеим перегородкам, чтобы убедиться в их толщине и звуконепроходимости.

– Здесь не придется говорить слишком тихо, – сказал он, – перегородки не тонкие. Нам все подадут сразу, и никто не побеспокоит нас во время беседы.

Служанка принесла все, что было заказано.

Прежде нежели дверь за ней затворилась, Родольф заметил угольщика Мэрфа, степенно расположившегося в соседнем кабинете.

Помещение, в котором происходила описываемая нами сцена, было длинное, узкое, с единственным окном, которое выходило на улицу и находилось как раз против двери.

Сычиха села спиной к окну, Грамотей и Родольф поместились на двух противоположных концах стола.

Как только служанка вышла, разбойник встал из-за стола, взял свой прибор и сел рядом с Родольфом так, чтобы скрыть от него дверь.

– Беседовать так будет удобнее, – сказал он, – нам не придется повышать голос.

– И, кроме того, вы хотите отгородить меня от двери и помешать уйти... – холодно возразил Родольф.

Грамотей утвердительно кивнул, затем наполовину вытащил из кармана своего редингота длинный, круглый стилет, толщиной с большое гусиное перо, деревянная ручка которого была зажата в его волосатой руке.

– Видите?

– Да.

– Совет знатокам...

И, насупив брови движением, от которого сморщился его лоб, широкий и плоский, как у тигра, он сделал выразительный жест.

– И можете мне поверить. Я сама наточила ножичек моего муженька.

С поразительной непринужденностью Родольф вынул из-под блузы двуствольный пистолет и, показав его, снова спрятал в карман.

– Прекрасно... Мы оценили друг друга. Но вы недооценили меня... Давайте предположим невозможное: если за мной явится полиция, я вас убью вне зависимости от того, кто устроил мне эту ловушку.

И он бросил свирепый взгляд на Родольфа.

– А я тут же накинусь на него, чтобы помочь тебе, Чертушка, – воскликнула Сычиха.

Родольф ничего не ответил; пожав плечами, он налил стакан вина и осушил его.

Хладнокровие Родольфа произвело впечатление на Грамотея.

– Я только хотел предупредить вас...

– Ладно, ладно, спрячьте в карман вашу шпиговальную иглу, здесь нет цыпленка для шпиговки. Я старый петух, и у меня острые шпоры, приятель, – сказал Родольф. – А теперь поговорим о делах.

– Хорошо, поговорим о делах. Но не отзывайтесь дурно о моей шпиговальной игле: она не производит шума и не привлекает внимания.

– И свое дело делает чисто, правда, Чертушка? – добавила Сычиха.

– Кстати, – обратился Родольф к Сычихе, – правда ли, что вам известны родители Певуны?

– Мой муж положил в бумажник высокого господина в черном два письма, в которых говорится об этом, но девчонка их не увидит... Скорее я собственноручно вырву у нее глаза... О, когда она появится в кабаке, ее песенка будет спета...

– Да полно тебе, Хитруша! Говорим мы, говорим, а дела наши не двигаются.

– Можно бакулить⁵⁹ при ней? – спросил Родольф.

– Да, и вполне откровенно; она человек испытанный и может нам очень пригодиться: стоять на страже, собирать сведения и даже прятать, перепродавать краденое и т. д.; она обладает всеми качествами превосходной домашней хозяйки... Славная Хитруша! – сказал разбойник, протягивая руку отвратительной старухе. – Вы не представляете себе, сколько услуг она мне оказала... Ты бы сняла свою шаль, Хитруша, не то озябнешь на улице... Положи ее на стул рядом со своей корзинкой...

⁵⁹ Говорить.

Сычиха сняла шаль.

Несмотря на все свое самообладание, Родольф вздрогнул от удивления при виде маленького изображения святого духа из лазурита, висящего на цепочке из поддельного золота, которую носила старуха, изображения, в точности соответствующего описанию той реликвии, которая, по словам г-жи Жорж, была на шее ее сына в день его исчезновения.

При этом открытии внезапная мысль блеснула в голове Родольфа. Со слов Поножовщика, Грамотей, бежавший с каторги полгода назад, сбил со следа полицию, обезобразив себя... и как раз полгода назад муж г-жи Жорж исчез с каторги и как в воду канул.

Сопоставив эти два факта, Родольф подумал, что Грамотей вполне мог быть супругом этой несчастной женщины.

Ее недостойный муж принадлежал некогда к зажиточному слою общества... а Грамотей употреблял иной раз изысканные обороты речи.

Одно воспоминание влечет за собой другое: Родольф вспомнил, кроме того, что, рассказывая ему с дрожью в голосе об аресте своего мужа, г-жа Жорж упомянула об отчаянном сопротивлении этого мерзавца, которому едва не удалось вырваться от полицейских благодаря своей геркулесовой силе.

Если этот злодей был мужем г-жи Жорж, он знает, конечно, об участии своего сына. Кроме того, в бумажнике, украденном им у иностранца, известного под именем Том, имелись какие-то бумаги, относящиеся к рождению Певуны.

Итак, у Родольфа появились новые, и серьезные, причины продолжать начатое дело.

К счастью, его озабоченность ускользнула от внимания разбойника, усердно потчевавшего Сычиху.

– Черт возьми!.. Какая у вас красивая цепочка... – обратился Родольф к одноглазой.

– Красивая... и недорогая... – ответила, смеясь, старуха. – Это поддельное золото, ношу ее, пока муженек не купит мне золотую...

– Все зависит от господина Родольфа, Хитруша... Если наше дельце выгорит, будь покойна...

– Поразительная подделка, нипочем не отличишь от золотой, – продолжал Родольф, – а что это за голубая штучка висит на ней?

– Это подарок муженька взамен бимбера⁶⁰, который он обещал мне... правда, Чертушка?

Родольф отметил, что его подозрения наполовину подтвердились. Он с беспокойством ожидал ответа Грамотея.

– Тебе придется сохранить эту безделушку, несмотря на бимбер, Хитруша... Это талисман... Он приносит счастье...

– Талисман? – небрежно заметил Родольф. – Неужто вы верите в талисманы? Где же вы, к черту, откопали его?.. Дайте мне адрес фабрики.

– Их больше не делают, мой дорогой, лавочка закрылась... Эта безделушка относится к седой древности, ее носили три поколения. Я очень дорожу ею – это фамильная драгоценность, – прибавил он с мерзкой улыбкой. – Потому-то я и подарил ее Хитруше... пусть принесет ей счастье в наших совместных операциях, ибо она весьма ловко помогает мне... Увидите, увидите ее в деле... если мы предпримем вместе какую-нибудь коммерческую сделку... Но вернемся к главному предмету нашего разговора... Вы говорили, что на аллее Вдов...

– Имеется под номером семнадцать дом, принадлежащий богачу... зовут его...

– Я не так бестактен, чтобы интересоваться его фамилией... И вы говорите, что в его кабинете имеется шестьдесят тысяч франков золотом?

– Шестьдесят тысяч франков золотом! – воскликнула Сычиха.

Родольф утвердительно кивнул.

⁶⁰ Часов.

- И вы знаете расположение комнат в этом доме? – спросил Грамотей.
- Прекрасно знаю.
- А войти в дом трудно?
- Со стороны аллеи Вдов – каменная ограда семи футов высотой, сад, в который выходят окна одноэтажного дома без всяких уступов и выступов.
- И один-единственный привратник охраняет эти сокровища?
- Да!
- Каков же ваш план кампании, молодой человек?
- План самый простой... перелезть через стену, открыть отмычкой входную дверь или взломать ставни с внешней стороны. Что вы на это скажете?
- А что, если привратник проснется? – спросил Грамотей, пристально смотря на молодого человека.
- Сам будет в этом виноват... – ответил Родольф многозначительно. – Ну как, подходит вам это дельце?
- Вы прекрасно понимаете, что я ничего не отвечу вам, пока не увижу всего своими глазами, иначе говоря, с помощью моей жены; но если все, что вы говорите, соответствует действительности, мне кажется, что следует взять эти сокровища еще тепленькими... сегодня вечером.
- И злодей пристально взглянул на Родольфа.
- Сегодня вечером... невозможно, – холодно ответил тот.
- Почему, раз хозяин возвращается только послезавтра?
- Да, но я не могу сегодня вечером!..
- Неужели? Ну, а я не могу завтра.
- По какой причине?
- По той же, которая мешает вам действовать сегодня... – ответил с ухмылкой разбойник.
- Ладно!.. Согласен, пусть будет сегодня вечером. Где мы встретимся с вами? – ответил, немного подумав, Родольф.
- Встретимся? Мы не расстанемся до вечера, – сказал Грамотей.
- Как так?
- А к чему нам разлучаться? Погода проясняется, мы погуляем, бросим взгляд на аллею Вдов. Вы посмотрите, как работает моя жена. После чего мы вернемся, сыграем партию в пикет и закусим в знакомом мне подвальчике на Елисейских полях, в том, что рядом с рекой; а ввиду того, что аллея эта пустеет рано, мы отправимся туда к десяти часам вечера.
- Я присоединюсь к вам в девять часов.
- Хотите вы или не хотите участвовать в деле вместе с нами?
- Хочу.
- В таком случае мы не расстанемся до вечера... иначе...
- Иначе?
- Я подумаю, что вы собираетесь устроить мне заманиху⁶¹, а потому и хотите уйти...
- Если я собираюсь устроить вам ловушку, что мешает мне сделать это сегодня вечером?
- Решительно все... Вы не ожидали, что я предложу вам немедленно приступить к делу.
- А поскольку мы не разлучимся, вы не сумеете никого предупредить...
- Вы не верите мне?..
- Нисколько... но так как в вашем предложении может оказаться доля правды, а шестьдесят тысяч франков заслуживают того, чтобы ими заняться... я согласен попытать счастья, но только сегодня вечером или никогда... В последнем случае я пойму, что вы собой представ-

⁶¹ Ловушку.

ляете... и угощу вас, в свою очередь... не сегодня, так завтра, кушаньем собственного изготовления...

– А я отплачу вам за любезность... можете не сомневаться.

– Все это глупости! – пробормотала Сычиха. – Я скажу то же, что и Чертушка: сегодня вечером или никогда.

Родольф был в жесточайшей тревоге: стоит ему упустить эту возможность захватить Грамотея, и, по всей вероятности, она никогда больше не представится: отныне злодей будет настороже, а быть может, его опознают, арестуют и снова сошлют на каторгу, и он унесет с собой все тайны, которые Родольфу было необходимо узнать.

Положив довериться случаю, своей ловкости и смелости, он сказал Грамотею:

– Согласен, мы не расстанемся до сегодняшнего вечера.

– В таком случае я с вами заодно... Скоро будет два часа... Отсюда до аллеи Вдов далеко; дождь льет как из ведра: давайте сложимся и найдем извозчика.

– Если мы возьмем извозчика, я успею выкурить сигару.

– Конечно, – сказал Грамотей. – Хитруша не боится запаха табака.

– В таком случае я выйду на минутку, чтобы купить их, – молвил Родольф, вставая из-за стола.

– Не утруждайте себя понапрасну, – заметил Грамотей. – Хитруша сходит за ними...

Родольф сел на прежнее место.

Грамотей разгадал его намерения.

Сычиха вышла из кабинета.

– Какая у меня хорошая хозяйшюшка, а? – заметил негодяй. – И до чего ж покладистая! Ради меня она пойдет в огонь и в воду.

– Кстати насчет огня, здесь, черт возьми, не жарко, – заметил Родольф и спрятал обе руки под блузой.

Продолжая разговаривать с Грамотеем, он незаметно вынул из своего жилетного кармана карандаш с клочком бумаги и торопливо набросал несколько слов, стараясь, чтобы буквы не наскакивали друг на дружку, так как писал он под блузой, вслепую.

Проницательность Грамотея удалось обмануть, оставалось передать записку по назначению.

Родольф встал, машинально подошел к окну и стал тихонько напевать что-то, барабанив пальцами по стеклу.

Грамотей тоже заглянул в окно и небрежно спросил Родольфа:

– Что за мотив вы наигрываете?

– «Ты не получишь моей розы».

– Красивый мотив... Хотелось бы только знать, не заставит ли он обернуться прохожих.

– На это я не претендую.

– Вы неправы, молодой человек, ибо с большим мастерством стучите по стеклу. Да, вот что пришло мне в голову... Сторож того дома по аллее Вдов, вероятно, парень решительный. Если он будет сопротивляться... У вас есть только пистолет... и стреляет он громко, тогда как такой инструмент, как мой (и он показал Родольфу рукоятку своего кинжала), бесшумен и никого не привлечет.

– Как, вы хотите убить сторожа?! – воскликнул Родольф. – Если таково ваше намерение... позабудем об этой затее... ничего еще не сделано... не рассчитывайте на меня.

– А если он проснется?

– Мы убежим...

– Вот оно что, я вас плохо понял; всегда лучше договориться заранее... Значит, речь идет лишь о краже со взломом.

– Да, только об этом.

– Хорошо, будь по-вашему...

«А так как я не отойду от тебя ни на шаг, – подумал Родольф, – тебе никого не удастся убить».

Глава XVI. Подготовка

Сычиха вернулась в кабинет с сигарами.

– Мне кажется, что дождь перестал, – сказал Родольф, раскуривая сигару, – не пойти ли нам самим за извозчиком, чтобы размяться?

– Как это перестал? – воскликнул Грамотей. – Вы что, ослепли?.. Неужели вы думаете, что я подвергну Хитрушу опасности простудиться... рискну ее столь драгоценной жизнью... и испорчу ее превосходную новую шаль?..

– Ты прав, муженек, на улице собачья погода!

– Сейчас придет служанка, и, расплатившись, мы пошлем ее за извозчиком.

– Вот самые разумные слова, которые вы сказали до сих пор, молодой человек, и прокачимся в сторону аллеи Вдов.

Вошла служанка. Родольф дал ей сто су.

– Ах, сударь... вы злоупотребляете... я не потерплю! – воскликнул Грамотей.

– Полноте!.. Придет и ваш черед.

– Хорошо, я подчиняюсь... но с условием, что угощу вас на славу в кабаке на Елисейских полях... это лучшее местечко из всех мне известных.

– Ладно, ладно... согласен.

Расплатившись со служанкой, компания направилась к двери. Родольф хотел выйти последним из уважения к Сычихе. Грамотей не допустил этого и последовал за ним, не упуская из виду ни одного его движения. У тамошнего ресторатора была также распивочная. Среди посетителей выделялся угольщик с перепачканным лицом, в широкополой шляпе, надвинутой на глаза; он как раз расплачивался у стойки за выпитое вино, когда появилась наша троица. Несмотря на неусыпный надзор Грамотея и одноглазой, Родольф, шедший впереди омерзительной супружеской четы, успел обменяться быстрым, едва уловимым взглядом с Мэрфом, когда садился на извозчика.

Дверца кареты была открыта, Родольф задержался, твердо решив, что на этот раз пропустит своих спутников, ибо угольщик незаметно приблизился к нему.

В самом деле, Сычиха села первая, правда, после всяких отговорок; Родольфу пришлось последовать за ней, ибо Грамотей сказал ему на ухо:

– Вы что ж, хотите, чтобы я окончательно разуверился в вас?

Когда Родольф был уже в карете, угольщик, посвистывая, вышел за порог двери и с удивлением и беспокойством взглянул на Родольфа.

– Куда поедет, хозяин? – спросил кучер.

Родольф ответил громким голосом:

– На аллею...

– Акаций, в Булонский лес, – крикнул Грамотей, перебивая Родольфа, и прибавил: – Мы вам хорошо заплатим.

Дверца кареты захлопнулась.

– Как, черт подери, могли вы сказать, куда мы едем, в присутствии всех этих зевак?! – сказал Грамотей. – Если завтра все будет открыто, такое показание может нас погубить. Ах, молодой человек, молодой человек, как вы неосторожны!

Лошади тронулись.

– Правда, я не подумал об этом. Но из-за моей сигары вы прокоптитесь здесь, как селедки. Что, если нам открыть окошко?

И, не мешкая, Родольф искусно выпустил из рук тоненькую, тщательно свернутую бумажку, ту самую, на которой он успел нацарапать несколько слов в кабаке... У Грамотея был

такой зоркий глаз, что, несмотря на полную невозмутимость Родольфа, он, вероятно, уловил в его взгляде проблеск торжества, ибо, просунув голову в дверцу кареты, крикнул извозчику:

– Стой!.. Стой!.. Кто-то догоняет нас.

Родольф внутренне содрогнулся, но тоже крикнул «стой!».

Карета остановилась. Извозчик обернулся и посмотрел назад.

– Нет, хозяин, там никого нет, – сказал он.

– Я сам хочу убедиться в этом, черт подери! – вскричал Грамотей и спрыгнул на мостовую.

Никого не увидев, ничего не заметив, так как за это время извозчик успел проехать несколько шагов, Грамотей решил, что ошибся.

– Вы будете смеяться надо мной, – сказал он, садясь в карету, – сам не знаю почему, но мне показалось, что кто-то едет за нами.

Тут извозчик свернул на поперечную улицу.

Дело в том, что Мэрф, с самого начала не спускавший глаз с извозчицей кареты, заметил маневр Родольфа, мигом подбежал к бумажке, попавшей в расщелину мостовой, и схватил ее.

Через четверть часа Грамотей сказал извозчику:

– Вот что, любезный, мы изменили решение: на площадь Мадлен!

Родольф с удивлением взглянул на него.

– Видите ли, молодой человек, с этой площади можно отправиться куда угодно. В случае, если нас побеспокоят, показания кучера не будут иметь никакой цены.

В ту минуту, когда извозчик подъезжал к заставе, высокий темнолицый мужчина в длинном светлом рединготе, со шляпой, надвинутой на глаза, промчался по дороге на великолепной охотничьей лошади, поражавшей быстротой своего хода.

– Какая великолепная лошадь и какой превосходный всадник! – сказал Родольф, высунувшись из окна кареты и провожая взглядом Мэрфа (ибо это был он). – И как прекрасно скачет этот полный человек.

– К сожалению, он так стремительно проехал мимо, – сказал Грамотей, – что я его не заметил.

Родольф весьма ловко скрыл свою радость: очевидно, Мэрф расшифровал написанную чуть ли не иероглифами записку. Грамотей, убедившись, что за извозчиком никто не следует, решил последовать примеру Сычихи, которая дремала или, скорее всего, притворялась, что дремлет.

– Извините меня, молодой человек, но движение кареты всегда оказывает на меня какое-то странное действие: усыпляет, как ребенка, – сказал он Родольфу.

Под предлогом своего мнимого сна разбойник хотел понаблюдать, не выдаст ли их спутник своего волнения.

Родольф разгадал эту хитрость.

– Я рано встал сегодня утром; мне хочется спать... я тоже попробую уснуть, – ответил он и закрыл глаза.

Вскоре громкое дыхание Грамотея и Сычихи, которые храпели в унисон, настолько обмануло Родольфа, что он чуть приподнял веки.

Но, несмотря на свой храп, Грамотей и Сычиха держали глаза открытыми и обменивались какими-то тайными знаками с помощью пальцев, как-то странно переплетенных на их ладонях. Этот символический язык мигом прекратился. Обнаружив по какому-то еле заметному признаку, что Родольф не спит, разбойник воскликнул со смехом:

– Ха, ха, приятель... Вы, значит, испытываете своих друзей?

– Это не должно вас удивлять, вы сами храпите с открытыми глазами.

– Мое дело особое, молодой человек, я лунатик...

Извозчик остановился на площади Мадлен. Дождь временно перестал, но гонимые ветром облака были так черны и так низко нависли над землей, что почти совсем стемнело. Родольф, Сычиха и Грамотей направились в Кур-ла-Рен.

– Молодой человек, мне пришла в голову одна мысль... и мысль недурная, – сказал разбойник.

– Какая?

– Убедиться, соответствует ли действительности все, что вы сказали о расположении комнат в доме на аллее Вдов.

– Вы хотите немедленно отправиться туда под каким-нибудь предлогом? Но это может вызвать подозрения.

– Я не так простодушен, как вы думаете... молодой человек... но у меня есть жена по прозвищу Хитруша.

Сычиха вскинула голову.

– Взгляните на нее, молодой человек! Она точно боевой конь, услышавший сигнал горниста.

– Вы хотите послать ее на разведку?

– Вот именно.

– Дом номер семнадцать, аллея Вдов, правильно, муженек? – вскричала Сычиха, горя нетерпением. – Будь спокоен, у меня только один глаз, но видит он хорошо.

– Взгляните, взгляните на нее, молодой человек, ей не терпится побывать там.

– Если она ловко возьмется за дело, я скажу, что ваша мысль недурна.

– Оставь у себя зонтик, Чертушка... Через полчаса я вернусь, и ты увидишь, на что я способна, – воскликнула Сычиха.

– Минутку, Хитруша, мы зайдем сперва в «Кровоточащее сердце», это в двух шагах отсюда. Если Хромуля там, ты возьмешь его с собой; он останется сторожить у двери дома, пока будешь внутри.

– Ты прав: он хитер как лиса, этот мальчишка: ему еще нет и десяти лет, а между тем он давеча...

По знаку Грамотея Сычиха прикусила язык.

– «Кровоточащее сердце» – что за странное название для кабака? – спросил Родольф.

– Если название вам не по вкусу, пожалуйста кабатчику.

– А как его зовут?

– Кабатчика «Кровоточащего сердца»?

– Да.

– Не все ли вам равно? Ведь он-то не спрашивает имена своих посетителей.

– И все же?

– Зовите его, как вам будет угодно: Пьер, Тома, Кристоф, Барнабе, он откликается на все имена... Вот мы и пришли... И вовремя, так как вот-вот снова полет... Как шумит река, точно водопад! Увидите: еще два дня таких дождей, и вода поднимется выше арок моста.

– Вы говорите, что мы пришли... Где же, к черту, кабак? Я не вижу здесь ни одного дома!

– Конечно, потому что вы смотрите вокруг себя.

– А куда же мне смотреть, по-вашему?

– Себе под ноги.

– Под ноги?

– Да.

– Куда именно?

– Вот сюда... сюда... Видите крышу? Только не вздумайте ступить на нее.

Родольф и в самом деле не заметил одного из тех подземных кабаков, которые встречались еще несколько лет тому назад в разных местах Елисейских полей и, в частности, около Кур-ла-Рен.

Лестница, вырытая во влажной жирной земле, вела к некоему подобию обширного рва, к одной из отвесных граней которого прилепилась низкая грязная лачуга с потрескавшимися стенами; ее черепичная, замшелая крыша едва доходила до поверхности земли, где стоял Родольф; два-три сарая из трухлявых досок – погреб, сарай и крольчатник – дополняли этот вертеп.

Узенькая дорожка, шедшая по дну рва, вела от лестницы к двери дома; остальная территория была занята увитой зеленью беседкой с двумя рядами грубых, врытых в землю столов.

От ветра заунывно скрипела выдавшая виды жестяная вывеска; сквозь покрывавшую ее ржавчину можно было различить красное сердце, пронзенное стрелой. Вывеска покачивалась на стояке, прибитом над дверью этой пещеры, подлинного человеческого логова.

Густой, влажный туман присоединился к дождю... близилась ночь.

– Что вы скажете об этом отеле... молодой человек? – спросил Грамотей.

– Благодаря дождю, который льет уже две недели... здесь, верно, образовался пруд и можно заняться рыбной ловлей... Ну же, проходите.

– Минутку... надо узнать, здесь ли хозяин... Внимание.

И разбойник, с силой проводя языком по небу, издал странный крик, некое подобие гортанной барабанной дроби, гулкой и продолжительной, которую можно было бы изобразить следующим образом:

– Прррр!

Такой же крик донесся из глубины лачуги.

– Он дома, – сказал Грамотей. – Извините, молодой человек... Почет дамам, пропустим вперед Сычиху... Я следую за вами... Будьте осторожны... Здесь скользко...

Глава XVII. «Кровоточащее сердце»

Ответив на условный крик Грамотея, хозяин «Кровоточащего сердца» любезно вышел на порог своего заведения. Этот человек, которого Родольф напрасно разыскивал в Сите и об имени или, точнее, о прозвище которого еще не догадывался, был не кто иной, как Краснорукий.

Кабатчику, тонкому, тщедушному, немощному человеку, можно было дать лет пятьдесят. В его физиономии было что-то кунье, крысиное; острый нос, скошенный подбородок, обтянутые кожей скулы, маленькие черные глазки, живые и пронзительные, придавали его лицу неподражаемое выражение хитрости, проницательности и ума. Старый белокурый или, точнее, желтый, как и желтушный цвет его лица, парик, надетый на макушку, оставлял открытыми седеющие сзади волосы. На кабатчике была куртка и длинный черноватый фартук; обычно такие фартуки носят приказчики виноторговцев.

Едва трое пришедших спустились с лестницы, как мальчик лет десяти, самое большее, рахитичный, хромой и кривобокий, подошел к Краснорукому, на которого был до того похож, что никто не усомнился бы, что он сын кабатчика.

У ребенка был отцовский проницательный и коварный взгляд, а лоб наполовину скрыт копной желтоватых волос, прямых, жестких, как конский волос. Коричневые штаны и серая блуза, стянутая кожаным ремнем, – такова была одежда Хромули, прозванного так из-за своего увечья; он стоял рядом с отцом на здоровой ноге, словно цапля на краю болота.

– Вот как раз и малыш, – сказал Грамотей. – Хитруша, время не ждет, приближается ночь... Надо все успеть засветло.

– Ты прав, муженек... я попрошу, чтобы отец отпустил со мной мальчугана.

– Здравствуй, старик, – сказал Краснорукий, обращаясь к Грамотею похожим на женский голосом, резким и пронзительным, – чем могу служить?

– Отпусти на четверть часа своего малыша, моя жена кое-что потеряла неподалеку отсюда... он поможет ей поискать...

Краснорукий многозначительно подмигнул Грамотею и сказал сыну:

– Хромуля... ты пойдешь вместе с дамой.

Уродливый мальчик подбежал, прихрамывая, к Сычихе и взял ее за руку.

– Что за прелестный ребяенок!.. Малыш как малыш! – сказала Хитруша. – Так и тянется к тебе... Не то что Воровка, у этой побирושки вечно был такой вид, что ее вот-вот стошнит, стоило ей приблизиться ко мне.

– Ну же, поторапливайся, Хитруша... шире открывай глаз и действуй с оглядкой.

– Я не задержусь... Иди вперед, Хромуля!

Одноглазая старуха и хромой мальчик поднялись по скользкой лестнице.

– Хитруша, возьми зонтик, – крикнул разбойник.

– Он мне только помешает, муженек, – ответила старуха.

И она скрылась вместе с Хромулей в туманных сумерках среди заунывного воя ветра, сотрясавшего на Елисейских полях черные голые ветви больших вязов.

– Давайте войдем, – сказал Родольф.

Пришлось нагнуться, чтобы пройти в дверь кабака, разделенного на две залы. В первой зале видишь стойку и потрепанный бильярд, во второй – столы и садовые стулья, некогда выкрашенные в зеленый цвет. Два узких окна слабо освещают обе комнаты, зеленоватые стены которых изъедены сыростью.

На несколько секунд Родольф остался один, и за это время Краснорукий и Грамотей успели обменяться несколькими словами и какими-то таинственными знаками.

– Не выпьете ли вы пива или водки в ожидании Хитруши? – спросил Грамотей.

– Нет... Мне не хочется пить.

– Каждый поступает по-своему... А вот я выпью стакан водки.

И Грамотей сел за один из зеленых столиков во второй зале.

Темнота все больше сгущалась в этом притоне, так что невозможно было разглядеть в углу второй залы зияющий вход в подвал, куда ведет двустворчатый люк, одна из створок которого обычно остается открытой для удобства тех, кто обслуживает клиентов. Стол, за который сел Грамотей, находился рядом с этой черной и глубокой дырой, скрытой его массивной фигурой от глаз Родольфа.

Этот последний смотрел в окно, чтобы занять себя и скрыть свою озабоченность. Встреча с Мэрфом, скакавшим во весь опор на аллею Вдов, не вполне успокоила его; он боялся, что эсквайр не понял смысла его записки, поневоле лаконичной и содержавшей лишь несколько слов: *Сегодня вечером, десять часов.*

Родольф твердо решил отправиться на аллею Вдов не раньше назначенного часа, а до тех пор не расставаться с Грамотеем. Как он ни был ловок и вооружен, ему придется состязаться в хитрости с опасным, на все готовым убийцей... но для раскрытия тайн, которые он должен узнать, иной возможности нет.

Стоит ли говорить об этом? Но таков уж был склад странного характера Родольфа, жаждущего сильных ощущений, что он находил жуткое удовольствие в тревогах и препятствиях, вставших на пути выполнения плана, который он обсудил накануне со своим верным Мэрфом и с Поножовщиком.

Не желая, однако, чтобы Грамотей отгадал его мысли, он сел за тот же стол и приличия ради заказал стакан вина.

С тех пор как Краснорукий неслышно обменялся несколькими словами с разбойником, он поглядывал на Родольфа с видом пытливым, сардоническим, недоверчивым.

– На мой взгляд, молодой человек, – сказал Грамотей, – если жена узнает, что люди, которых мы хотим видеть, находятся дома, мы сможем нанести им визит около восьми часов.

– Это слишком рано, – ответил Родольф, – разница в два часа стеснит их...

– Вы так думаете?

– Уверен...

– Полноте, что за счеты между друзьями...

– Я их знаю; повторяю, что туда не стоит являться раньше десяти часов.

– До чего же вы упрямы, молодой человек!

– Я отвечаю за свои слова. И чтоб мне было пусто, если я уйду отсюда раньше десяти часов!

– Не церемоньтесь из-за меня: я никогда не закрываю своего заведения раньше полуночи, – сказал Краснорукий своим тонким голосом. – Как раз в это время приходят лучшие клиенты... а мои соседи не жалуются на шум, который те поднимают.

– Приходится во всем соглашаться с вами, молодой человек, – заметил Грамотей. – Будь по-вашему, мы отправимся отсюда только в десять часов.

– А вот и Сычиха! – воскликнул Краснорукий, услышав условный крик, подобный тому, который Грамотей издал, прежде чем спуститься в этот подземный дом.

Минуту спустя в бильярдную Сычиха вошла одна.

– Все ладно, муженек... дела на мази!.. – воскликнула одноглазая, переступая порог.

Краснорукий деликатно удалился, не спросив о Хромале, которого он, очевидно, не ждал так скоро. Старуха промокла до нитки; она села против Родольфа и Грамотея.

– Ну как? – спросил последний.

– До сих пор парень не соврал.

– Вот видите! – воскликнул Родольф.

– Не мешайте рассказывать Сычихе, молодой человек... Продолжай, Хитруша.

– Я подошла к дому семнадцать, оставив Хромулю сторожить поблизости, в канавке. Было еще светло. Я стала трезвонить у маленькой калитки; дверные петли у нее снаружи, про-свет внизу широкий, в два пальца, словом, детская забава. Продолжаю звонить, сторож открывает мне. Это высокий, толстый мужчина лет пятидесяти, вид сонный и добродушный, рыжие бакенбарды полумесяцем, лысая голова... Но, прежде чем начать звонить, я спрятала свой чепчик в карман, чтобы походить на соседку. Увидев сторожа, я заплакала в голос, крича, что потерялся мой попугайчик, по кличке Кокот, которого я обожаю... Я сказала, что живу на проспекте Марбеф и хожу из дома в дом в поисках своего любимца. Наконец я принялась умолять сторожа позволить мне поискать Кокот у него.

– Гм! – пробурчал Грамотей с довольным и горделивым видом, указывая на Хитрушу. – Что за женщина, а?

– Очень ловко разыграно! – сказал Родольф. – Ну, а потом?

– Сторож разрешил мне поискать попугая, и вот я хожу по саду, зову: «Кокот! Кокот!» – а сама смотрю вверх и по сторонам, чтобы хорошенько все разглядеть. С внутренней стороны каменной ограды, – продолжала свое описание Сычиха, – стоят, куда ни глянь, трельяжи, увитые зеленью, а в левом ее углу растет кривая ветвистая сосна, по ней спустилась бы в сад и беременная женщина. Дом одноэтажный, в нем шесть окон и четыре узких оконца без поперечин в подвальном помещении. На окнах ставни, они закрываются снизу на крючок, сверху – на шпингалет; нажать на плинтус, просунуть проволоку...

– ...и окно открыто, – заметил Грамотей, – дело плевое...

– Входная дверь застеклена... с ее внешней стороны две решетчатые ставни.

– Запомним, – сказал разбойник.

– Все в точности!.. Словно мы сами там побывали, – подтвердил Родольф.

– Слева, – продолжала Сычиха, – возле двора, колодец; веревка на нем может пригодиться, так как с этой стороны у каменной ограды нет трельяжа; я говорю это на тот случай, если отступление со стороны входной двери будет отрезано... Войдя в дом...

– Ты была в доме? Она была в доме, молодой человек! – с гордостью проговорил Грамотей.

– Конечно, я побывала там. Не найдя попугая, я так стонала и плакала, что у меня вроде бы перехватило дыхание. Я попросила у сторожа разрешения посидеть на пороге; этот славный человек пригласил меня войти и предложил стакан воды с вином. «Дайте мне только стакан воды, стакан воды из-под крана, мой добрый господин», – сказала я. Тогда он ввел меня в переднюю... повсюду там ковры; это нам на руку: не будет слышно ни шагов, ни осколков стекла, если придется высадить окно; справа и слева двери с ручками в виде птичьего клюва. Стоит в него дунуть, и дверь откроется... В глубине массивная дверь, запертая на ключ и чем-то похожая на вход в кассу... От нее пахло деньгами!.. Кусок воска был при мне, в корзине...

– У нее с собой был воск, молодой человек... Она никуда не выходит без воска!.. – сказал разбойник.

– Мне необходимо было подойти к двери, от которой пахло деньгами, – продолжала Сычиха. – Тогда я сделала вид, будто меня душит кашель, да такой сильный, что мне пришлось опереться о стену. Услышав, что я кашляю, сторож кричит: «Я положу вам кусок сахара в стакан с водой». Он, видно, пошел за ложкой, потому что я услышала, как смеется столовое серебро... столовое серебро находится в комнате справа... не забудь, Чертушка. Продолжая стонать и хныкать, я подхожу к той самой двери... Кусок воска был у меня на ладони... Как ни в чем не бывало я прилепила его к замочной скважине. Вот отпечаток. Не пригодится сегодня, пригодится в другой раз...

И Сычиха отдала разбойнику кусок желтого воска, на котором был ясно виден отпечаток врезного замка.

– А теперь вы должны нам сказать, действительно ли эта дверь ведет в комнату, где лежат деньги? – спросила Сычиха.

– Да, именно там спрятаны деньги!.. – ответил Родольф и подумал: «Неужели Мэрф был одурачен этой старой мегерой? Вполне возможно; он ждет нападения только к десяти часам... тогда все предосторожности будут приняты».

– Но не все деньги находятся в этой комнате, – продолжала Сычиха, и ее зеленый глаз сверкнул, – подходя к окнам в поисках Кокот, я видела в одной из комнат слева от входной двери на письменном столе мешочки с золотыми монетами... Я их видела так же ясно, как вижу тебя, муженек... Мешочков было не меньше дюжины.

– Где Хромуля? – неожиданно спросил Грамотей.

– Он все еще сидит в своей дыре, в двух шагах от садовой калитки... Он видит в темноте, как кошка. А в доме семнадцать только и есть что этот вход. Когда мы отправимся на аллею Вдов, он нас предупредит, если кто-то побывал там после меня.

– Ладно.

И, едва успев произнести это слово, Грамотей неожиданно кинулся на Родольфа, схватил его за горло и сбросил в люк, находившийся позади стола, за которым они сидели.

Нападение это было так молниеносно, внезапно, так сокрушительно, что Родольф не мог ни предвидеть его, ни избежать.

С испугу Сычиха громко вскрикнула, ибо сначала она не поняла, чем кончилась эта мгновенная схватка.

Когда умолк шум падения Родольфа, скатившегося по ступеням лестницы, Грамотей, великолепно знавший все ходы этого подземного царства, медленно спустился вниз, прислушиваясь к малейшему шороху.

– Чертушка... будь осторожен!.. – крикнула одноглазая, нагнувшись над открытым люком. – Держи наготове кинжал!

Разбойник ничего не ответил и исчез в подвале.

Сперва ничего не было слышно; но вскоре донесся издали звук заржавленной двери, глухо заскрипевшей в подземелье, и снова наступила тишина.

В зале было темно, хоть глаз выколи.

Сычиха порылась в своей корзине, вынула оттуда серную спичку и, когда от трения та загорелась, зажгла маленькую свечку, слабо осветившую мрачную залу.

В эту минуту зловещая физиономия Грамотея появилась в отверстии люка.

У Сычихи вырвался крик ужаса при виде этого бледного, жуткого, изуродованного, покрытого шрамами лица с неестественно светящимися глазами, лица, словно пльвшего во мраке, который слабый свет свечи не мог разогнать...

Немного оправившись от потрясения, старуха воскликнула в порыве омерзительного восхищения:

– До чего же ты ужасен, муженек, ты напугал меня... Даже меня.

– Скорей, скорей!.. На аллею Вдов, – сказал разбойник, закрывая люк на железный засов, – через час, возможно, будет поздно! Если это ловушка, она еще не поставлена, если ее нет, мы справимся и сами.

Глава XVIII. Погреб

После своего головокружительного падения Родольф остался лежать без чувств внизу лестницы.

Грамотей дотащил его до другого подземного помещения, еще более глубокого, сбросил туда и запер за ним окованную железом толстую дверь; затем он вернулся за Сычихой, чтобы совершить вместе с ней кражу, а быть может, и убийство на аллее Вдов.

Прошло около часа, и Родольф стал понемногу приходить в себя; он лежал на земле в полном мраке; пошарив руками возле себя, он нащупал каменные ступени. Почувствовав холод у своих ног, протянул руку... Там оказалась лужа.

С огромным усилием ему удалось сесть на нижней ступеньке лестницы; дурнота проходила; он ощупал себя. К счастью, переломов не было. Он прислушался... ничего не услышал... кроме какого-то непонятного журчания, глухого, слабого, непрерывного.

Сперва он не понял, в чем дело.

Но по мере того, как голова его прояснялась, обстоятельства неожиданного нападения, жертвой которого он стал, всплыли в его памяти. Еще немного, и он восстановил бы сцену до мельчайших подробностей, но тут ноги его снова оказались в воде; он наклонился, вода доходила ему уже до щиколоток.

И среди гнетущей тишины он опять услышал журчание, глухое, слабое, непрерывное...

Тогда он все понял: погреб наполнялся водой... Вода в Сене поднялась так высоко, что эта часть подземелья оказалась ниже ее уровня...

Опасность окончательно вывела Родольфа из оцепенения; с молниеносной быстротой он поднялся по лестнице. Дойдя до ее верхней ступеньки, он наткнулся на дверь, но напрасно попытался расшатать ее: она не шелохнулась.

В своем безнадежном положении он прежде всего подумал о Мэрфе.

– Если тот не принял мер предосторожности, изверг убьет его... И это я, – вскричал он, – я сам буду тому виной!.. Бедный Мэрф!..

Эта страшная мысль удвоила силы Родольфа; упершись ногами в каменную ступеньку, согнувшись в три погибели, он попытался открыть дверь – напрасно: она не поддавалась...

В надежде найти какой-нибудь рычаг он снова спустился; на предпоследней ступеньке два-три животных, мягких, эластичных, выкатились у него из-под ног: это были крысы, которых вода выгнала из нор.

Родольф ощупью обследовал погреб, ступая по воде, которая доходила ему уже до половины икр. Он ничего не нашел и в мрачном отчаянии медленно поднялся по лестнице.

Он сосчитал ступеньки, их оказалось тринадцать; три уже были затоплены.

Тринадцать! Роковое число!.. В иных положениях люди, самые стойкие, не застрахованы от суеверий. В числе «13» Родольф узрел дурное предзнаменование. Мысль о возможной гибели Мэрфа снова пришла ему в голову. Он напрасно попытался обнаружить какую-нибудь щель под дверью; от влаги деревянная ее часть разбухла и крепко-накрепко врезалась в сырую жирную почву.

Родольф принялся громко кричать, полагая, что его голос будет услышан посетителями кабака; потом прислушался...

Он ничего не услышал, ничего, кроме журчания воды, глухого, слабого, непрерывного; вода все поднималась.

Родольф сел в изнеможении у двери, прислонился к ней спиной, сокрушаясь об участи своего друга, который, быть может, в эту самую минуту боролся с вооруженным убийцей. Он горько пожалел о своих неосторожных и смелых планах, несмотря на их великодушные побуждения. И с болью в сердце припомнил бесчисленные доказательства преданности Мэрфа,

человека богатого, почитаемого, который оставил жену, любимого ребенка, дорогие его сердцу занятия, чтобы последовать за Родольфом и помочь ему в деле мужественного, хотя и странного искупления своей вины.

Вода все поднималась... Сухими оставались только пять ступенек. Встав во весь рост около двери, Родольф коснулся головой свода подземелья. Он мог заранее высчитать продолжительность своей грядущей агонии. Смерть его будет медленной, безмолвной, мучительной.

Он вспомнил о пистолете, который носил при себе. Если стрелять из него в упор по двери, быть может, удастся расшатать ее, правда, с риском поранить себя... Какое несчастье! Во время падения оружие это либо потерялось, либо было взято Грамотеем.

Не опасайся Родольф за участь Мэрфа, он ждал бы смерти с ясной душой... Он многое испытал в жизни... Он страстно любил... Он делал добро людям, ему хотелось сделать его больше, бог все знает! Не ропща против вынесенного ему приговора, Родольф видел в нем справедливое наказание за роковой поступок, который он еще не успел искупить; перед лицом опасности мысли его становились чище, возвышеннее.

Но тут его покорность судьбе подверглась новому испытанию.

Гонимые водой крысы поднимались со ступеньки на ступеньку. Им никак не удавалось взобраться по отвесной стене или двери, и, не находя иного выхода, они стали карабкаться по одежде Родольфа. Трудно вообразить себе гадливость, омерзение Родольфа, когда он почувствовал прикосновение множества крыс. Он попробовал смахнуть их, но острые холодные зубы тут же впились в его руки, брызнула кровь... Во время падения его блуза и куртка порвались, и он почувствовал на своей голой груди ледяные лапы и волосатое тело. Он отрывал от себя этих гнусных тварей, но они возвращались к нему вплавать.

Он снова попробовал кричать, но никто его не услышал... Скоро он уже не сможет кричать: вода дошла до шеи, еще немного, и поднимется до губ.

В этом сузившемся пространстве Родольфу не хватало воздуха; появились первые признаки удушья: усиленно билась кровь в висках, кружилась голова, скоро настанет смерть. Он в последний раз подумал о Мэрфе и обратил свои помыслы к богу не для того, чтобы молить его о спасении, а чтобы вручить ему свою душу.

В эту последнюю минуту, готовясь покинуть не только все, что делает жизнь счастливой, блестящей, завидной, но и громкий титул, верховную власть... вынужденный отказаться от дела, которое, удовлетворяя одновременно две его страсти: любовь к добру и ненависть к злу, – могло послужить ему, когда придет время, во искупление совершенных им грехов, находясь перед лицом ужасной смерти... Родольф не поддался ни приступам неистовства, ни бессильного гнева, когда слабодушные люди поочередно обвиняют или проклинают людей, судьбу, бога.

Нет, не поддался: пока сознание его было ясно, Родольф ожидал своей участи с покорностью и благоговением... Когда же, во время агонии, оно померкло, заговорил инстинкт самосохранения, и Родольф стал бороться, если можно так выразиться, физически, а не морально с надвигающейся смертью.

Головокружение затянуло все мысли Родольфа в свой стремительный и жуткий водоворот; вода бурлила у его ушей; ему казалось, будто он вращается вокруг самого себя; последний проблеск разума готов был померкнуть, когда поспешные шаги и звук голосов раздалась за дверью погреба.

Надежда пробудила угасающие силы; с невероятным усилием воли он заставил себя уловить несколько слов, последних, которые он услышал и понял:

– Сам видишь, здесь никого нет.

– Дьявольщина! Ты прав, – грустно ответил голос Поножовщика, и шаги стали удаляться.

Родольф, окончательно сраженный, уже не мог держать голову над водой, еще минута – и он соскользнул бы вниз по лестнице.

Неожиданно дверь погреба распахнулась, скопившаяся в нем вода хлынула в подземелье, словно из отверстия шлюза... и Поножовщину удалось схватить под руки Родольфа, который чуть живой судорожно цеплялся за порог двери.

Глава XIX. Брат милосердия

Спасенный от верной гибели Поножовщиком и перенесенный в дом на аллее Вдов, обследованный Сычихой до попытки ограбления, Родольф лежит в уютно обставленной комнате; жаркий огонь горит в камине; лампа, стоящая на комод, разливает вокруг яркий свет; кровать Родольфа под пологом из зеленой шелковой ткани окружена полумраком.

Негр среднего роста с седыми волосами и бровями, изысканно одетый, с зелено-оранжевой лентой в петлице синего фрака, держит в левой руке золотые часы с секундной стрелкой, а правой щупает пульс Родольфа.

Негр печален, задумчив; он смотрит на спящего Родольфа с выражением нежнейшего участия.

Поножовщик, в лохмотьях, покрытый грязью, неподвижно стоит у изножья кровати, опустив руки и сцепив пальцы; его рыжая борода давно не стрижена, густые белесые волосы растрепаны и мокры, топорное загорелое лицо сурово, но сквозь эту грубую оболочку проглядывает непередаваемое выражение участия и жалости... Едва осмеливаясь дышать, он сдерживает движение своей широкой груди; он встревожен сосредоточенным видом доктора, опасается худшего и, не сводя глаз с Родольфа, высказывает шепотом следующее философское замечание:

– Какой он сейчас слабый, никто не подумал бы, что он так лихо обрушил на меня град ударов под конец драки!.. Ничего, он скоро встанет на ноги... правда, господин доктор? Ей-богу, я не прочь, чтобы он выстукал на моей спине барабанную дробь в честь своего выздоровления... это взбодрило бы его... правда, господин доктор?

Негр молча поднял руку.

Поножовщик умолк.

– Микстуру! – сказал врач.

Поножовщик, который почтительно оставил у порога свои башмаки на шипах, устремился на цыпочках к комоду; но, стараясь ступать как можно легче, он так уморительно поднимал ноги, покачивал для равновесия руками и пригибался к полу, что при других обстоятельствах его ужимки показались бы весьма забавными. Бедный малый, казалось, пытался сосредоточить всю тяжесть своего тела в верхней его части, которая не касалась пола; но, несмотря на ковер, паркет предательски скрипел под тяжестью Поножовщика. Увы, в своем усердии, а также из страха выронить прозрачный пузырек, который он бережно держал в своей широченной руке, Поножовщик так сильно сжал его, что раздавил стекло, и микстура пролилась на пол.

При виде такой беды Поножовщик застыл на месте с поднятой массивной ногой, пальцы которой были нервно поджаты, переводя смущенный взгляд с доктора на горлышко пузырька, оставшееся у него в руке.

– Чертов растяпа! – нетерпеливо воскликнул врач.

– Дьявольщина! Какой же я болван! – прибавил Поножовщик, обращаясь к самому себе.

– К счастью, – сказал эскулап, взглянув на комод, – вы спутали пузырьки, мне нужен другой...

– Маленький, красноватый? – тихо спросил незадачливый брат милосердия.

– Конечно... Другого там нет.

Быстро повернувшись на пятках по старой военной привычке, Поножовщик раздавил осколки пузырька: будь подошвы его ног не столь загрубелыми, он сильно поранился бы; но на бывшем грузчике были природные сандалии, крепкие, как лошадиные копыта!

– Будьте осторожны, вы пораните себе ноги! – воскликнул врач.

Но Поножовщик не обратил ни малейшего внимания на это предупреждение. Глубоко озабоченный новым поручением, он решил выполнить его с честью, чтобы замаять свою первую оплошность; надо было видеть, с какой осторожностью, с какой легкостью, с каким чувством ответственности он взял толстыми пальцами хрупкий пузырек! Бабочка и та не оставила бы ни атома своей золотистой пыльцы между большим и указательным пальцами Поножовщика.

Врач испугался нового инцидента, который мог случиться из-за чрезмерной осторожности брата милосердия. К счастью, микстура не пострадала. Поножовщик благополучно приблизился к кровати, передавив ногами остатки первого пузырька.

– Несчастный, вы что же, хотите окончательно покалечить себя? – тихо спросил врач.

Поножовщик взглянул на него с недоумением.

– Покалечу себя, господин доктор?

– Вы дважды прошли по осколкам стекла.

– Если дело только в этом, не беспокойтесь... Подошвы ног у меня из той же кожи, что и доски.

– Принесите чайную ложку! – сказал врач.

Поножовщик вновь принялся за свои эквилибристические упражнения и отдал врачу требуемый предмет... После нескольких ложечек микстуры Родольф открыл глаза и слабо пошевелил руками.

– Хорошо! Очень хорошо! Он выходит из забытья, – сказал доктор, – кровопускание пошло ему на пользу, он вне опасности.

– Спасен! Браво! Да здравствует хартия! – воскликнул Поножовщик в приливе радости.

– Замолчите и не суетитесь! Прошу вас, – сказал негр.

– Да, господин доктор.

– Пульс улучшается... Превосходно!.. Превосходно!..

– А его бедный друг, господин доктор? Дьявольщина! Когда он узнает, что... Хорошо еще, что...

– Замолчите!

– Да, господин доктор.

– Садитесь.

– Но, господин док...

– Садитесь, говорят вам! Вы мешаєте мне: слоняетесь по комнате и отвлекаете мое внимание от больного. Ну же, садитесь.

– Господин доктор, я грязнее, чем бревно, вытасченное из воды при сплаве; я замараю мебель.

– Тогда садитесь на пол.

– Я замараю ковер.

– Делайте что хотите, но, бога ради, не торчите у меня перед глазами, – сказал нетерпеливо врач; и, опустившись в кресло, он прижал руки ко лбу.

Не столько от усталости, сколько из желания повиноваться врачу, Поножовщик с величайшими предосторожностями взял стул, с довольной миной перевернул его и поставил спинкой на ковер; ему хотелось прилично и скромно посидеть на передних ножках стула, дабы не испачкать обивки сиденья, что он и проделал с величайшей осторожностью... К несчастью, Поножовщик был плохо знаком с физическими законами о рычаге первого и второго рода и о равновесии тел. Стул покачнулся, бедняга невольно вытянул руки и перевернул круглый столик, на котором стоял поднос с чашкой и чайником.

Раздался оглушительный шум, негр вскинул голову и подпрыгнул в кресле, внезапно проснувшийся Родольф выпрямился, с беспокойством оглядел комнату и, собравшись с мыслями, воскликнул:

– Мэрф, где же Мэрф?

– Не беспокойтесь, ваше высочество, – почтительно проговорил негр, – я твердо надеюсь на его выздоровление.

– Он ранен? – воскликнул Родольф.

– Увы, монсеньор.

– Где он? Я хочу его видеть.

И Родольф попытался встать, но тут же откинулся на подушки, побежденный болью от ушибов, которые дали себя знать вместе с его пробуждением.

– Сию же минуту отнесите меня к Мэрфу, раз я не могу ходить! – воскликнул он.

– Монсеньор, он спит... Было бы опасно волновать его в таком состоянии.

– Ах, вы меня обманываете!.. Он умер... Его убили!.. И я всему виной!!! – воскликнул Родольф душераздирающим голосом, воздевая руки к небу.

– Монсеньор, вам известно, что я не умею лгать... Честью клянусь, что Мэрф жив... Он довольно серьезно ранен, это правда, но у него имеются все шансы на выздоровление.

– Вы говорите все это, чтобы подготовить меня к ужасной вести... По всей вероятности, его состояние безнадежно!

– Монсеньор...

– Уверен в этом... Вы меня обманываете... Я требую, чтобы меня сию же минуту отнесли к нему... Вид друга всегда действует благотворно...

– Ручаюсь вам честью, монсеньор, здоровье Мэрфа скоро пойдет на поправку, если не случится ничего непредвиденного, что маловероятно.

– Это правда, правда, дорогой Давид?

– Да, монсеньор.

– Выслушайте меня, вы знаете, как я уважаю вас; с тех пор как вы принадлежите к моему дому, я всегда полностью доверял вам... никогда не сомневался в ваших редких знаниях... Но, заклинаю вас, если нужна врачебная консультация...

– Об этом я подумал прежде всего, монсеньор. Но в настоящую минуту консультация бесполезна, можете верить мне на слово... К тому же мне не хотелось бы вводить в дом посторонних, пока вы не подтвердите, остаются ли в силе ваши вчерашние...

– Как же все это случилось? – спросил Родольф, перебивая негра. – Кто вытащил меня из погреба, где я чуть не захлебнулся?.. Я смутно припоминаю, что слышал голос Поножовщика, или мне это почудилось?

– Нет, нет! Этот превосходный человек сам все расскажет вам, монсеньор... ибо он спас и вас и Мэрфа.

– Но где же он, где?

Врач поискал глазами самозванного брата милосердия, который, стыдясь того, что натворил в комнате, спрятался за пологом кровати.

– Вот он, – сказал врач, – вид у него пристыженный.

– Ну же, подойди ко мне, герой! – сказал Родольф, протягивая руку своему спасителю.

Глава XX. Рассказ Поножовщика

Смушение Поножовщика усилилось еще и оттого, что он слышал, как врач величает Родольфа «монсеньором».

– Да подойди же... Дай мне руку! – молвил Родольф.

– Извините, сударь... Нет, я хотел сказать, монсеньор... Но...

– Называй меня, как обычно, господином Родольфом, мне это больше по душе.

– И мне тоже, я не стану так робеть... Но что до моей руки, извините... Я столько делов наделал за этот день...

– Руку, говорят тебе!

Побежденный настойчивостью Родольфа, Поножовщик робко протянул ему грязную мозолистую руку... Родольф крепко пожал ее.

– Ну же, садись и рассказывай... как ты отыскал погреб? Да, совсем забыл, что случилось с Грамотеем?

– Он здесь, в надежном месте, – ответил врач.

– Он и Сычиха... скручены, как две связки табачных листьев... Представляю себе, какие рожи они корчат, если им придет охота взглянуть друг на друга. Здорово небось раскаиваются теперь.

– А мой бедный Мэрф! Боже мой! Я только сейчас подумал об этом. Скажите, Давид, куда он ранен?

– В правый бок, монсеньор... К счастью, удар пришелся в область последнего ложного ребра...

– О, я отомщу! Мне нужна грозная месть!.. Давид, я рассчитываю на вас.

– Вы знаете, монсеньор, что я вам предан душой и телом, – холодно ответил негр.

– Но как тебе удалось поспеть сюда вовремя, любезный? – спросил Родольф у Поножовщика.

– Если вы хотите, монсень... нет, господин Родольф... я начну с самого начала.

– Ты прав; слушаю тебя.

– Ладно... Вы помните, что вчера вечером вы мне сказали, вернувшись из деревни, куда отвезли бедную Певунью: «Постарайся разыскать в Сите Грамотея; ты скажешь ему, что знаешь об одном деле, в котором не хочешь принимать участия, и предложишь ему заменить тебя. Для этого он должен прийти на следующий день (то есть сегодня утром) в «Корзину цветов» у заставы Берси, где и встретит того, кто вскормил дитяту»⁶².

– Правильно!

– Расставшись с вами, я побежал в Сите... Захожу к Людоедке – никаких следов Грамотея; иду на улицу Святого Элигия, на Бобовую улицу, на Суконную улицу... никого. Наконец я застукал его с этой стервой Сычихой на площади собора Парижской Богоматери у дрянного портняжки, перекупщика, скупщика краденого и вора; они собирались просадить деньги, украденные у высокого мужчины в трауре, который хотел насолить вам; покупали какие-то случайные вещи; Сычиха торговалась из-за красной шали... У, старая образина!.. Я выкладываю все по порядку Грамотею. Он соглашается и говорит, что придет на свидание. Ладно! По вашему вчерашнему приказанию прибегаю к вам сегодня утром на аллею Вдов, чтобы передать ответ... Вы говорите мне: «Вот что, парень, возвращайся сюда завтра до рассвета, ты проведешь весь день здесь, а вечером... увидишь зрелище, на которое стоит посмотреть...» Вы не сказали мне ни словечка больше, но я кое-что смекнул и говорю себе: «Дело идет о какой-нибудь шутке, которую хотят сыграть завтра с Грамотеем, приманив его под видом выгодного

⁶² Кто подготовил ограбление.

дельца. Таких мерзавцев, как он, поискать... Он уколошил торговца скотом... и, говорят, убил еще кого-то на улице Профессора Руля... Я примкну к этой шутке».

– Моя ошибка была в том, приятель, что я не все сказал тебе... Иначе этого ужасного несчастья могло бы не случиться.

– То была ваша воля, господин Родольф, мое дело – служить вам... потому что... словом, я сам не понимаю, как это получилось, но я чувствую себя вроде как вашим бульдогом, но довольно об этом, молчок... Итак, я сказал себе: «Завтра будет свалка, сегодня я свободен, господин Родольф оплатил мне те два дня, что я не был на работе, а также два последующих дня; я уже три дня не появлялся у своего подрядчика, а работа для меня... это хлеб, ибо я не миллионер. Кстати сказать, продолжаю я разговор с самим собой, господин Родольф оплачивает время, которое я трачу на него, значит, оно принадлежит ему и надо употребить его с пользой. И в голову мне приходит такая мысль: Грамотей – хитрец, он, наверно, опасается ловушки. Господин Родольф договорится с ним на завтрашний день, что правда, то правда; но этот скот вполне может прийти сюда сегодня, побродить по окрестностям и осмотреть место действия; если он не доверяет господину Родольфу, то приведет для подмоги какого-нибудь вора или же назначит господину Родольфу завтрашний день и все обтяпает сегодня на свой страх и риск».

– Ты правильно обо всем догадался... так оно и случилось... И провидение восхотело, чтобы я был обязан тебе жизнью.

– Поразительное дело, господин Родольф, с тех пор как я вас знаю, со мной приключаются вещи, как бы задуманные там, наверху! А с тех пор как вы мне сказали: «Молодец, ты сохранил и мужество и честь», у меня появились мысли, которых никогда не было прежде. Мужество! Честь! Дьявольщина, от этих слов у меня что-то переворачивается в брюхе. Знаете, господин Родольф, когда привыкнешь, что при твоём приближении честные люди шарахаются от тебя, словно от волка или бешеной собаки...

– Значит, за последние дни у тебя появились новые для тебя мысли?

– Понятно, господин Родольф. Вот что я еще подумал: если я теперь встречу человека, сделавшего спьяну или со злости какую-нибудь пакость, словом, неважно что... я скажу ему: «Послушай, парень, ты сделал гадость, ладно. Но это еще не все. Господь бог посылает людям напасти не для того, чтобы им помогал прусский король; так вот сделай мне одолжение и, если ты зарабатываешь сорок су, отдавай двадцать неимущим старикам или маленьким детям, словом, тем, кто несчастнее тебя, у кого нет ни хлеба, ни сил... и, главное, не забудь, парень, если тебе встретится человек, которого надо спасти, рискуя своей шкурой, это твоя обязанность, и только твоя!!! При этом условии и если ты откажешься от своих глупостей, ты всегда найдешь помощника во мне...» Но, простите, господин Родольф, я все болтаю и болтаю, а вам, верно, интересно узнать...

– Нет, мне нравится, когда ты так говоришь. Кроме того, я всегда успею узнать, как случилось ужасное несчастье, жертвой которого оказался мой бедный Мэрф... Я был уверен, что не отойду ни на шаг, ни на минуту от Грамотея во время этой опасной затеи... Он мог бы нанести мне множество ран, убить меня... прежде чем добраться до Мэрфа. Увы, судьба судила иначе... Продолжай, приятель.

– Итак, положив употребить свое время на вас, господин Родольф, я говорю себе: «Надо бросить якорь где-нибудь поблизости, откуда я увижу ограду и, главное, садовую калитку – это единственный вход в дом... Если я найду уютный уголок... ведь идет дождь, то останусь там весь день и, конечно, всю ночь, а рано утром смогу обо всем доложить...» Я сказал себе это ровно в два часа, в Батиньоле, куда забежал заморить червячка, после того как ушел от вас, господин Родольф... Возвращаюсь на аллею Вдов... Ищу, где бы мне угнеститься... И что же я вижу? Маленький кабачок в десяти шагах от вашей двери... Я занимаю столик в первом этаже, около окна, заказываю литр вина и четверть фунта орехов и говорю, что ожидаю друзей...

горбуна с высокой женщиной; это я выдумал для правдоподобия. Итак, я сижу за столиком и не спускаю глаз с вашей калитки... Дождь льет без передыха; на улице – никого, приближается ночь.

– Почему ты не зашел ко мне в дом? – перебил Поножовщика Родольф.

– Вы же велели прийти на следующий день утром, господин Родольф... Я не посмел явиться раньше. Не то вы приняли бы меня за подлипалу, как говорят у нас в пехоте... Ведь я же бывший каторжник, а когда такой человек, как вы, обращается со мной так, как обращаетесь вы, господин Родольф... Не надо подходить к нему, пока он не скажет: «Поди сюда». Вот если я увижу паука на воротнике вашего костюма, я сниму его и раздавлю, не спрашивая вашего разрешения... Понимаете? Итак, я сидел у окна кабачка, щелкал орехи и попивал дрянное винцо, когда увидел в тумане Сычиху с Хромулей, мальчонком Краснорукого.

– Краснорукого! Так, значит, он хозяин подземного кабака на Елисейских полях? – воскликнул Родольф.

– Да, господин Родольф; а вы этого не знали?

– Нет, я думал, что он живет в Сите...

– Он и там живет, он всюду живет... Краснорукий – тонкая бестия и отъявленный мерзавец, уж поверьте мне, стоит только взглянуть на его желтый парик и острый нос. Словом, я вижу Сычиху и Хромулю и говорю себе: «Дело будет жаркое». В самом деле, Хромуля залез в канаву, против вашего дома, будто бы спрятался от дождя, и затаился там... Сычиха снимает чепец, кладет его в карман и звонит в калитку. Бедный господин Мэрф, ваш друг, открывает калитку одноглазой, и она принимается бегать по саду, воздевая руки к небу. Как я ни ломал себе башку, никак не мог отгадать, для чего она явилась сюда. Наконец Сычиха выходит на улицу, надевает чепец, что-то говорит Хромуле, и тот опять залезает в свою дыру, а Сычиха убирается прочь. Погоди, говорю я себе, как бы мне не сбиться с толку. Хромуля пришел с Сычихой; Грамотей и господин Родольф находятся, видно, у Краснорукого. Сычиха приходила сюда что-то расчухивать⁶³; ясно, что они совершат ограбление сегодня вечером, и господин Родольф, который не ожидает этого, попадет впросак... Если господин Родольф попадет впросак, мне надо сходить к Краснорукому и узнать, чем там пахнет; да, но за это время сюда припрется Грамотей... правильно. Ничего не поделаешь, я войду в дом и скажу господину Мэрфу: «Будьте осторожны...» Да, но этот слизняк Хромуля засел около калитки, он услышит звонок, увидит меня, предупредит Сычиху; если она вернется сюда... все будет испорчено... тем более что у господина Родольфа могут быть другие намерения на сегодняшний вечер... Дьявольщина! Эти «да» и «но» вертелись у меня в голове... Я совсем одурел, растерялся, не знал, как быть; выйду-ка я на свежий воздух, подумал я, быть может, в голове у меня прояснится. Выхожу... В голове проясняется: снимаю блузу и галстук, прыгаю в канаву, где притаился Хромуля, хватаю мальчишку за загривок; как он ни отбивается, ни царапается, ни пищит... запихиваю его в свою блузу, словно в мешок, завязываю один конец рукавами, другой – галстуком, но так, чтобы мальчонка мог дышать; беру сверток под мышку, вижу поблизости огород, обнесенный невысокой оградой, и бросаю Хромулю среди морковных грядок; он продолжает верещать, но глухо, как молочный поросенок, словом, его и за два шага не услышишь... Возвращаюсь бегом, как раз вовремя! Залезаю на одно из высоких деревьев аллеи, как раз против вашей калитки и над канавой, где прятался Хромуля. Десять минут спустя слышу шаги; дождь все идет. Кругом темно, так темно, что пекарь мог бы наступить на собственный хвост... Прислушиваюсь, узнаю голос Сычихи. «Хромуля... Хромуля!..» – тихонько зовет она. «Попробуй поищи своего Хромулю! Идет дождь, мальчишке, верно, надоело ждать, если поймаю его, сдеру с него шкуру!!!» – говорит Грамотей, ругаясь. «Чертушка, будь начеку, – замечает Сычиха. – Быть может, он побежал предупредить нас... А что, если это ловушка?.. Ведь парень хотел приняться за дело

⁶³ Выведывать.

лишь в десять часов». – «Вот именно, – отвечает Грамотей, – а теперь только семь. Ты видела деньги... Кто не рискует, тот не выигрывает; дай мне ломик и отмычку».

– Откуда у него эти инструменты? – спросил Родольф.

– Взял у Краснорукого. О, у него в доме есть все, что угодно.

Не прошло и минуты, как калитка отперта. «Оставайся здесь, – говорит Грамотей Сычихе, – и работай сигналом⁶⁴, если что-нибудь услышишь». – «Продень стилет в петлицу жилета, чтобы он был у тебя под рукой», – просит одноглазая. Грамотей входит в сад. Я говорю себе: «Господина Родольфа нет с ними; жив он или мертв в эту минуту, я ничем не могу ему помочь, но друзья наших друзей – наши друзья...» О, простите меня, монсеньор!

– Продолжай, продолжай. Что же дальше?

– Я говорю себе: «Грамотей может укокошить господина Мэрфа, друга господина Родольфа, который ничего дурного не ожидает. Вот тут и находится самая горячая точка. Прыгаю с дерева рядом с Сычихой и отвешиваю ей два удара кулаком... отборных удара... Не охнув, она бухается на землю... Я вхожу в сад... Дьявольщина, господин Родольф!.. Было слишком поздно...»

– Бедный Мэрф!..

– Услышав скрип калитки, он, верно, вышел из передней; и теперь, раненый, боролся с Грамотеем на крылечке, но не сдавался, не звал на помощь. Молодчина! Он, как хороший пес, кусается, но не лаает. Подумав так, я бросился в общую кучу и схватил Грамотея за ногу, единственное место, до которого можно было добраться. «Да здравствует хартия! Это я, Поножовщик! Расправимся с ним на пару, господин Мэрф!» – «Это ты, злодей! Откуда взялся?» – кричит мне Грамотей, обалдевший при моем появлении. «До чего же ты дотошный», – отвечаю я, зажимая его ногу между коленями, и сразу же хватаю руку, ту самую, в которой он держит кинжал. «А что с Родольфом?» – спрашивает господин Мэрф, по мере сил помогая мне.

– Мужественный, замечательный человек, – горестно прошептал Родольф.

– «Не знаю, – говорю я, – возможно, эти скоты его убили». И принимаюсь еще сильнее тужить Грамотея, который пытается ударить меня кинжалом, но я грудью навалился на его правую руку, и он не может ее поднять. «Неужто вы одни здесь?» – спрашиваю я господина Мэрфа, продолжая сражаться с Грамотеем. «Есть тут неподалеку народ, но мне не докричатся», – отвечает он. «А это далеко?» – «Нет, минут десять ходьбы». – «Давайте звать на помощь, прохожие услышат и придут на выручку». – «Нет, раз мы захватили его, пусть остается здесь... Кроме того, я ослабел, я ранен», – говорит мне Мэрф. «Дьявольщина, тогда идите за подмогой, если у вас хватит сил. Я постараюсь удержать его; вытащите нож из его руки и помогите мне прижать его своим телом; хотя он вдвое сильнее меня, ручаюсь, что не упущу злодея, только бы мне зацепить его...» Грамотей ничего не говорит, слышно было, что он дышит тяжело, как выючное животное; но, дьявольщина, какая сила! Господину Мэрфу так и не удалось вырвать кинжал, зажатый в руке злодея, словно в тисках. Наконец, придавив всем своим телом его правую руку, я закидываю руки за его шею и соединяю их... словно собираюсь обнять. Защемить Грамотея было моей давнишней мечтой; после чего я говорю Мэрфу: «Поторопитесь... я жду вас. Если у вас найдется лишний человечек, пошлите его подобрать Сычиху за калиткой, я ее здорово пристукнул». Я остаюсь один на один с Грамотеем. Он знал, что его ожидает.

– Он ничего не знал!.. Да и ты, приятель, не знаешь, – сказал Родольф мрачно, и на лице его появилось то жесткое, чуть ли не свирепое выражение, о котором мы уже говорили.

Поножовщик удивленно взглянул на Родольфа.

– Я думаю, что Грамотей подозревал о том, что его ждет... Право, я не хвастаю, но была минута, когда мне пришлось туго. Мы лежали частью на земле, частью на нижней ступеньке крыльца... Я обхватил его шею руками... моя щека касалась его щеки... Был слышен скрежет

⁶⁴ Кричи: осторожно!

его зубов. Стемнело... Дождь лил по-прежнему... Лампа, оставленная в передней, слабо освещала нас. Я зажал ногами одну из его ног. Но он был такой здоровенный, что, напрягая низ туловища, поднимал нас обоих на фут от земли. Он пытался укусить меня, но не мог. Никогда еще я не чувствовал себя таким сильным. Дьявольщина! Сердце у меня сильно билось, но не от страха... Я говорил себе: «Я вроде как вцепился в бешеного пса, чтобы помешать ему бросаться на людей». – «Отпусти меня, и я ничего тебе не сделаю», – говорит Грамотей, с трудом переводя дух. «Да ты еще и трус вдобавок, – отвечаю я, – неужто вся твоя храбрость держится на одной силе? Ведь ты не посмел бы убить торговца скотом из Пуасси, будь он сильнее тебя, а?» – «Да, – говорит он, – но я убью тебя, как убил его». С этими словами он так сильно приподнялся и напряг мускулы ног, что отбросил меня в сторону; но я по-прежнему держал его за шею и прижимал к земле его правую руку. Как только ему удалось высвободить ноги, он ловко воспользовался ими и наполовину перевернул меня. Если бы я не держал его руку с кинжалом, мне пришел бы конец. В эту минуту я промазал и ударил левым кулаком не по противнику, а по ступеньке лестницы; пришлось разжать пальцы. Дело мое было дрянь. Я сказал себе: «Я лежу под ним, а он на мне; он убьет меня. Но я ни о чем не жалею... Господин Родольф сказал мне, что у меня есть мужество и честь. Я чувствую, что это правда». Тут я увидел Сычиху, стоящую на крыльце, ее зеленый глаз и красную шаль... Дьявольщина! Я подумал, что это наваждение. «Хитруша! – кричит Грамотей. – Я выронил кинжал; подними его... вот тут... под ним... и ударь... в спину, между лопатками...» – «Погоди, погоди, Чертушка, дай мне оглядеться». И вот Сычиха кружит, кружит вокруг нас, как вестница несчастья, какой она всегда была. Наконец она видит кинжал... хочет схватить его... Но так как я лежал ничком, я ударил ее пяткой в живот, и она полетела вверх тормашками; она тут же встает и снова принимается за свое. Я совсем ослаб, но все еще цеплялся за Грамотея; а он снизу так сильно ударял меня по челюсти, что я готов был сдаться, когда увидел не то троих, не то четверых вооруженных парней, сбегавших с крыльца... Господин Мэрф, бледный-пребледный, еле шел, опираясь на врача... Парни хватают Грамотея и Сычиху и связывают их... Но для меня этого было мало. Мне нужен был господин Родольф... Я набрасываюсь на Сычиху – я не забыл о зубе бедной Певуньи – и начинаю выкручивать ей руку, повторяя: «Где господин Родольф?» Она держится стойко. После второго раза она выкрикивает: «Он у Краснорукого, в подвале, в «Кровоточащем сердце»...» Ладно... По дороге я хочу прихватить Хромулю, лежащего среди морковных грядок: мне это было по пути... Смотрю... его нет, осталась только моя блуза. Он всю ее изгрыз. Прихожу в «Кровоточащее сердце», беру за горло Краснорукого... «Где молодой человек, который был здесь с Грамотеем?» – «Не сжимай так сильно, я все тебе скажу: над ним хотели подшутить и заперли его в подвале, идем выпустим его». Спускаемся в подвал... Никого... «Он, верно, вышел, когда меня не было поблизости, – говорит Краснорукий, – видишь, его здесь нет...» Вконец опечаленный, я собрался было уйти, но при свете фонаря заметил в глубине подвала другую дверь. Подбегаю к ней, дергаю за ручку на себя и получаю в рожу как бы полное ведро воды. Вижу в воздухе две ваши ослабевшие руки... Вылавливаю вас из воды и приношу сюда на спине, так как послать за извозчиком было некого. Вот и все, господин Родольф... и могу сказать, не хвастая, что я чертовски доволен.

– Я обязан тебе жизнью, друг, и этот долг... я уплачу во что бы то ни стало... Ты – человек мужественный и, конечно, поделишь мои чувства... Я крайне встревожен состоянием Мэрфа, которого ты так отважно спас, и жажду жестоко отомстить тому, кто чуть не убил вас обоих.

– Понимаю, господин Родольф... Схватить вас, бросить в подземелье и отнести бесчувственного в погреб, чтобы утопить там... Право, Грамотей заслужил то, что ему причитается. Он признался мне, кроме того, что уколошил торговца скотом. Я не доносчик, но – дьявольщина! – на этот раз я с легким сердцем схожу за полицией, чтобы она арестовала злодея!

– Давид, узнайте, пожалуйста, как чувствует себя Мэрф, – сказал Родольф, не отвечая Поножовщику. – И сразу возвращайтесь обратно.

- Не знаешь ли, парень, где находится Грамотей?
- Он в зале с низким потолком вместе с Сычихой. Вы пошлете за полицией?
- Нет...
- Вы хотите его отпустить?.. Ах, господин Родольф, не делайте этого; такое великодушие ни к чему... Я повторяю то, что уже говорил вам: он бешеный пес... Пожалейте прохожих!
- Он больше никого не укусит... не беспокойся!
- Вы куда-нибудь упрячете его?
- Нет, через полчаса он уйдет отсюда.
- Грамотей?
- Да...
- Один, без жандармов?
- Да...
- Он выйдет отсюда на свободу?
- На свободу...
- Один?
- Да, один.
- Но куда же он пойдет?
- Куда пожелает, – сказал Родольф со зловещей улыбкой, ужаснувшей Поножовщика. Вернулся врач.
- Скажите, Давид... как Мэрф?
- Он дремлет... монсеньор, – грустно ответил тот, – дышит все так же тяжело.
- Положение серьезное?
- Очень серьезное, монсеньор... И все же надежда не потеряна.
- О Мэрф! Я отомщу!.. Отомщу!.. – воскликнул Родольф с холодным гневом и, обращаясь к врачу, добавил: – Давид, на два слова.
- И он что-то тихо сказал на ухо негру.
- Тот вздрогнул.
- Вы колеблетесь? – спросил Родольф. – Однако я часто говорил с вами о своем намерении... Пришло время выполнить его...
- Я не колеблюсь, монсеньор... Я одобряю ваше намерение... Оно предполагает коренную реформу уголовного кодекса, достойную рассмотрения крупнейших криминалистов, ибо такое наказание было бы одновременно... простым... жутким... и справедливым... И как раз в этом случае его следовало бы применить. Не считая злодеяний, за которые этот негодяй был осужден на пожизненные каторжные работы... он совершил еще три преступления: убийство торговца скотом, покушение на жизнь Мэрфа... и на вашу жизнь... Кара справедлива...
- Кроме того, перед ним откроются неограниченные возможности раскаяния... – заметил Родольф. – Хорошо, Давид... вы поняли меня...
- Мы трудимся ради одной и той же цели... монсеньор...
- Помолчав немного, Родольф сказал:
- И пять тысяч франков обеспечат его, не так ли, Давид?
- Безусловно, монсеньор.
- Вот что, милый, – сказал Родольф ошеломленному Поножовщику, – мне надо поговорить с господином Давидом, а тебя я попрошу сходить в соседнюю комнату... там, на письменном столе, лежит красный бумажник, возьми из него пять тысяч франков и принеси их мне.
- Для кого же эти пять тысяч франков? – невольно вскричал Поножовщик.
- Для Грамотея... И ты велишь сразу же привести его сюда.

Глава XXI. Наказание

Сцена происходит в ярко освещенной гостиной, обитой красной тканью.

Родольф, одетый в длинный черный бархатный халат, который подчеркивает бледность его лица, сидит за большим, покрытым скатертью столом. На столе лежат всевозможные вещи: два бумажника: один был украден Грамотеем у Тома в Сите, другой принадлежит самому похитителю; цепочка из поддельного золота с крошечным скульптурным изображением святого духа из лазурита, стилет, еще покрытый пятнами крови Мэрфа, отмычка, которой была отперта калитка, и, наконец, пять билетов по тысяче франков, принесенные Поножовщиком из соседней комнаты.

Доктор-негр сидит с одной стороны стола, Поножовщик – с другой.

Грамотей, так крепко скрученный, что он не может пошевелиться, сидит посреди гостиной в большом кресле на колесиках.

Парни, доставившие сюда преступника, ушли.

Родольф, доктор, Поножовщик и убийца остались одни.

Раздражение Родольфа прошло: он спокоен, печален, сосредоточен: он готовится свершить торжественное и грозное деяние.

Врач задумчив.

Поножовщик охвачен неясным страхом. Он не может оторвать взгляда от Родольфа.

Грамотей мертвенно-бледен... он боится...

Обычный арест, возможно, не так испугал бы преступника, его обычная отвага не изменила бы ему перед лицом суда; но окружающая обстановка удивляет, страшит его; он находится во власти Родольфа, которого считал сообщником, способным предать его или дрогнуть в решающую минуту; из-за этого опасения, а также в надежде воспользоваться одним плодами кражи он и решил пожертвовать им...

Зато теперь Родольф кажется ему внушительным, грозным, как само правосудие.

Кругом – глубокая тишина.

Слышится только шум дождя, который падает... падает с крыши на мощеную дорожку.

Родольф обращается к Грамотею:

– Вы – Ансельм Дюренель... беглый каторжник из Рошфора, куда вы были сосланы навечно... как фальшивомонетчик, вор и убийца.

– Это ложь! Попробуйте доказать это! – говорит Грамотей дрогнувшим голосом, бросая вокруг себя беспокойные, дикие взгляды.

– Вы Ансельм Дюренель!.. Позже вы узнаете в этом. Вы убили и ограбили торговца скотом на дороге в Пуасси.

– Это ложь!

– Позже вы узнаете в этом.

Убийца удивленно взглянул на Родольфа.

– Сегодня ночью вы проникли в этот дом ради грабежа и ранили кинжалом его владельца...

– Вы же сами предложили мне совершить это ограбление, – говорит Грамотей, немного приободрившись, – на меня напали... я защищался.

– Человек, которого вы ранили, не напал на вас, он был безоружен. Я предложил вам совершить эту кражу... не отрекаюсь. Немного погодя я объясню, зачем мне это понадобилось. Накануне вы обобрали мужчину и женщину в Сите (вот взятый у них бумажник) и предложили им убить меня за тысячу франков!..

– Я слышал это! – воскликнул Поножовщик.

Грамотей взглянул на него с лютой ненавистью.

– Вы сами видите, что толкать вас на преступление не требовалось, – заметил Родольф.

– Вы не следователь, я больше не буду вам отвечать...

– Вот почему я предложил вам совершить это ограбление. Мне было известно, что вы беглый каторжник... вы знали родителей одной несчастной девушки, во многих бедах которой виновата Сычиха, ваша сообщница... Я решил заманить вас сюда под предлогом крупной поживы, единственной приманки, способной вас соблазнить. Как только вы оказались бы в моей власти, я предложил бы вам на выбор, либо передать вас в руки правосудия, и тогда вы головой заплатили бы за убийство торговца скотом...

– Ложь! Я не совершал этого преступления...

– ...либо тайно выслать вас из Франции в место вечного заточения, где ваша судьба была бы менее тяжелой, чем на каторге; однако в обмен на смягчение вашей участи я потребовал бы от вас сведений, которые мне необходимы. Вы были осуждены на пожизненные каторжные работы и бежали с каторги. Лишая вас возможности вредить себе подобным, я оказал бы услугу обществу, а ваши признания помогли бы мне вернуть в лоно семьи бедную девушку, вся вина которой заключается в неудачно сложившейся жизни. Таков был сначала мой план, план нелегальный, но ваш побег и ваши новые злодеяния поставили вас вне закона... Вчера благодаря откровению свыше я узнал ваше подлинное имя.

– Это ложь! Я не Ансельм Дюренель.

Родольф взял со стола цепочку Сычихи и показал Грамотею маленькую скульптурку из лазурита.

– Святотатство! – грозно воскликнул он. – Подарив ее бесчестной женщине, вы осквернили эту реликвию, реликвию, трижды священную, ибо она перешла к вашему сыну от его матери и бабушки.

Грамотей, изумленный этим открытием, молча опустил голову.

– Вчера я узнал, что пятнадцать лет назад вы похитили вашего сына у его матери, вашей бывшей жены, и что вам одному известно, как сложилась судьба ребенка. Когда я понял, кто вы такой, у меня появилась еще одна причина для того, чтобы захватить вас. Я не хочу мстить вам за себя лично! Этой ночью вы опять пролили кровь ни в чем не повинного человека. Тот, кого вы серьезно ранили, доверчиво вышел к вам, не подозревая о ваших гнусных намерениях. Он спросил у вас, что вам здесь надобно... «Твои деньги и твоя жизнь!» – ответили вы и ударили его кинжалом.

– Все это поведал мне господин Мэрф, когда я оказывал ему первую помощь, – подтвердил врач.

– Это неправда, он солгал.

– Мэрф никогда не лжет, – холодно заметил Родольф. – Ваши преступления вопиют о мщении. Вы проникли в этот сад незаконным путем, вы ударили кинжалом человека, чтобы обокрасть его, и таким образом совершили еще одно убийство... Вы умрете здесь... Из жалости, из уважения к вашей жене и к вашему сыну мы спасем вас от позора смертной казни... Скажем, что вы погибли во время вооруженного нападения... Подготовьтесь... Ружья заряжены.

Лицо Родольфа было неумолимо.

Грамотей заметил в соседней комнате двоих мужчин, вооруженных карабинами... Его имя было известно, он подумал, что от него хотят избавиться, чтобы предать забвению последние совершенные им злодеяния и спасти от нового позора его семью. Как и все люди, подобные ему, этот человек был столь же труслив, сколь и свиреп. Полагая, что его последний час пробил, он задрожал с головы до ног и крикнул:

– Пошадите!..

– Нет для вас пощады, – сказал Родольф. – Если вас не пристрелят здесь, эшафота вам не миновать...

– Я предпочитаю эшафот... Я проживу, по крайней мере, еще два или три месяца... Не все ли вам равно, раз я буду наказан? Пощадите меня! Пощадите!

– Но подумайте, ваша жена... ваш сын... носят ваше имя...

– Мое имя уже давно обесчещено... Прожить хотя бы еще неделю... Пощадите!..

– У него нет даже того презрения к жизни, какое встречается у крупных злодеев! – сказал с отвращением Родольф.

– К тому же такая самовольная расправа запрещена законом, – уверенно проговорил Грамотей.

– Законом! – вскричал Родольф. – Законом!.. И вы смеее ссылаться на закон, вы, который уже двадцать лет живете с оружием в руках, открыто восставая против общества?..

Не отвечая, злодей опустил голову.

– Оставьте мне жизнь, хотя бы из жалости! – проговорил он наконец униженно.

– Вы скажете, где находится ваш сын?

– Да... да... Я скажу вам все, что знаю.

– Вы скажете мне, кто родители этой девушки, детство которой было искалечено Сычихой?

– В моем бумажнике имеются документы, которые наведут вас на их следы.

– Где ваш сын?

– Вы не отнимете у меня жизни?

– Прежде всего признайтесь...

– Видите ли, когда вы узнаете... – нерешительно проговорил Грамотей.

– Ты убил его?

– Нет... нет... Я поручил сына одному из моих сообщников, которому удалось бежать, когда я был арестован.

– Что же он сделал с ним?

– Он воспитал его; дал ему знания, необходимые для коммерции, чтобы мы могли воспользоваться... Но я скажу вам всю правду только в том случае, если вы пообещаете не убивать меня.

– И ты еще ставишь условия, мерзавец!

– Нет, нет! Пожалейте меня; прикажите арестовать лишь за сегодняшнее преступление; не говорите о другом. Дайте мне возможность спасти свою голову.

– Итак, ты хочешь жить?

– О да, да! Никогда не знаешь, что может случиться, – невольно вырвалось у злодея.

Он уже думал о возможности нового побега.

– Ты хочешь жить, жить во что бы то ни стало...

– Да, жить... Пусть даже в цепях! Хотя бы еще месяц, неделю... О, только бы не умеретьсию минуту...

– Признайся во всех своих преступлениях, и ты будешь жить.

– Буду жить! Правда, правда? Буду жить?

– Послушай, из жалости к твоей жене, к твоему сыну я дам тебе совет: согласись умереть сегодня...

– О нет, нет, вы отказываетесь от своего обещания, не убивайте меня, жизнь, самая мерзкая, самая ужасная, ничто по сравнению со смертью.

– Ты так решил?

– О да, да...

– Ты так решил?

– Да, и никогда не пожалуюсь на свою участь.

– Что ты сделал со своим сыном?

– Тот друг, о котором я вам говорил, дал ему знания по бухгалтерии, необходимые, чтобы поступить в банк; таким образом, сын держал бы нас в курсе некоторых финансовых операций. Так было договорено между нами. Тогда я еще был в Рошфоре и, готовясь к побегу, руководил этим планом посредством зашифрованных записок.

– Этот человек ужасает меня! – воскликнул Родольф, содрогаясь. – Оказывается, существуют преступления, о которых я и не подозревал. Признайся... Признайся же... Зачем ты хотел устроить сына в банк?

– Для того... вы понимаете... чтобы в согласии с нами незаметно войти в доверие к банкиру... помогать нам... и...

– О боже! На что он обрек сына, своего родного сына! – скорбно воскликнул Родольф, с гадливостью закрывая лицо руками.

– Речь шла всего-навсего о фальшивых деньгах! – воскликнул разбойник. – Да и кроме того, когда мой сын узнал, чего мы ждем от него, он возмутился... После бурной сцены с человеком, воспитавшим его для выполнения наших замыслов, он исчез... С тех пор прошло полтора года... Никому не известно, что с ним случилось... Вы найдете в моем бумажнике перечень шагов, предпринятых воспитателем сына, который во что бы то ни стало хотел разыскать его, из боязни, что тот выдаст наше содружество; но след его в Париже был потерян. Последнее местожительство сына – дом номер четырнадцать на улице Тампль, где он известен под именем Франсуа Жермена; адрес тоже находится в моем бумажнике. Как видите, я все сказал, решительно все... Выполните теперь свое обещание и велите арестовать меня только за попытку сегодняшнего ограбления.

– Ну а торговец скотом из Пуасси?

– Доказать это невозможно за отсутствием улик. Я признался только вам, чтобы подтвердить свою добрую волю; на следствии я все буду отрицать.

– Итак, ты признаешься?

– Я был в нищете, не знал, как жить дальше... Совет этот мне дала Сычиха... Теперь я раскаиваюсь... Сами видите, ведь я во всем признался... Ах, если бы у вас хватило великодушия не предавать меня правосудию, я дал бы вам честное слово, что не вернусь к прежней жизни.

– Ты будешь жить, и я не предаю тебя правосудию.

– Так вы прощаете меня? – вскричал Грамотей, не веря своим ушам. – Прощаете?

– Я вершу суд над тобой... и выношу тебе приговор! – воскликнул Родольф громовым голосом. – Я не отдам тебя в руки правосудия, потому что ты попадешь либо на каторгу, либо на эшафот, а этого не должно быть... Нет, не должно... На каторгу? Чтобы ты снова господствовал над тамошним сбродом благодаря своей силе и подлости! Чтобы ты снова мог удовлетворить свою жажду грубого угнетения!.. Чтобы все тебя ненавидели и боялись, ибо у преступников есть своя, особая гордость, и тебе будет льстить сама исключительность твоей низости!.. На каторгу? Нет, нет: твоему железному здоровью нипочем каторжные работы и палка надсмотрщика. Да и, кроме того, цепи можно перепилить, стены пробуравить, через крепостной вал перелезть; и придет день, когда ты снова пустишься в бега, чтобы снова нападать на кого попало, как взбесившийся дикий зверь, отмечая свой путь грабежами и убийствами... ибо никто не застрахован от твоей геркулесовой силы и от твоего ножа; а этого не должно быть, нет, не должно! Но если на каторге ты можешь разбить свои цепи, как же быть, чтобы уберечь общество от твоих злодеяний? Отдать тебя в руки палача?

– Так, значит, вы хотите моей смерти! – вскричал разбойник. – Вот чего вы хотите?

– Твоей смерти? Не надейся на это... Ты так слабодушен... ты так боишься смерти... что никогда не поверишь в ее неизбежность. Благодаря твоей жажде жизни, твоей упрямой надежде ты избежишь мучительного страха при ее грозном приближении! Надежде глупой, бессмысленной!.. Но она все же избавит тебя от искупительного страха смерти, и ты поверишь в

нее только в руках палача! Но тогда, отупевший от ужаса, ты превратишься в инертное, бесчувственное тело, которое и будет принесено в жертву душам загубленных тобой людей... Этого не должно быть... ты верил бы в спасение до последней минуты... Чтобы ты, чудовище... смел надеяться? Чтобы на стенах одиночной камеры надежда являла тебе свои утешительные, сладостные миражи... до тех пор, пока смерть не затуманит твоего взора? Полно!.. Старик Сатана и тот смеялся бы над этим до упаду!.. Если ты не раскаяешься, я не хочу, чтобы ты сохранил надежду в этой жизни...

– Но что сделал я этому человеку?.. Кто он?.. Чего хочет от меня?.. Где я?.. – вскричал Грамотей чуть ли не в бреду.

– Если, напротив, ты нагло, пренебрежительно встретишь смерть, – продолжал Родольф, – то и тогда не следует предавать тебя казни... Эшафот послужил бы тебе кровавыми подмостками, где, по примеру многих других, ты похвалялся бы своей жестокостью... где, позабыв о дурно прожитой жизни, ты произнес бы последнее богохульство и осудил бы свою душу на вечные муки!.. Этого тоже не должно быть... Негоже для народа смотреть на осужденного, который шутит со смертью, подтрунивает над палачом и с ухмылкой гасит божественную искру, вложенную в нас создателем... Спасение души есть нечто священное. Нет греха непростительного – кроме греха нераскаянного, сказал Спаситель⁶⁵. Но расстояние от суда до эшафота слишком коротко, чтобы ты успел раскаяться. Ты не должен умереть на гильотине.

Грамотей был сражен... В первый раз в жизни он столкнулся с чем-то, что было страшнее смерти... Эти смутные опасения были ужасны...

Доктор-негр и Поножовщик смотрели на Родольфа с тревогой, они слушали, содрогаясь, его звучный, резкий голос, беспощадный, как нож гильотины; сердца их болезненно сжимались.

– Ансельм Дюренель, – продолжал Родольф, – ты не попадешь на каторгу... Ты не умрешь...

– Но чего же вы хотите от меня?.. Так, значит, вы посланы ко мне из преисподней?

– Послушай, – сказал Родольф, торжественно вставая, и властно, угрожающе поднял руку. – Ты преступно злоупотреблял своей силой... Я парализую ее... Сильнейшие дрожали перед тобой... Ты будешь дрожать перед слабейшими... Убийца... Ты погружал созданыя божии в вечную ночь... Вечный мрак наступит для тебя в этой жизни... Сегодня... Сейчас... Такая кара будет, наконец, под стать твоим преступлениям... Но, – продолжал Родольф с горестным сочувствием, – эта страшная кара откроет, по крайней мере, перед тобой безграничные возможности искупления... Я был бы так же преступен, как ты, если бы покарал тебя из чувства мести, какой бы справедливой она ни была... Твоя кара не будет бесплодна, как смерть... она должна послужить спасению твоей души, вместо того чтобы обречь тебя на вечные муки... Она поможет твоему искуплению... Если, желая обезвредить тебя... я навсегда лишаю тебя великолепия божьего мира... если погружаю в непроглядную ночь... в одиночество... в воспоминания о своих злодеяниях... то делаю это для того, чтобы ты беспрестанно созерцал весь ужас содеянного тобой... Да, навеки обособленный от внешнего мира, ты вынужден будешь всецело погрузиться в себя... и тогда, надеюсь, твой лоб, отмеченный бесчестием, покраснеет от стыда, твоя душа, очерстевшая от жестокости... растленная преступлением... проникнется чувством сострадания... До сих пор каждое твое слово было богохульством... Придет время, и каждое твое слово будет молитвою... Ты отважен и жесток, ибо чувствуешь свою силу... ты будешь кроток и смирен, ибо почувствуешь свою слабость... Твое сердце было глухо к раскаянию... настанет день, когда ты станешь оплакивать свои жертвы. Ты растлил ум, данный тебе богом, превратив его в оружие грабежа и убийства... Из человека ты стал хищным зверем... Придет день, и твой ум, очищенный угрызениями совести, пробудится благо-

⁶⁵ Исаак Сириин. Слово подвижническое. М., 1858, с. 12. (Примеч. перев.)

даря покаянию... Ты не берег то, что берегут даже звери, – своих самок и детенышей... После долгой жизни, посвященной искуплению грехов, ты обратишься с последней молитвой к богу, слезно моля его ниспослать тебе неожиданное счастье умереть в присутствии твоей жены и твоего сына.

Эти последние слова Родольф проговорил голосом взволнованным и грустным.

Ужас, охвативший было Грамотея, почти прошел... Он подумал, что Родольфу захотелось напугать его этим нравоучением, прежде чем закончить свою речь. Ободренный мягким тоном своего судьи, преступник все больше наглед, по мере того как проходил его страх.

– Черт возьми! – сказал он с грубым смехом. – Мы что, шарады разгадываем или присутствуем на уроке закона божия?

Врач-негр с опаской взглянул на Родольфа, ожидая его гневной вспышки.

Этого не случилось... Молодой человек с невыразимой печалью покачал головой и сказал врачу:

– Приступайте, Давид... И да покарает меня одного господь, если я совершу ошибку.

И Родольф закрыл лицо руками.

При этих словах врач позвонил.

Вошли двое мужчин, одетых во все черное. Доктор указал им рукой на дверь в соседнее помещение.

Они вкатили в него кресло с Грамотеем и связали его так, что он не мог пошевелиться. Голову они прикрутили к спинке кресла с помощью повязки, охватившей одновременно шею и плечи.

– Обвяжите его лоб платком и намертво прикрепите к креслу, а другим платком заткните ему рот, – распорядился Давид, не сходя с места.

– Теперь вы хотите перерезать мне глотку?.. Помилуйте!.. – взмолился Грамотей. – Помилуйте!.. И...

Из соседней комнаты доносился теперь лишь невнятный шепот.

Двое мужчин появились на пороге... и по знаку доктора вышли из зала.

– Монсеньор? – молвил в последний раз врач вопросительным тоном.

– Приступайте, Давид, – ответил Родольф, не меняя положения.

Давид медленно вошел в соседнюю комнату.

– Господин Родольф, мне страшно, – сказал побледневший Поножовщик дрожащим голосом. – Господин Родольф, скажите что-нибудь... Мне страшно... Или это сон?.. Что делают там с Грамотеем? Ничего не слышать... От этого мне еще страшнее.

Давид вышел из соседней комнаты; он был бледен, как бывают бледны негры. Белыми были его губы.

Двое мужчин снова вошли в залу.

– Прикатите сюда кресло.

Они повиновались.

– Выньте у него кляп.

Кляп был вынут.

– Вы что же, хотите подвергнуть меня пытке?.. – воскликнул Грамотей, и в голосе его прозвучало не страдание, а гнев. – Что это за забава колоть мне чем-то глаза?.. Мне было больно... И для чего вы потушили свет и там и здесь? Собираетесь мучить меня в темноте?

Последовала минута жуткого молчания.

– Вы слепы... – проговорил наконец Давид взволнованно.

– Неправда! Быть этого не может! Вы нарочно создали этот мрак!.. – вскричал разбойник, делая невероятные усилия, чтобы освободиться от пут.

– Развяжите его, пусть встанет, – распорядился Родольф.

Грамотея развязали.

Он быстро встал, сделал шаг, протянул вперед руки, снова упал в кресло и воздел руки к небу.

– Давид, дайте ему этот бумажник, – сказал Родольф.

Врач вложил в дрожащие руки Грамотея небольшой бумажник.

– В этом бумажнике достаточно денег, чтобы обеспечить тебе кров и хлеб до конца твоих дней в каком-нибудь уединенном месте. Теперь ты свободен... убирайся... и постарайся раскаяться... Господь милостив!

– Слеп! – проговорил Грамотей, машинально взяв бумажник.

– Откройте двери... Пусть уходит! – проговорил Родольф.

Двери с шумом распахнулись.

– Слеп! Слеп! Слеп!!! – твердил злодей, подавленный горем. – Боже мой, так это правда!

– Ты свободен, у тебя есть деньги, убирайся!

– Но я не могу уйти... Как вы хотите, чтобы я ушел? Я ничего не вижу, – воскликнул он в отчаянии. – Преступно злоупотреблять своей силой, чтобы...

– Преступно злоупотреблять своей силой! – повторил Родольф, голос которого прозвучал торжественно. – А что ты сделал со своей силой?

– О, лучше смерть... Да, я предпочел бы умереть! – воскликнул Грамотей. – От всех зависеть? Всего бояться? Ребенок и тот может теперь побить меня! Что делать? Боже мой! Боже мой! Что же делать?

– У тебя есть деньги.

– Их украдут у меня! – сказал разбойник.

– Их украдут у тебя. Вслушайся в эти слова!.. Ты произносишь их со страхом, ты, который столько раз воровал? Убирайся.

– Ради бога, – сказал умоляюще Грамотей, – пусть кто-нибудь проводит меня! Как я один пойду по улице?.. О, убейте меня! Прошу вас, сжальтесь... Убейте меня.

– Нет, придет день, и ты расскаешься.

– Никогда, никогда я не расскаюсь! – злобно вскричал Грамотей. – О, я отомщу! Поверьте... я отомщу!..

И, скрежеща зубами, он вскочил с кресла, угрожающе сжав кулаки.

Сделал шаг и споткнулся.

– Нет, нет, не могу!.. И однако, я такой сильный! Ах, как я жалок... Никто не пожалеет меня, никто.

И он заплакал.

Невозможно описать изумление, ужас Поножовщика во время этой трагической сцены: на его простом, грубом лице было написано сострадание. Он подошел к Родольфу и тихо сказал ему:

– Господин Родольф, он, возможно, получил то, что заслужил... Это был последний негодяй! Он и меня хотел убить; но теперь он слеп, он плачет. Дьявольщина! Мне жаль его... Он не знает, как уйти отсюда. Его могут раздавить на улице. Хотите, я отведу его куда-нибудь, где ему хоть нечего будет бояться?

– Хорошо... – сказал Родольф, тронутый великодушием Поножовщика, и пожал ему руку. – Хорошо, ступай...

Поножовщик подошел к Грамотею и положил ему руку на плечо.

Разбойник вздрогнул.

– Кто это трогает меня? – спросил он глухо.

– Я.

– Кто такой?

– Поножовщик.

– Ты тоже хочешь отомстить мне, да?

– Ты не знаешь, как выйти отсюда!.. Обопрись на мою руку... Я провожу тебя.

– Ты! Ты!

– Да, теперь мне жаль тебя, идем!

– Ты хочешь поставить мне ловушку?

– Ты прекрасно знаешь, что я не подлец... Я не злоупотребляю твоей бедой. Ну же, идем, на улице уже светло.

– Светло! А я никогда больше не увижу света! – вскричал Грамотей.

Не в силах выносить долее эту сцену, Родольф поспешно вышел из зала в сопровождении Давида, знаком приказав обоим слугам удалиться.

Поножовщик и Грамотей остались одни.

– Правда ли, что в бумажнике, который мне дали, есть деньги? – спросил разбойник после долгого молчания.

– Да, там по меньшей мере пять тысяч франков. С такими деньгами ты вполне можешь жить на полном пансионе, где-нибудь в тихом уголке, в деревне, до конца своих дней... Хочешь, я отведу тебя к Людоедке?

– Нет, она украдет мой бумажник.

– К Краснорукому?

– Он отравит меня, чтобы завладеть моими деньгами.

– Куда же ты хочешь, чтобы я отвел тебя?

– Не знаю. Ты-то не вор, Поножовщик. Вот что, хорошенько спрячь бумажник у меня под курткой, чтобы Сычиха не увидела его, не то она меня обчистит.

– Сычиха? Ее отнесли в больницу Божона. Сегодня ночью, отбиваясь от вас обоих, я покалечил ей ногу.

– Что же будет со мной? Господи, что же будет со мной из-за этой черной завесы, которая навсегда останется передо мной? А что, если я увижу на ней бледные, мертвые лица тех...

Он вздрогнул и глухо спросил у Поножовщика:

– Скажи, человек, которого я кокнул этой ночью, умер?

– Нет.

– Тем лучше.

И Грамотей некоторое время молчал; потом неожиданно воскликнул, подпрыгнув от ярости:

– И однако, Поножовщик, это ты все испортил, злодей!.. Без тебя я бы уколошил этого человека и унес бы деньги. Если меня ослепили, это тоже твоя вина, да, твоя вина!

– Не думай о том, что было, это вредно для тебя. Ну же, решайся, идешь ты или нет?.. Я устал, мне хочется спать. Я и так достаточно делов наделал. Завтра я возвращаюсь к своему подрядчику. Я отведу тебя, куда захочешь, и отправлюсь на боковую.

– Но я не знаю, куда мне идти. В мои меблированные комнаты... Я не смею... Придется сказать...

– Послушай, хочешь день или два пробыть в моей конуре? А я постараюсь подыскать тебе хороших людей, которые возьмут тебя к себе как инвалида. Да... в порту Святого Николая я знаю одного рабочего, его мать живет в Сен-Манде; она порядочная женщина, но живется ей несладко. Возможно, она могла бы взять тебя к себе... Идешь ты или нет?

– На тебя можно положиться, Поножовщик. Я не боюсь пойти к тебе со своими деньгами. Ты никогда не крал... ты не злой, ты великодушный.

– Ладно уж, довольно захваливать меня.

– Видишь ли, я благодарен тебе за то, что ты хочешь сделать для меня, Поножовщик. В тебе нет ненависти, злопамятства... – смиренно проговорил преступник, – ты лучше меня.

– Дьявольщина! Еще бы не лучше... Господин Родольф сказал, что у меня есть мужество.

– Но что это за человек? Он и не человек вовсе, – воскликнул Грамотей в новом приступе злобы и отчаяния. – Он палач! Чудовище!

Поножовщик пожал плечами.

– Ну как, идем, что ли?

– Мы пойдем к тебе, ведь так, Поножовщик?

– Да.

– Ты не затаил злобы против меня за эту ночь, поклянись мне в этом?

– Клянусь.

– И ты уверен, что он не умер... тот человек?

– Уверен.

– Одним все же будет меньше, – глухо проговорил преступник. И, опершись на руку Поножовщика, он покинул дом на аллее Вдов.

Часть вторая

Глава I. Лиль-Адан

Прошел месяц после описанных нами событий. Мы посетим теперь вместе с читателем городок Лиль-Адан, расположенный в живописной местности на берегу Уазы, вблизи большого леса.

В провинции мельчайшие факты становятся важными событиями. Недаром зевакам, гулявшим в то утро по церковной площади, не терпелось узнать, когда придет человек, купивший у вдовы Дюмон лучшую в городке мясную лавку со скотоприемным двором.

Новый владелец был, видимо, богачом, ибо он роскошно выкрасил и отделал лавку. Три недели день и ночь трудились там рабочие. Бронзовая с золотом решетка, закрывавшая вход в магазин, не препятствовала притоку свежего воздуха. По обеим ее сторонам высились массивные пилястры, увенчанные двумя крупными бычьими головами; на их золоченые рога опирался широкий антаблемент, предназначенный для вывески. Остальная часть этого двухэтажного дома была выкрашена в темно-серый свет, а решетчатые ставни – в светло-серый. Все работы были закончены за исключением установки вывески, которой нетерпеливо ожидали празднующиеся, дабы узнать фамилию преемника вдовы.

Наконец рабочие принесли большую вывеску, и любопытные прочли на ней следующие слова, начертанные золотом по черному фону: «Правдолюб-мясник».

Любопытство бездельников все же не было удовлетворено. Кто такой этот Правдолюб? Один из самых нетерпеливых горожан обратился к приказчику, парню с открытым и веселым лицом, который хлопотал в лавке, заканчивая последние приготовления.

На вопрос о его хозяине, г-не Правдолюбе, парень ответил, что еще не видал его, так как лавка была куплена по доверенности, но не сомневается, что патрон сделает все возможное, чтобы удовлетворить своих будущих покупателей, уважаемых жителей Лиль-Адана.

Эти любезные слова, сказанные с видом приветливым и радушным, да и нарядный вид лавки расположили любопытных в пользу г-на Правдолюба; кое-кто тут же обещал симпатичному парню стать клиентом его хозяина.

В этом доме со стороны Церковной улицы имелся еще обширный двор.

Через два часа после открытия лавки новенькая плетеная двуколка, запряженная холеным першероном, въехала во двор мясной; из экипажей вышли двое мужчин.

Один из них был Мэрф, бледный, но уже вполне оправившийся после нанесенной ему раны, второй – Поножовщик.

Рискуя впасть в банальность, мы скажем, что престиж костюма так велик, что Поножовщика – этого завсегдатая таверн Сите, трудно было узнать в новой, непривычной для него одежде. Такая же метаморфоза произошла и с его лицом: вместе с обносками он, казалось, сбросил и свой дикий, грубый, тревожный вид: когда он спокойно шел, положив руки в карманы длинного теплого редингота из касторина орехового цвета, уткнув свежевыбритый подбородок в широкий белый галстук с вышитыми уголками, всякий принял бы его за добропорядочного буржуа.

Мэрф привязал лошадь к железному кольцу, вделанному в стену, и сделал знак Поножовщику следовать за ним; они вошли в уютную низкую залу за лавкой, обставленную ореховой мебелью, оба окна которой выходили во двор, где лошадь нетерпеливо била копытом. Можно было подумать, что Мэрф находится у себя дома, ибо он отворил дверцу одного из шкафов и взял оттуда бутылку и стакан.

– Утро сегодня холодное, парень, не хотите ли выпить водки?

– Не в обиду будь вам сказано, господин Мэрф... я не стану пить.

– Отказываетесь?

– Да, я до того рад, а радость согревает человека. И еще я рад тому, что встретил вас...

Дело в том...

– Но в чем же?

– Вчера вы нашли меня в порту Святого Николая, где я для согрева лихо выгружал из воды бревна. Я не видал вас с той ночи... когда негр с белыми волосами выколол глаза Грамотею. Это первое, что он получил по заслугам, что правда, то правда... но... словом... Дьявольщина! Меня это зрелище перевернуло. А какое лицо было у Родольфа! У него всегда такой добродушный вид, а в ту минуту он меня испугал.

– Что же дальше?

– Итак, вы мне говорите: «Здравствуйте, Поножовщик». – «Здравствуйте, господин Мэрф. Значит, вы поправились?.. Тем лучше, дьявольщина, тем лучше. А как господин Родольф?» – «Ему пришлось уехать через несколько дней после того дела на аллее Вдов, и он забыл про вас, парень». – «Если так, – отвечаю я вам, – если господин Родольф позабыл меня, ей-богу, мне это очень горько».

– Я хотел сказать, мой милый, что он забыл вознаградить вас по заслугам; но он вас никогда не забудет.

– Эти ваши слова меня сразу подбодрили, господин Мэрф... Дьявольщина! Я-то уж наверняка его не забуду!.. Он мне сказал, что у меня есть честь и мужество... словом, молчок.

– К сожалению, парень, монсьеор уехал, не оставив никаких распоряжений на ваш счет; у меня же самого ничего нет, только то, что мне дает монсьеор: я не могу отблагодарить вас, как бы мне хотелось, за все, что вы сделали для меня.

– Полно, господин Мэрф, вы шутите.

– Но почему же, черт возьми, вы не вернулись на аллею Вдов после той трагической ночи? Монсьеор не уехал бы, не подумав о вас.

– Как вам сказать... Господин Родольф не позвал меня. Я решил, что он больше не нуждается во мне.

– Должны же вы были подумать, что ему хочется отблагодарить вас.

– Вы же сказали, что господин Родольф не забыл меня.

– Хорошо, хорошо, не будем больше говорить об этом. Но мне было нелегко отыскать вас... Так, значит, вы больше не ходите к Людоедке?

– Нет.

– Почему?

– Так уж, кой-какие мыслишки пришли мне в голову...

– В добрый час; но вернемся к тому, о чем вы говорили.

– К чему, господин Мэрф?

– Вы говорили: «Я доволен, что встретил вас, и еще доволен, быть может...»

– Вспомнил, господин Мэрф. Вчера, найдя меня у плотового сплава, вы сказали: «Послушайте, парень, я не богат, но я могу доставить вам место, где вам не придется так надрываться, как в порту, а зарабатывать вы будете четыре франка в день». – «Четыре франка в день... да здравствует хартия!» Я ушам своим не поверил: ведь это жалованье унтер-офицера. «Дело подходящее, господин Мэрф», – отвечаю я. Вы же говорите мне, что я не должен походить на бродягу, иначе испугаю хозяина, к которому вы меня ведете. «У меня нет другой одежды», – отвечаю я. «Идемте в «Храм вкуса», – говорите вы. Я иду за вами, выбираю у мамы Юбар все самое что ни на есть шикарное, вы даете мне денег в долг, и через четверть часа я разодет, как домовладелец или зубной врач. Вы мне назначаете свидание на сегодня, рано утром у ворот Сен-Дени; я нахожу вашу повозку, и вот мы здесь.

– Вы в чем-нибудь сомневаетесь?

– Видите ли, господин Мэрф, если человек хорошо одет, это портит его. И когда я вновь напялю на себя старую куртку и остальное тряпье, мне будет не по себе. Да и, кроме того... получать четыре франка в день вместо двух... кажется мне такой большой удачей, которая не может продолжаться; я предпочел бы спать всю жизнь на дрянном соломенном тюфяке в моей мебелирашке, чем проспать пять-шесть ночей в хорошей кровати. Вот какое у меня мнение.

– Оно не лишено основания. Но лучше всегда спать в хорошей кровати.

– Ясное дело, лучше есть хлеба, сколько влезет, чем подыхать с голоду. Что это? Так здесь, значит, мясная лавка? – спросил Поножовщик, слыша удары топора и заметив сквозь занавеску разрубленную бычью тушу.

– Да, мой милый; лавка принадлежит одному из моих друзей. Хотите осмотреть ее, пока лошадь отдыхает?

– Пожалуй, это напомнит мне молодость... только бойня в Монфоконе была дрянная, а убойным скотом служили мне старые клячи. Чудное дело! Имей я за душой немного денег, я из всех профессий выбрал бы только профессию мясника! Ездить на славной лошадке по ярмаркам, покупать там скотину, возвращаться домой, погреться у своего очага, если ты замерз, посушиться, если ты промок, увидеть свою хозяйку, славную толстую мамашу, свежую и веселую, с целой кучей ребятишек, которые обшаривают твои сумки в поисках гостинцев. А затем утром, на бойне, схватить за рога быка... в особенности если он злой, черт подери!.. Люблю злых быков... привязать за кольцо, вдею в ноздрю, убить, разделать на части, очистить... Дьявольщина! Вот чего бы мне хотелось, как хотелось Певунье съесть ячменный леденец, когда она была маленькая... Кстати, господин Мэрф... я не встречал ее больше у Людоедки, верно, господин Родольф вытащил ее оттуда. Знаете, он сделал доброе дело. Бедная девушка! Она не думала ни о чем дурном. Такая еще молоденькая! А после втянулась бы... Словом, господин Родольф хорошо поступил.

– Согласен с вами. Но не хочется ли вам осмотреть лавку, пока наша лошадь отдыхает?

Поножовщик и Мэрф вошли в лавку, затем в хлев, где стояли три великолепных быка и штук двадцать овец; затем осмотрели конюшню, каретный сарай, бойню, чердаки и подсобные помещения этого дома, порядок и чистота которого свидетельствовали о рачительном и богатом хозяине.

Когда они всюду побывали, за исключением второго этажа, Мэрф обратился с такими словами к Поножовщику:

– Признайтесь, что мой друг счастливчик. Этот дом и участок принадлежат ему, не считая тысячи экю оборотных средств, вложенных в торговлю. В довершение всего ему тридцать восемь лет от роду, силища, как у быка, железное здоровье и любовь к своей профессии. Приветливый и честный мальш, которого вы видели внизу, со знанием дела заменяет хозяина, когда тот закупает скот на ярмарке. Повторяю, разве мой друг не счастливчик?

– Конечно, господин Мэрф. Но что поделаешь? Есть люди счастливые и несчастные; стоит мне подумать, что я буду зарабатывать четыре франка в день, когда иные не зарабатывают и половины, а подчас и того меньше...

– Хотите подняться и осмотреть второй этаж?

– Охотно, господин Мэрф.

– Там вы познакомитесь с хозяином, который хочет вас нанять.

– С хозяином?

– Да.

– Почему вы не сказали мне этого раньше?

– Я все объясню вам в свое время.

– Погодите, – сказал Поножовщик с печальным и смущенным видом, задерживая Мэрфа, – послушайте, я должен сказать вам одну вещь... Быть может, господин Родольф не

говорил вам об этом... Но я ничего не должен скрывать от своего будущего хозяина... Пусть уж лучше узнает обо всем теперь, а не потом.

– В чем дело, что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать...

– Что именно?

– Что я бывший преступник... что я был на каторге... – проговорил Поножовщик глухим голосом.

– Да? – молвил Мэрф.

– Но я никогда никому не делал зла! – воскликнул Поножовщик. – И я скорее подохну с голоду, чем стану воровать, – прибавил он, опустив голову, – я убил... в приступе гнева... И это еще не все, – заметил он после паузы, – хозяева нипочем не наймут бывшего каторжника; они правы: не за такие заслуги дают свидетельство о добродетели. Это и помешало мне найти приличную работу, меня нанимали только в каком-нибудь порту для выгрузки плотового леса, ведь я говорил, когда нанимался на работу: «Дело обстоит так-то и так-то... Нужен я вам? Не нужен?» Пусть лучше сразу откажут, а не после, когда сами узнают... Я сказал все это для того, чтобы предупредить вас: я выложу всю правду хозяину. Вы знаете его: если он не возьмет меня после этого, избавьте меня от знакомства с ним, лучше я тут же уберусь восвояси.

– Идемте же, – сказал Мэрф.

Поножовщик последовал за Мэрфом; они поднялись по лестнице; одна из дверей открылась, и они оказались лицом к лицу с Родольфом.

– Дорогой Мэрф... оставь нас одних, – молвил Родольф.

Глава II. Вознаграждение

– Да здравствует хартия! Я чертовски рад видеть вас, господин Родольф, иначе говоря, монсеньор! – воскликнул Поножовщик.

Встреча с Родольфом искренне обрадовала его, ибо услуги, которые щедрый человек оказывает людям, в той же мере привязывают его к ним, как и услуги, которые он от них принимает.

– Здравствуйте, друг, я тоже счастлив вас видеть.

– Ну и шутник господин Мэрф! Он сказал мне, что вы в отъезде. Вот что, монсеньор...

– Зовите меня господином Родольфом, мне это больше по душе.

– Так вот, господин Родольф, простите, что я не зашел вас проведать после той ночи с Грамотеем... Я понимаю теперь, что был невежлив; но вы не в обиде на меня, правда?

– Прощаю вам этот промах, – проговорил Родольф, улыбаясь.

И, помолчав, спросил:

– Скажите, Мэрф показал вам этот дом?

– Да, господин Родольф; прекрасное жилое помещение, прекрасная лавка; все богато, ухожено. Кстати о богатстве... Кто теперь разбогател, так это я; господин Мэрф предложил мне заработок, и какой! Четыре франка в день!

– Я хочу предложить вам кое-что получше, мой милый.

– Лучше... Не в обиду будь вам сказано, это трудно сделать. Подумайте, четыре франка в день!

– Говорят вам, мое предложение лучше; ибо вам принадлежит этот дом, мясная лавка и тысяча экю наличными вот в этом бумажнике.

Поножовщик глупо улыбнулся, сплющил свою бобровую шапку между судорожно сжатыми коленями и не понял того, что ему сказал Родольф, хотя все было изложено очень ясно.

– Я понимаю ваше удивление, – продолжал Родольф с доброй улыбкой, – но повторяю еще раз, что этот дом и эти деньги принадлежат вам, они ваши.

Поножовщик побагровел, провел своей мозолистой рукой по вспотевшему лбу и пробормотал изменившимся голосом:

– О, так, значит... так, значит... это моя собственность.

– Да, ваша собственность, потому что я дарю все это вам! Понимаете? Вам...

Поножовщик заерзал на стуле, почесал затылок, откашлялся, опустил глаза и ничего не ответил. Он чувствовал, что мысли его разбегаются. Он прекрасно слышал то, что ему сказал Родольф, но как раз поэтому не мог поверить своим ушам. Между его беспросветным положением, его горькой нуждой и тем, что ему предлагал Родольф, зияла такая глубокая пропасть, что ее не могла заполнить даже огромная услуга, оказанная им Родольфу.

Не торопя той минуты, когда его подопечный все уразумеет, Родольф наслаждался тем, как был потрясен, ошеломлен Поножовщик привалившим ему счастьем.

Он видел с радостью, смешанной с глубокой печалью, что привычка к страданиям, к бедам столь велика у некоторых людей, что их разум отказывается допустить возможность иного, более светлого будущего, которое показалось бы очень многим не слишком завидной долей.

«Конечно, – думал он, – если, по примеру Прометея, человеку удастся иной раз похитить искру божественного огня, это бывает лишь тогда, когда он (да простится мне это богохульство) делает то, что надлежало бы делать иной раз самому провидению в назидание людям: доказывать добрым и злым, что существует вознаграждение для одних и кара для других».

Понаслаждавшись блаженной одурью Поножовщика, Родольф спросил:

– Так, значит, то, что я вам подарил, превзошло ваши ожидания?

– Монсеньор! – проговорил Поножовщик, внезапно вставая. – Вы предлагаете мне этот дом и много денег... чтобы соблазнить меня; но я не могу...

– Не можете? Чего именно? – удивленно спросил Родольф.

Лицо Поножовщика оживилось, его стыд прошел; он сказал твердо:

– Я знаю, вы предлагаете мне столько денег не для того, чтобы склонить меня к воровству. Впрочем, я никогда в жизни не крал... Скорее всего для того, чтобы я кого-нибудь убил... но я по горло сыт кошмарами о сержанте! – закончил он мрачно.

– Несчастные люди! – с горечью воскликнул Родольф. – Неужели сострадание так редко встречалось им в жизни, что они видят в щедром даре лишь плату за преступление?

Обратившись затем к Поножовщику, он сказал ему мягким, ласковым тоном:

– Вы плохо думаете обо мне... вы ошибаетесь, я не потребую от вас ничего бесчестного. Я дарю вам лишь то, что вы заслужили.

– Заслужил? Я? – вскричал Поножовщик, сомнения которого возобновились. – Но чем же?

– Сейчас все объясню: с детских лет вы не имели понятия ни о добре, ни о зле и были предоставлены своему необузданному нраву; вы провели пятнадцать лет на каторге с отъявленными негодяями, голодали, холодали. Затем вы вышли на свободу, но из-за клейма каторжника и недоверия честных людей вам пришлось по-прежнему жить среди подонков общества; несмотря на это, вы остались честным человеком и угрызения совести за содеянное преступление пережили наказание, наложенное на вас судом.

Этот благородный и ясный язык стал новым источником удивления для Поножовщика. Он смотрел на Родольфа с уважением, смешанным со страхом и благодарностью. И все же никак не мог поверить его словам.

– Как, господин Родольф, из-за того, что вы меня поколотили, из-за того, что я посчитал вас своим братом рабочим (ведь вы говорите на арго, как наш брат) и рассказал вам свою жизнь за стаканом вина, а после этого помешал утонуть... Вы... как же это так? Словом, я... получаю дом... деньги, становлюсь... как бы буржуа... Послушайте, господин Родольф, говорю вам еще раз: такого не бывает.

– Посчитав меня своим братом рабочим, вы рассказали мне свою жизнь попросту, без притворства, не скрывая того, что в ней было преступного и благородного. У меня создалось мнение о вас... хорошее мнение, и мне угодно вас вознаградить.

– Но, господин Родольф, это же невозможно. Нет... сколько есть на свете бедняков рабочих, которые честно прожили свою жизнь, и...

– Знаю, и я, быть может, сделал для некоторых из них больше, чем сделал для вас. Но если человек, честно живущий среди честных и уважающих его людей, заслуживает внимания и поддержки, то человек, остающийся честным среди самых что ни на есть отъявленных мерзавцев, заслуживает особого внимания, поддержки. Впрочем, это еще не все: вы спасли мне жизнь, вы спасли также жизнь Мэрфу, моему самому близкому другу. Итак, то, что я делаю для вас, подсказано мне и личной благодарностью, и желанием вытащить из грязи хорошего, сильного человека, который заблудился, но не погиб... И это еще не все.

– Что же я еще такого сделал, господин Родольф?

Родольф дружески взял его за руку.

– Исполненный сострадания к несчастью человека, который незадолго до этого хотел вас убить, вы предложили ему свою поддержку, вы даже приютили его в своем убогом жилище, в тупике Парижской Божьей Матери, номер девять.

– Вы знаете, где я живу, господин Родольф?

– Если вы забываете оказанные мне услуги, я их не забываю. Когда вы вышли от меня, за вами последовал мой человек; он видел, как вы вошли к себе вместе с Грамотеем.

– Но господин Мэрф говорил мне, что вы не знаете, где я живу.

– Мне хотелось подвергнуть вас последнему испытанию, узнать, обладаете ли вы бескорытием, свойственным щедрым натурам. И в самом деле, после вашего благородного поступка вы вернулись на свою каждодневную тяжелую работу, ничего не попросив, ни на что не надеясь, не сказав ни единого горького слова в осуждение моей кажущейся неблагодарности, ведь я никак не отозвался на все, что вы сделали для меня; и когда вчера господин Мэрф предложил вам занятие, немного лучше оплачиваемое, чем ваша обычная работа, вы приняли его предложение с радостью, с признательностью.

– Послушайте, господин Родольф, если говорить о зарплате, то четыре франка в день – это все же четыре франка. А что до услуги, которую я вам оказал, то скорее всего не вам, а мне придется вас благодарить.

– Почему?

– Да, да, господин Родольф, – проговорил он печально, – каких только мыслей я не набрался... с тех пор как узнал вас и вы мне сказали два слова: «Ты сохранил еще мужество и честь». Диву даюсь, сколько я думаю теперь. Странное дело, что два слова, всего два словечка сделали со мной такое... И то правда, бросьте в землю два крохотных зернышка пшеницы, и из них вырастут большущие колосья.

Это правильное и чуть ли не поэтическое сравнение удивило Родольфа. Действительно, два слова, но два слова редкой силы воздействия для тех, кто их понимает, внезапно пробудили в этой волевой натуре добрые, бескорыстные чувства, находившиеся лишь в зачаточном состоянии.

– Видите ли, монсеньор, – продолжал Поножовщик, – я спас господина Родольфа и отчасти господина Мэрфа, что правда, то правда; я могу спасти сотни, тысячи других людей, но это не вернет к жизни тех...

И Поножовщик, помрачнев, опустил голову.

– Такие угрызения совести благотворны, но доброе дело непременно зачтется грешнику.

– А затем, многое из того, что вы сказали Грамотею об убийцах, вполне могло бы подойти и мне.

Желая изменить ход мыслей Поножовщика, Родольф спросил:

– Это вы поместили Грамотея в Сен-Манде?

– Да, господин Родольф... Он попросил меня обменять его золото на банковые билеты и купить ему широкий пояс... Мы положили в него все это богатство, я зашил пояс на нем – и в добрый путь! Теперь он живет на тридцать су в день на полном пансионе у хороших людей, которые на эти деньги могут немного побаловать себя.

– Я попрошу вас еще об одной услуге, приятель.

– Говорите, господин Родольф.

– Через несколько дней вы съездите к нему... с этим документом, дающим право на пожизненное пребывание в заведении под названием «Добродетельные бедняки». Он внесет туда четыре тысячи пятьсот франков, и его примут навечно по предъявлении этой бумаги: все договорено и улажено. Я подумал, что для него это наилучший выход. Таким образом он обеспечит себе до конца дней крышу над головой и кусок хлеба и сможет думать только о раскаянии. Я жалею даже, что не отдал ему тотчас же этого документа вместо денег, которые могут быть растратчены или украдены; но он внушал мне такое омерзение, что мне хотелось как можно скорее избавиться от его присутствия. Вы предложите ему место в этом убежище и отвезете его туда. Если он откажется, мы придумаем что-нибудь другое. Итак, вы согласны съездить к нему?

– Я с радостью оказал бы вам эту, как вы говорите, услугу, господин Родольф, но не знаю, буду ли я свободен. Господин Мэрф устроил меня на работу к одному своему приятелю за четыре франка в день.

Родольф с удивлением взглянул на Поножовщика.

– Что? А ваша лавка? Ваш дом?

– Полно, господин Родольф, будет вам смеяться над беднягой. Вы и так всласть позабавились, чтобы испытать меня, как вы говорите. И ваш дом, и ваша лавка все та же старая песенка! Вы сказали себе: «Посмотрим, окажется ли этот скот Поножовщик таким болваном, чтобы поверить, будто...» Довольно, довольно, господин Родольф. Вы весельчак... Потешились надо мной, и баста.

– Но я только что все вам объяснил...

– Да, чтобы ваши рассказы были похожи на правду... Знаем мы эти фокусы... И ей-богу, я чуть было не попался на удочку. Надо же быть таким остолопом!

– Да ты с ума сошел, парень!

– Нет, нет, быть этого не может, монсеньор. Возьмем, к примеру, господина Мэрфа. Хотя его предложение и показалось мне чертовски странным... подумать только, четыре франка в день! Да уж куда ни шло, этому можно было поверить; но дом, лавка, куча денег... Ну и потеха! Дьявольщина, ну и потеха!

И он расхохотался грубо, громко, от всего сердца.

– Выслушайте же меня...

– Скажу вам положила руку на сердце, монсеньор, что сначала вы задумали мне голову; потом я сказал себе: «Таких молодцов, как господин Родольф, поискать, он, верно, хочет послать меня с поручением к *пекарю*, а чтобы я не испугался запаха серы, он надумал меня подкупить». Но, пораскинув мозгами, я понял, что нехорошо так думать о вас, и догадался, что это простая шутка; ведь если бы я был таким дураком и поверил бы, будто вы дарите мне за здорово живешь целое состояние, вы сразу подумали бы: «Эх, Поножовщик, мне, право, жаль тебя... уж не свихнулся ли ты, бедняга?»

Родольф был в затруднении, не зная, как ему убедить Поножовщика. Он сказал ему серьезным, внушительным, чуть ли не суровым тоном:

– Я никогда не шучу, когда речь идет о благодарности и о сочувствии, которое вызывает у меня великодушный поступок... Я уже сказал вам, что и дом этот, и деньги ваши, я вам их дарю. Но вы не хотите мне верить, придется дать вам клятву; итак, клянусь честью, что все это принадлежит вам и что мой подарок объясняется причинами, которые я вам уже сообщил.

Когда Поножовщик услышал решительный, исполненный достоинства голос Родольфа и увидел его серьезное лицо, он перестал сомневаться. Несколько секунд он молча смотрел на него, потом сказал без всякой напыщенности, но с чувством глубокого волнения:

– Я верю, монсеньор, и очень вам благодарен. Такой простой человек, как я, не умеет красно говорить. Повторяю, что очень благодарен вам. Единственное, что я могу обещать, – это никогда не отказывать в помощи несчастным: голод и нищета походят на Людоедок, которые завербовали несчастную Певунью, а как только человек окажется в сточной яме, не у всякого достанет хватки, чтобы выбраться оттуда.

– Вы не могли лучше отблагодарить меня, приятель... понимаете? Вы найдете вот здесь, в секретере, купчую на дом, приобретенную для вас на имя Правдолюба.

– Правдолюба?

– У вас нет фамилии, и я даю вам вот эту, придуманную мной. Она послужит хорошим предзнаменованием, и уверен, вы будете достойны ее.

– Обещаю, монсеньор.

– Мужайтесь, приятель! Вы можете помочь мне в одном добром деле.

– Я, монсеньор?

– В глазах общества вы будете живым и благотворным примером. Счастливая перемена, ниспосланная вам богом, покажет иным низко павшим людям, что они не должны терять надежды: они еще могут подняться, если раскаются и сохранят в чистоте иные добрые качества. Видя вас счастливым, ибо, совершив преступление, претерпев за него страшное нака-

зание, вы остались честным, смелым, бескорыстным, те, что оступились, постараются стать лучше. Я хочу, чтобы ничто из вашего прошлого не осталось скрытым; лучше самому во всем признаться. Итак, мы, не откладывая, сходим с вами к мэру этой коммуны; я навел справки о нем: он человек достойный и может содействовать моему доброму делу. Я назову себя и буду вашим поручителем; а чтобы сразу же установить хорошие отношения между вами и двумя людьми, представляющими в нравственном отношении общество этого городка, я обязуюсь в течение двух лет ежемесячно вносить тысячу франков в пользу бедных и стану регулярно посылать вам эти деньги, об употреблении которых вы договоритесь с мэром и священником. Если один из них не решится поначалу вступить с вами в деловые отношения, его нерешительность скоро пройдет под влиянием нужд благотворительности. Как только ваши отношения с ними наладятся, от вас будет зависеть приобрести уважение этих достойных людей, и вы, конечно, преуспеете в этом.

– Понимаю, монсеньор. Не мне одному, Поножовщику, вы делаете это добро, а также несчастным, которые вроде меня оказались в нищете, совершили преступление и, по вашим словам, сохранили в беде мужество и честь. Не в обиду будь вам сказано, то же бывает и в армии: когда батальон сражался не на жизнь, а на смерть, нельзя же всем навесить ордена: их всего четыре на сотню храбрецов; так вот те, кто не получил ордена, говорят себе: «Ладно, получу в другой раз», и в другой раз они опять бьются насмерть.

Родольф слушал своего подопечного с огромной радостью. Вернув этому человеку самоуважение, подняв его в собственных глазах, он сразу пробудил в нем мысли, исполненные здравого смысла, достоинства и даже чуткости.

– То, что вы сказали, Правдолюб, – заметил Родольф, – еще раз доказывает мне вашу признательность, и я благодарен вам за нее.

– Тем лучше, монсеньор, мне было бы очень трудно доказать ее иначе.

– А теперь посмотрим ваш дом; мой старый друг Мэрф уже доставил себе это удовольствие, теперь очередь за мной.

Родольф с Поножовщиком спустились на первый этаж.

В ту минуту, когда они входили во двор, приказчик почтительно обратился к Поножовщику:

– Поскольку вы хозяин лавки, господин Правдолюб, я хочу сказать вам, что товар наш нарасхват. Кончились отбивные котлеты и окорока, надо поскорее зарезать одну или двух овец.

– Черт возьми! Вот превосходный случай проявить ваши таланты, – сказал Родольф Поножовщику, – и я хочу первый воспользоваться вашей стряпней... От пребывания на воздухе мне захотелось есть, и я с удовольствием попробую ваши отбивные, хотя боюсь, что они будут жестковаты.

– Вы очень добры, господин Родольф, – радостно проговорил Поножовщик, – вы льстите мне, уж для вас-то я постараюсь.

– Так я отведу двух овец на бойню, хозяин? – спросил его приказчик.

– Да, и принеси мне нож с хорошо наточенным, но не слишком тонким лезвием и крепким тупым краем.

– Будьте покойны, хозяин, у меня есть как раз то, что вам требуется... Взгляните, таким ножом побриться можно.

– Дьявольщина! – воскликнул Поножовщик.

Он поспешно снял редингот и закатал рукава рубашки, обнажив мускулистые, как у атлета, руки.

– Это напоминает мне молодость и бойню, господин Родольф; вот увидите, как я справлюсь с работой... Черт возьми, мне не терпится взяться за дело! Нож, где твой нож, парень? Хорош, ты понимаешь в этом толк. Вот это лезвие! Никто не хочет его испробовать?... Дьявольщина! С таким орудием я справился бы с бешеным быком.

И Поножовщик поднял нож; его глаза налились кровью; в нем пробуждались зверские инстинкты; жажда крови давала знать о себе со страшной, пугающей силой.

Бойня находилась во дворе.

Это было сводчатое помещение, темное, с плиточным полом и узким отверстием вверху для освещения.

Приказчик довел обеих овец до двери бойни.

– Привязать их, хозяин?

– Привязать? Дьявольщина! А эти колени на что? Будь покоен. Они послужат мне лучше всяких тисков. Давай сюда овцу и возвращайся в лавку.

Родольф, оставшийся наедине с Поножовщиком, смотрел на него внимательно, с тревогой.

– Ну же, за работу, – сказал он.

– Дело не затянется, дьявольщина! Посмотрите, как я орудую ножом. Руки у меня горят, в ушах шумит... в висках как молотком стучит, кровь приливает к голове... Пооди сюда, милочка, чтобы я мог чикнуть тебя ножом!

Глаза его блеснули дикой радостью, он уже не замечал присутствия Родольфа и, как перышко подняв овцу, мигом отнес ее на бойню.

В эту минуту он походил на волка, который уволок в логово свою добычу.

Родольф последовал за ним, закрыл за собой дверь и прислонился к ее створке.

В бойне было темно; яркий свет, падающий сверху, освещал, как на картинах Рембрандта, грубое лицо Поножовщика, его бесцветные волосы и рыжие бакенбарды. Согнувшись пополам, держа в зубах длинный нож, блеснувший в полумраке, он притянул к себе овцу, зажал между коленями, поднял ее голову, вытянул шею и зарезал.

Когда овца почувствовала прикосновение ножа, она тихо, жалобно заблеяла, взглянула угасающим взглядом на Поножовщика, и две струи крови ударили ему в лицо.

Эта жалоба, этот взгляд, эта кровь, стекавшая по нему, произвели ужасное впечатление на Поножовщика. Нож выпал у него из рук, окровавленное побелевшее лицо исказилось, глаза округлились, волосы стали дыбом; с ужасом отступив назад, он глухо проговорил:

– О, сержант, сержант!

Родольф подбежал к нему.

– Очнись, парень.

– Здесь... здесь... сержант... – повторил Поножовщик, отступая назад.

Его неподвижный, дикий взгляд был устремлен в одну точку, пальцем он указывал на какое-то скрытое от других привидение. Затем, испустив нечеловеческий крик, словно призрак дотронулся до него, он убежал в глубину бойни, в ее самый темный угол и там налег грудью и руками на стену, будто хотел ее свалить, чтобы укрыться от какого-то страшного призрака.

– О, сержант!.. Сержант!.. Сержант!.. – повторял он хриплым, натужным голосом.

Глава III. Отъезд

Благодаря заботам Мэрфа и Родольфа, которые с большим трудом успокоили Поножовщика, тот окончательно пришел в себя после долгого приступа.

Он находился наедине с Родольфом в одной из комнат второго этажа мясной лавки.

– Монсеньор, – сказал он подавленно, – вы были очень добры ко мне... Но, видите ли, я готов влачить еще более горемычную жизнь, чем до сих пор, но принять ваше предложение не могу...

– Подумайте... все же.

– Видите ли, монсеньор, когда я услышал предсмертное блеяние несчастной беззащитной овцы... когда почувствовал, как ее кровь брызнула мне в лицо... кровь горячая, словно бы живая... О, вы не знаете, что это такое... Я снова увидел свой сон... сержанта и молоденьких солдатиков, которых я убивал ножом... они не защищались и, умирая, смотрели на меня так кротко... так кротко... словно жалели меня!.. О монсеньор! От этого можно с ума сойти!..

И бедняга судорожно закрыл лицо руками.

– Полно, успокойтесь.

– Простите меня, монсеньор, но я не смогу больше выносить вид крови, ножа... Они то и дело будут напоминать мне те страшные кошмары, а ведь я уже стал их забывать... Резать каждый день бедных, беззащитных животных... Видеть их кровь у себя на руках, на ногах... О нет, нет, не могу... Лучше мне ослепнуть, чем заниматься таким ремеслом.

Невозможно описать жест, интонацию, выражение лица Поножовщика, произносившего эти слова.

Родольф был глубоко тронут. Его радовало впечатление, произведенное видом крови на его подопечного.

В течение нескольких минут инстинкт дикого зверя, жажда крови возобладали в душе Поножовщика; но угрызения совести все же одержали победу над инстинктом. Это было прекрасно, в этом заключался великий урок.

Надо сказать в похвалу Родольфу, что он не терял веры в Поножовщика. Его воля, а не случай вызвали сцену на бойне.

– Простите, монсеньор, – робко проговорил Поножовщик, – я очень плохо отплатил за вашу доброту... но...

– Как раз напротив... вы исполнили мое заветное желание... Признаться, я не был уверен, что обнаружу у вас столь священный ужас, столь мучительные терзания совести.

– И что же, монсеньор?

– Выслушайте меня, – сказал Родольф, – я выбрал для вас профессию мясника, потому что ваши вкусы, ваши наклонности влекли вас к ней.

– Увы, это чистая правда, монсеньор... Без того, что вам известно, такая работа донельзя обрадовала бы меня... Я только что говорил об этом господину Мэрфу.

– Я все это предвидел... Вот почему, мой бедный Поножовщик, так удачно прозванный мной Правдолюбом, если бы вы приняли то, что я предложил вам, а вы могли это сделать, не потеряв моего уважения, все, что здесь находится, стало бы вашей собственностью. Таким образом я заплатил бы вам свой священный долг... изменил бы к лучшему ваше тяжелое положение, создал бы в вашем лице наглядный, спасительный пример... и продолжал бы следить за вашей жизнью. Но если бы, напротив, кровь, которую вы собрались пролить, напомнила бы вам о содеянном преступлении, если бы невольное отвращение, вызванное ее видом, доказало бы, что угрызения совести еще живы в глубине вашей души, мои виды на вас изменились бы, ибо предложенная мной профессия стала бы для вас ежедневной пыткой.

– О, это истинная правда, господин Родольф, – страшной пыткой.

– Выслушайте теперь мое новое предложение. Полагаю, вы примете его, ибо я действовал не вслепую, а хорошо зная ваш характер. Один мой знакомец, у которого много владений в Алжире, уступил мне для вас (остается лишь подписать купчую) обширную скотоводческую ферму. Прилегающие к ней земли весьма плодородны и прекрасно возделаны, и, хотя я уверен в вашей смелости и в потребности проявлять ее, я приобрел эту ферму условно, ибо она расположена на границе Атласа... Вам придется быть не только землевладельцем, но и солдатом и жить в поместье, превращенном в редут. Тот человек, который временно заменяет там хозяйина, введет вас в курс дела; говорят, он человек честный и преданный; вы оставите его у себя до тех пор, пока вам потребуются его услуги. Обосновавшись в Алжире, вы сможете не только увеличивать свой достаток благодаря вашему трудолюбию и сметке, но и оказывать подлинные услуги родине, ибо вы человек отважный. Колонисты сформированы во вспомогательные воинские отряды. Величина вашего поместья, количество арендаторов, зависящих от него солдат сделают вас командиром довольно значительного отряда. Дисциплинированный вашими усилиями, возбужденный вашей храбростью, этот отряд будет крайне полезен для защиты владений, разбросанных по равнине. Повторяю, я выбрал для вас это занятие, несмотря на связанную с ним опасность или, точнее, благодаря этой опасности, ибо после того как вы раскаялись и почти искупили содеянное преступление, восстановление вашего доброго имени будет еще возвышеннее, полнее, героичнее, если при свойственном вам бесстрашии оно завершится среди опасностей непокоренной страны, а не среди мирной жизни маленького городка. Я не сразу предложил вам уехать в Алжир, так как был почти уверен, что мое первое предложение вам подойдет; да и, кроме того, с этой поездкой связано столько риска, что мне не хотелось подвергать вас ему, не предоставив возможности выбора... Время еще есть, и, если ферма в Алжире вам не подходит, скажите об этом откровенно, и мы поищем что-нибудь другое... В противном случае завтра все будет подписано: я вручу вам купчую на ваше поместье... и вы завтра же отправитесь в Алжир с человеком, выбранным прежним хозяином фермы, чтобы помочь вам вступить в ее владение... По приезде вы получите арендную плату за два предыдущих года; ваши земли приносили до сих пор три тысячи в год; работайте, улучшайте их, будьте энергичны, бдительны, и вы без труда повысите свое благосостояние и благосостояние арендаторов, которым вы всегда сможете прийти на выручку; я не сомневаюсь, что вы останетесь отзывчивым и щедрым и запомните, что богатство обязывает помогать людям... Хотя я и буду вдали от вас, но не потеряю вас из виду. Я никогда не забуду, что мы с моим лучшим другом обязаны вам жизнью. Единственное доказательство расположения и благодарности, о котором я прошу вас, – это поскорее научиться читать и писать, чтобы вы могли неукоснительно раз в неделю извещать меня о своих делах, а в случае, если вам потребуется совет или поддержка, обратиться ко мне одному.

Бесполезно говорить о радости, о восторге Поножовщика. Читатель хорошо знаком с его характером и наклонностями и без труда поймет, что ни одно предложение не подошло бы ему лучше этого.

В самом деле, на следующий же день Поножовщик уехал в Алжир.

Глава IV. Поиски

Дом Родольфа на аллее Вдов не был обычной его резиденцией. Он жил в одном из самых больших особняков Сен-Жерменского предместья в конце улицы Плюме.

По приезде в Париж он пожелал избежать почестей, связанных с его высоким рангом, и сохранил инкогнито, приказав своему поверенному при французском дворе объявить, что его господин нанесет все официальные визиты под именем графа Дюрена.

Благодаря этому обычаю, принятому при дворах властителей северных стран, принц крови путешествует столь же свободно и приятно, как богатый незнатный человек, не связанный тяготами представительства.

Несмотря на свое инкогнито, Родольф жил, как это и подобает, на широкую ногу. Мы введем читателя в его особняк на улице Плюме на следующий день после отъезда Поножовщика в Алжир. Только что пробило десять утра.

Посреди обширной приемной, расположенной в первом этаже, перед кабинетом Родольфа, сидел за письменным столом Мэрф и запечатывал депеши.

Привратник, одетый во все черное, с серебряной цепью на шее, распахнул обе створки двери в приемную и возвестил:

– Его сиятельство барон фон Граун!

Не прерывая своего занятия, Мэрф помахал барону рукой.

– Господин поверенный в делах, – проговорил он с улыбкой, – располагайтесь, пожалуйста, у камина, еще немного, и я буду в вашем распоряжении.

– Сэр Вальтер Мэрф, личный секретарь его высочества... жду ваших приказаний, – весело ответил г-н фон Граун и шуточно отвесил глубокий, почтительный поклон достойному эсквайру.

Барону лет пятьдесят; у него редкие седеющие волосы, завитые и припудренные. Слегка выступающий вперед подбородок наполовину скрыт муслиновым, сильно накрахмаленным галстуком ослепительной белизны. Выражение лица говорит о тонком уме, манеры исполнены изящества, за стеклами очков в золотой оправе поблескивает лукавый, пронизательный взгляд. Как того требует этикет, барон одет, несмотря на утренний час, во фрак с яркой полосатой ленточкой в петлице. Он положил шляпу на кресло и подошел к камину, а Мэрф продолжал свою работу.

– Вероятно, его высочество провел бессонную ночь, дорогой Мэрф, если судить по объему вашей корреспонденции.

– Монсеньор лег спать в шесть утра. Он написал, между прочим, письмо на восьми страницах маршалу Герольштейна и продиктовал мне не менее длинное письмо председателю государственного совета.

– Надлежит ли мне дожидаться пробуждения его высочества, чтобы сообщить ему собранные мною сведения?

– Нет, дорогой барон... Монсеньор велел, чтобы его разбудили не раньше двух-трех часов пополудни: он желает, чтобы вы послали сегодня утром эти депеши со специальным курьером, не дожидаясь понедельника. Вы изложите мне ваши сведения, а я передам их монсеньору, как только он проснется: таковы его распоряжения.

– Превосходно! Мне кажется, что его высочество будет доволен собранной мной информацией. Надеюсь, дорогой Мэрф, что срочная посылка курьера не предвещает ничего дурного. В последних депешах, которые я имел честь передать его высочеству...

– Сообщалось, что там все идет хорошо, и монсеньор пожелал выразить как можно скорее свое удовлетворение председателю государственного совета и маршалу Герольштейна; вот почему он распорядился о срочной отправке курьера.

– Узнаю характер его высочества... если бы речь шла о выговоре, он не стал бы так торопиться; впрочем, в стране нет ни малейших разногласий по поводу твердого и искусного ведения дел нашими временными правителями. Да иначе и быть не может, – продолжал барон, улыбаясь, – часы были не только хороши, но и превосходно отрегулированы нашим повелителем, оставалось лишь аккуратно заводить их, чтобы благодаря своему неизменному и надежному ходу они ежедневно указывали всем подданным употребление каждого дня и часа. Порядок в государстве всегда вызывает уверенность и спокойствие народа; этим и объясняются добрые новости, которые вы сообщили мне.

– А здесь ничего нового, дорогой барон? Ничто не всплыло наружу? Наши таинственные похождения...

– Остались в тайне. Со времени прибытия монсеньора в Париж здесь привыкли видеть его очень редко и лишь у немногих особ, которых он попросил ему представить; все полагают, что он любит уединение и часто совершает загородные прогулки. Его высочество поступил весьма остроумно, отделившись на время от камергера и адъютанта, привезенных из Германии.

– Они были бы для нас весьма неудобными свидетелями.

– Итак, за исключением графини Сары Мак-Грегор, ее брата, Тома Сейтона оф Холсбери, и Чарльза, их верного раба, никто не знает о переодеваниях его высочества; впрочем, ни графиня, ни ее брат, ни Чарльз не заинтересованы в том, чтобы выдать эту тайну.

– Ах, дорогой барон, – промолвил Мэрф, улыбаясь, – какое несчастье, что эта проклятая графиня овдовела!

– Ведь она вышла замуж не то в тысяча восемьсот двадцать седьмом, не то в двадцать восьмом году?

– Да, в тысяча восемьсот двадцать седьмом, вскоре после смерти этой бедной крошки, которой было бы теперь лет шестнадцать-семнадцать; монсеньор никогда не упоминает о ней, хотя и постоянно ее оплакивает.

– Это тем более естественно, что его недолгий брак был бездетным.

– И знаете, дорогой барон, помимо жалости, которую внушает монсеньору Певунья, его интерес к ней объясняется прежде всего тем, что дочери, о потере которой он так горько жалеет (одновременно ненавидя ее мать), было бы теперь столько же лет, сколько этой несчастной девушке. Я прекрасно понял это.

– В самом деле, есть что-то роковое в том, что эта Сара, от которой мы считали себя избавленными, снова оказалась свободной ровно через полтора года после того, как его высочество потерял свою жену, лучшую из всех супругов. Я уверен, графиня считает это двойное вдовство знамением судьбы.

– И ее безрассудные надежды возродились, более страстные, чем когда-либо; ей известно, однако, что монсеньор питает к ней глубочайшую и вполне заслуженную ненависть. Разве не она явилась причиной... Ах, барон, – воскликнул Мэрф, не докончив фразы, – эта женщина всем приносит несчастье... Дай-то бог, чтобы она не навлекла на нас новых бед!

– Разве она не бессильна теперь, дорогой Мэрф? Прежде она имела на монсеньора то влияние, которое всегда имеет ловкая интриганка на молодого человека, полюбившего в первый раз, особенно при известных нам обстоятельствах; но влияние этой особы было уничтожено ее недостойными махинациями и, главное, воспоминанием о вызванной ею непоправимой беде.

– Прошу вас, дорогой Граун, говорите тише, – сказал Мэрф. – Увы, наступил зловещий для нас месяц январь, и мы приближаемся к тринадцатому числу – дате столь же зловещей; я всегда опасаюсь за монсеньора, когда наступает эта страшная годовщина.

– Однако если даже великий грех подлежит прощению, то монсеньор давно искупил его.

– Умоляю, дорогой Граун, не надо вспоминать об этом, иначе я весь день буду сам не свой.

– Итак, по-моему, попытки графини Сары абсурдны, ибо смерть бедной крошки, о которой вы только что говорили, разорвала последнюю нить, которая могла бы еще привязывать монсеньора к этой женщине; она безумна, если упорствует в своих надеждах.

– Да, но это опасная сумасшедшая. И, как вам известно, ее брат неукоснительно разделяет ее честолюбивые бредни, хотя в настоящее время у этой милой парочки столько же причин для разочарования, сколько их было для надежды полтора года тому назад.

– А сколько несчастий вызвал тогда аббат Полидори, этот нечестивец, своим преступным попустительством.

– Кстати об этом прохвосте. Я слышал, что аббат уже год или два живет в Париже, где он либо бедствует, либо занимается какими-нибудь грязными делишками.

– Какой крах для человека столь образованного, умного, одаренного!

– И известного, кроме того, своей необычайной порочностью... Дай-то бог, чтобы он не встретился с графиней! Союз этих дурных людей был бы весьма опасен.

– Повторяю, дорогой Мэрф, интересы самой графини, как бы безрассудно ни было ее честолюбие, помешают ей воспользоваться авантюристическими наклонностями монсеньора; она не отважится на столь неблагоприятный поступок.

– Я тоже надеюсь на это; хотя только случай помешал ей сделать какое-то, по всей вероятности, отвратительное предложение Грамотею, мерзкому злодею, который в настоящее время, полностью обезвреженный, живет в неизвестности, быть может, преисполненный раскаяния, у славных крестьян в деревне Сен-Манде. Увы! Я уверен, что монсеньор решил на такое страшное наказание, чтобы отомстить за меня этому негодяю, рискуя поставить себя в весьма щекотливое положение.

– Щекотливое! Нет, нет, дорогой Мэрф; вот как, по-моему, обстоит дело: беглый каторжник, закоренелый убийца, проникает к вам в дом и ударяет вас кинжалом; вы можете его убить в порядке самозащиты или отправить на эшафот; в обоих случаях этому негодяю не избежать смерти; а вместо того чтобы убить злодея или отдать его в руки палача, вы прибегаете к суровому, но справедливому наказанию и тем самым лишаете его возможности причинять вред обществу. Кто осмелится порицать вас за это? Неужели вас могут привлечь к суду из-за отпетаго негодяя и осудить за то, что вы сделали меньше, чем дозволено законом, и только лишили зрения того, кого имели право убить? Подумайте, если в порядке самозащиты или мести за явный адюльтер общество признает за мной право на жизнь и смерть ближнего, право чудовищное, бесконтрольное, не подлежащее обжалованию, превращающее меня в судью и палача, то неужели я не могу заменить иной карой смертную казнь, к которой мне дозволяется прибегнуть безнаказанно? И в особенности... в особенности когда речь идет об известном нам с вами злодее? Ибо вопрос заключается именно в этом. Я оставляю в стороне ранг монсеньора, одного из владетельных князей Германского союза. Я знаю, с точки зрения права, знатность не имеет значения; однако в жизни существует фактическая неприкосновенность; давайте представим себе, что против монсеньора возбуждено судебное дело, сколько добрых поступков будет свидетельствовать в его пользу! Сколько дотоле неизвестных вспомоществований, милостей с его стороны выявится в ходе судебного разбирательства! Повторяю, если бы столь странный процесс начался в суде, как вы полагаете, чем бы он кончился?

– Монсеньор говорил мне не раз: он примет обвинительный приговор, не воспользовавшись неприкосновенностью, которую мог бы обеспечить ему присущий ему высокий ранг. Но кто предаст огласке этот печальный случай? Вам известна молчаливость Давида и четырех слуг-венгров из дома на аллее Вдов. Поножовщик, облагодетельствованный монсеньором, не скажет ни одного слова из боязни скомпрометировать себя. Перед своим отъездом в Алжир он поклялся мне хранить полное молчание на этот счет. А сам преступник прекрасно понимает, что пожаловаться на его высочество – значит сложить голову на плахе.

– Наконец, никто из нас троих – монсеньора, вас и меня – не проговорится, не так ли? Хотя эта тайна известна нескольким лицам, она будет свято сохранена. В крайнем случае можно опасаться лишь небольших неприятностей, но при разбирательстве этого странного дела, дорогой Мэрф, выявится столько благородных деяний, что обвинительный приговор обернется триумфом для его высочества.

– Вы вполне успокоили меня. Но не вы ли говорили, что узнали интересные вещи из писем, найденных у Грамотея, а также из признаний, которые сделала Сычиха, когда лежала в больнице с переломом ноги; кстати, эта мерзавка уже вышла оттуда.

– Вот эти сведения, – сказал барон, вынимая из кармана какую-то бумагу. – Они касаются поисков, предпринятых, чтобы установить происхождение девушки по прозвищу Певунья и узнать новый адрес Франсуа Жермена, сына Грамотея.

– Не прочтете ли вы мне эти заметки, дорогой Граун? Мне известны намерения монсеньора, и я сразу пойму, удовлетворят ли его собранные вами сведения. Вы по-прежнему довольны своим агентом?

– О, это ценнейший человек, умный, ловкий, скромный. Иной раз мне даже приходится умерять его пыл; как вам известно, его высочество желает лично заняться некоторыми делами.

– И вашему агенту до сих пор неизвестно участие монсеньора во всем этом?

– Он ровно ничего не знает об этом. Мое положение дипломата служит превосходным предлогом для тех розысков, которые я ему поручаю. У господина Бадино (так зовут нашего агента) много житейской сметки и широкие, явные и тайные, связи почти во всех слоях общества; в свое время он был адвокатом, но ему пришлось продать свою контору из-за всяких подозрительных махинаций; однако у него сохранились весьма точные сведения о капитале и положении своих прежних клиентов; он знает множество тайн и нагло похваляется тем, что торговал ими; два или три раза он богател и разорялся на разных аферах и теперь пользуется слишком дурной славой, чтобы заняться новыми спекуляциями; он прибегает к не совсем законным средствам, чтобы прожить, и напоминает мне Фигаро; послушать его весьма любопытно. Он принадлежит душой тем, кто ему платит, а обманывать нас не в его интересах; впрочем, я устроил за ним тайную слежку: нет никаких оснований остерегаться его.

– Да и сведения, которые он собрал для нас, оказались весьма точными.

– Господин Бадино по-своему честен, и уверяю вас, дорогой Мэрф: тип он чрезвычайно оригинальный; странная жизнь, подобная его жизни, встречается только в Париже и возможна только там. Он очень позабавил бы его высочество, если бы всякие отношения между ними не были нам вредны.

– Может быть, увеличить оплату услуг господина Бадино, как по-вашему?

– Пятьсот франков в месяц плюс накладные расходы, достигающие примерно той же суммы, оплата, по-моему, достаточная; он как будто доволен – дальше будет видно.

– И он не стыдится своего ремесла?

– Он-то? Напротив, скорее гордится им; принося мне свои отчеты, он не преминет напустить на себя важный, я сказал бы даже, дипломатический вид; ибо этот пройдоха притворяется, будто принимает всерьез доверенные ему государственные дела и восхищается тайными связями, которые существуют между частными интересами и судьбами империй. Иной раз у него хватает наглости сказать мне: «Сколько сложностей в управлении государством, неизвестных обычным людям. Кто бы мог подумать, что заметки, которые я приношу вам, ваше сиятельство, имеют отношение к европейским делам!»

– Поверьте, прохвосты вечно стараются представить в розовом свете свои низкие поступки; это льстит их самолюбию. Но вернемся к вашим записям, дорогой барон.

– Вот они, почти в точности составленные со слов господина Бадино.

– Слушаю вас.

И барон прочел ему следующие строки:

«ЗАПИСИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛИЛИИ-МАРИИ.

В начале тысяча восемьсот двадцать седьмого года человек по имени Пьер Турнемин, ныне отбывающий наказание на Рошфорской каторге как фальшивомонетчик, предложил некоей мешанке по фамилии Жерве, прозванной Сычихой, взять к себе на воспитание девочку в возрасте пяти-шести лет за единовременное вознаграждение в сумме тысячи франков».

– Увы, дорогой барон, – сказал Мэрф, прерывая своего собеседника, – тысяча восемьсот двадцать седьмой год... ведь как раз в этом году монсеньор узнал о смерти несчастной девочки, которую он до сих пор горько оплакивает... По этой причине и по многим другим этот год был роковым для моего повелителя.

– Счастливые годы весьма редки, мой бедный друг. Но разрешите мне продолжить чтение: «По заключении упомянутой сделки девочка пробыла у этой женщины два года, а затем сбежала неизвестно куда из-за дурного с ней обращения. Сычиха ничего не знала о ней в течение нескольких лет, когда месяца полтора тому назад увидела ее в одном из кабаков Сите. Девочка, ставшая к тому времени взрослой девушкой, была известна под прозвищем Певуньи. Вскоре после этой встречи вышеупомянутый Турнемин, с которым Грамотей познакомился на Рошфорской каторге, переслал Краснорукому (тайному и постоянному посреднику каторжан, отбывающих наказание или выпущенных на волю) подробное письмо, относящееся к девочке, некогда вверенной попечению мешанки Жерве, прозванной Сычихой. Как следует из этого письма и из заявлений самой Сычихи, некая госпожа Серафен, экономка нотариуса по имени Жак Ферран, поручила Турнемину подыскать ей женщину, которая согласилась бы за тысячу франков взять на себя заботу о девочке пяти или шести лет, от которой желали отделаться.

Сычиха приняла это предложение.

Посылая эти сведения Краснорукому, Турнемин преследовал следующую цель: потребовать через третье лицо у госпожи Серафен денег, угрожая в случае отказа разгласить это давно забытое дело. Оказалось, что госпожа Серафен лишь посредница никому не известных людей.

Краснорукий поручил хранить вышеуказанное письмо Сычихе, недавней сообщнице Грамотея, принимавшей участие в его преступлениях; этим и объясняется, что письмо оказалось в руках злодея и что во время своей встречи с Певуньей в кабаке «Белый кролик» Сычиха, желая помучить ее, сказала: «Твои родители нашлись, но ты ничего не узнаешь о них».

Теперь надо было выяснить, насколько правдиво письмо Турнемина о девочке, некогда приведенной им к Сычихе. Были наведены справки о госпоже Серафен и о нотариусе Жаке Ферране. Оба они действительно существуют. Нотариус живет на Пешеходной улице, сорок один; он слывет человеком суровым, набожным, во всяком случае, его часто видят в церкви; в делах он отличается излишней пунктуальностью и даже придирчивостью; бережливость его граничит со скупостью; госпожа Серафен по-прежнему служит у него экономкой.

Жак Ферран, будучи бедняком, купил нотариальную контору за триста пятьдесят тысяч франков. Деньги на покупку были ему даны под солидную гарантию господином Шарлем Робером, штабным офицером городской полиции, красивым молодым человеком, пользующимся большим успехом в обществе. Он делит с нотариусом доходы от его конторы, которые оцениваются в пятьдесят тысяч франков, не принимая, разумеется, ни малейшего участия в нотариальных делах. Злые языки утверждают, будто удачные спекуляции и игра на бирже так обогатили нотариуса, что он в состоянии выплатить свой долг господину Шарлю Роберу; но господин Жак Ферран пользуется такой хорошей репутацией, что его доброжелатели считают эти слухи грязной клеветой. Итак, госпожа Серафен, экономка этого святого человека, располагает, по видимому, ценными сведениями о происхождении Певуньи».

– Превосходно, дорогой барон! – воскликнул Мэрф. – В заявлениях Турнемина есть видимость правды. Быть может, с помощью нотариуса мы сумеем отыскать родителей этой бедной девочки. А что, справки о сыне Грамотея так же хороши?

– Пожалуй, хотя и менее подробны...

– Право, ваш Бадино сущее сокровище.

– Как видно, Краснорукий – главная пружина всего этого дела. Господин Бадино (а у него, видимо, имеются связи с полицией) порекомендовал нам Краснорукого, служившего посредником многих каторжан еще до того, как монсеньор предпринял первые шаги, чтобы разыскать сына госпожи Жорж, несчастной жены этого мерзавца Грамотея.

– Очевидно, так оно и есть; и, отправляясь в логово Краснорукого на Бобовой улице, номер тринадцать, монсеньор встретил там Поножовщика и Певунью. Его высочество непременно пожелал воспользоваться случаем, чтобы посетить гнусные тамошние притоны в надежде вызволить из грязи каких-нибудь горемык; предчувствие не обмануло его; но ценой каких опасностей, боже мой!

– Опасностей, которые вы мужественно разделили с ним, дорогой Мэрф...

– Недаром я состою угольщиком при особе его высочества, – ответил, улыбаясь, эсквайр.

– Скажите лучше, бесстрашным телохранителем, мой достойный друг. Но говорить о вашей смелости и преданности значило бы повторять избитые истины... Итак, я продолжаю свой отчет... Вот записи о Франсуа Жермене, сыне госпожи Жорж и Грамотея, иными словами – Дюренеля.

Глава V. Сведения о Франсуа Жермене

Барон фон Граун продолжал:

– «Около полутора лет тому назад молодой человек по имени Франсуа Жермен прибыл в Париж из Нанта, где он служил в банке «Ноэль и компания».

Как следует из признаний Грамотея и из нескольких найденных у него писем, он поручил своего сына сообщнику, чтобы тот воспитал его для выполнения преступных замыслов шайки; настало время, и негодяй воспитатель открыл этот мерзкий заговор юноше, предложив ему способствовать подделке банкнот и ограблению банка «Ноэль», где служил Франсуа Жермен.

Этот последний возмущенно отверг сделанное ему предложение; но, не желая выдавать своего воспитателя, он написал анонимное письмо директору банка о готовящемся заговоре и тайно покинул Нант, чтобы избежать мести тех, кто попытался сделать его орудием и сообщником готовящихся преступлений.

Узнав о бегстве Жермена, негодяи приехали в Париж, где они, свидевшись с Красноруким, стали разыскивать сына Грамотея, видимо, с самыми зловещими намерениями, ибо юноше были известны их планы. После долгих поисков им удалось узнать его адрес, но было слишком поздно: встретив невзначай того, кто пытался его совратить, он догадался о том, что привело этого человека в Париж, и неожиданно съехал с квартиры. Таким образом сын Грамотея еще раз ускользнул от своих преследователей.

Однако полтора месяца тому назад им удалось узнать, что он живет на улице Тампль, номер семнадцать. Как-то вечером, возвращаясь домой, он едва не попал в расставленную ему ловушку. (Грамотей скрыл это обстоятельство от монсеньора.)

Жермен догадался, от кого исходит этот удар, покинул свою квартиру и снова скрылся. Поиски находились на этой стадии, когда Грамотей был наказан за свои преступления.

И как раз тогда поиски Жермена были снова предприняты по приказанию монсеньора.

Вот их результат:

Франсуа Жермен прожил около трех месяцев на улице Тампль, в доме номер семнадцать, доме чрезвычайно любопытном как по нравам, так и по занятиям большинства своих жильцов. Жермена там очень любили за услужливость, за веселый и открытый нрав. Хотя юноша жил, видимо, на весьма скромный доход или жалованье, он с трогательной заботливостью отнесся к неимущему семейству, ютившемуся в мансарде этого дома. Справки, наведенные на улице Тампль о новом адресе Франсуа Жермена и о его занятиях, ничего не дали; предполагают, что он служил в какой-нибудь конторе или торговой фирме, ибо обычно уходил утром и возвращался около десяти часов вечера.

Где теперь поселился молодой человек, должна знать некая девушка из того же дома; это очень хорошенькая гризетка, по прозвищу Хохотушка, состоявшая, по-видимому, в любовной связи с Жерменом. Она живет рядом с комнатой, которую занимал Жермен; после его отъезда комната сдается внаем. Все эти сведения были добыты под предлогом, что явившийся туда человек желал бы снять ее».

– Хохотушка? – неожиданно воскликнул Мэрф, который, казалось, силится что-то припомнить. – Хохотушка? Мне знакомо это имя.

– Что я слышу, сэр Вальтер Мэрф, – воскликнул, смеясь, барон, – неужели такой достойный и уважаемый отец семейства, как вы, знаком с гризетками? Неужели это прозвище не ново для вашего слуха? Как не стыдно! Фу! Фу!

– Черт возьми! Монсеньор свел меня с такими странными людьми, что вы не вправе удивляться этому знакомству, барон. Но погодите, погодите... Да, теперь... я вспомнил: рассказывая мне историю Певуньи, монсеньор не мог удержаться от смеха при этом нелепом прозвище. Насколько мне помнится, так звали одну из подруг по заключению бедной Лилии-Мариин.

– Так вот, в настоящее время Хохотушка может оказать нам неоценимую услугу. Итак, я заканчиваю свой доклад: «По всей вероятности, было бы небесполезно снять свободную комнату в доме на улице Тампль. Однако у нас нет приказа продолжать начатое расследование; если судить по некоторым словам, оброненным привратницей, имеются все основания считать, что в этом доме можно узнать при содействии Хохотушки достоверные сведения о сыне Грамотея, кроме того, монсеньор получил бы возможность наблюдать там нравы, занятия и, главное, беды, о существовании которых он даже не подозревает».

Глава VI. Маркиз д'Арвиль

– Как видите, дорогой Мэрф, – сказал барон фон Граун, закончив чтение отчета и вручая его эсквайру, – след родителей Певунии надо искать у нотариуса Жака Феррана, а о теперешнем адресе Франсуа Жермена расспросить Хохотушку. По-моему, дела наши не так уж плохи, когда знаешь, где надо искать то... что ищешь.

– Несомненно, барон; кроме того, монсеньор найдет, я уверен, богатую пищу для наблюдений в доме, о котором идет речь. Но это еще не все: удалось ли вам навести справки о маркизе д'Арвиле?

– Да, по крайней мере, в том, что касается денежных дел, опасения его высочества безосновательны. Господин Бадино утверждает – а я считаю его человеком хорошо осведомленным, – что никогда еще материальное благополучие маркиза не было прочнее, а его дела в лучшем порядке.

– Не допытываясь причины глубокого горя, которое подтачивает здоровье господина д'Арвиля, монсеньор приписал его денежным затруднениям; в этом случае он пришел бы ему на помощь с известной вам редкой щепетильностью... но, поскольку его высочество ошибся в своих предположениях, ему придется, к своему великому огорчению, ибо он очень любит господина д'Арвиля, отказаться от попыток проникнуть в его тайну.

– Чувства его высочества легко понять. Он всегда помнит, скольким был обязан его батюшка отцу маркиза. Известно ли вам, дорогой Мэрф, что в тысяча восемьсот пятнадцатом году, когда основался Германский союз, отцу его высочества грозило отторжение от этого союза из-за его нескрываемой привязанности к Наполеону? Старый маркиз д'Арвиль, ныне покойный, оказал в этих условиях огромную услугу отцу нашего повелителя, воспользовавшись дружбой, которой его удостаивал император Александр, когда маркиз жил эмигрантом в России; ссылка на эту дружбу оказала огромное влияние на прения в конгрессе, где дебатировались интересы владетельных князей Германского союза.

– Подумайте, барон, как часто один благородный поступок влечет за собой другой; в девяносто втором году отец маркиза выслан; он находит в Германии у отца монсеньора самое радушное гостеприимство; после трехлетнего пребывания при нашем дворе он уезжает в Россию, заслуживает там царскую милость и с помощью этой милости оказывает, в свою очередь, большое одолжение князю, так благородно поступившему с ним когда-то.

– Не в тысяча ли восемьсот пятнадцатом году во время пребывания старого маркиза д'Арвиля при дворе тогдашнего великого герцога и зародилась дружба между монсеньором и молодым д'Арвилем?

– Да, у них остались самые приятные воспоминания об этой счастливой поре их юности. Это еще не все: монсеньор относится с таким пиететом к памяти человека, который оказал некогда дружескую услугу его батюшке, что относится с величайшим благоволением ко всем членам этого семейства... Таким образом, постоянные щедроты, которыми монсеньор осыпает несчастную госпожу Жорж, объясняются не столько ее бедами и добродетелью, сколько принадлежностью к этому семейству.

– Вы говорите о госпоже Жорж, о жене Дюренеля! Каторжника, прозванного Грамотеем! – вскричал барон.

– Да, и она же мать Франсуа Жермена, которого мы разыскиваем и, надеюсь, найдем...

– И родственница господина д'Арвиля?

– И двоюродная сестра его матери и ее близкая подруга. Престарелый маркиз всегда питал к госпоже Жорж самые дружеские чувства.

– Но как могло семейство д'Арвиль согласиться на ее брак с этим мерзавцем Дюренелем, дорогой Мэрф?

– Отец этой несчастной женщины, господин де Леньи, управитель Лангедока, был до революции богатым человеком; в грозные революционные годы ему удалось избежать изгнания, а как только в стране наступило успокоение, он стал подумывать о выдаче замуж своей дочери. Дюренель попросил ее руки; он принадлежал к известной парламентской семье, был богат и до поры до времени умело скрывал свои дурные наклонности; его предложение было принято. Вскоре после женитьбы выявились скрытые пороки этого человека: мот, страстный игрок, водивший компанию с отъявленными негодяями, он сделал свою жену очень несчастной. Она не жаловалась, скрывала свои огорчения, а когда отец ее умер, удалилась в свое поместье и стала управлять им, чтобы немного рассеяться. Спустя некоторое время господин Дюренель растратил их общее состояние на азартные игры и распутство; поместье было продано. Тогда госпожа Дюренель уехала вместе с сыном к своей родственнице маркизе д'Арвиль, которую она любила как сестру. Пустив все по ветру, Дюренель был вынужден искать средства к существованию и стал преступником – фальшивомонетчиком, вором, убийцей, был приговорен навечно к каторжным работам, выкрал сына у своей жены и поручил его воспитание такому же мерзавцу, как и он сам. Остальное вам известно.

– Но как удалось монсеньору отыскать госпожу Дюренель?

– Когда Дюренель был отправлен на каторгу, его жена, впав в нищету, приняла фамилию Жорж.

– Неужели в столь тяжелом положении она не обратилась к госпоже д'Арвиль, своей родственнице и лучшей подруге?

– Маркиза умерла до приговора, вынесенного Дюренелю, а из-за необоримого чувства стыда госпожа Жорж не посмела просить о помощи своих родных, которые, конечно, не отказали бы ей после стольких мужественно перенесенных бед... Однажды, доведенная до крайности нищетой и болезнью, она отважилась молить о помощи господина д'Арвиля, сына своей лучшей подруги... Таким образом монсеньор и встретился с ней.

– Как же это произошло?

– Монсеньор отправился однажды к господину д'Арвилю; впереди него шла бедно одетая женщина, бледная, больная, подавленная. Подойдя к двери особняка д'Арвиля, она остановилась, долго не решалась позвонить, затем резко повернула обратно, словно у нее не хватило смелости сделать это. Этот поступок весьма удивил монсеньора, и, заинтригованный видом этой женщины, выражением кротости и горя на ее лице, он последовал за ней. Она вошла в неказистый на вид дом. Монсеньор разузнал о ней; все отзывы были в ее пользу. Она вынуждена была трудиться, но недостаток работы и расшатанное здоровье довели ее до полной нищеты. На следующий день мы отправились к ней вместе с монсеньором. Мы пришли вовремя, чтобы помешать ей умереть с голоду.

После долгой болезни, во время которой она пользовалась самым заботливым уходом, госпожа Жорж в порыве благодарности поведала свою жизнь монсеньору, не зная ни имени его, ни ранга, поведала также о приговоре, вынесенном Дюренелю, и о похищении своего сына.

– И таким образом его высочество узнал, что госпожа Жорж принадлежит к семейству д'Арвилей?

– Да, после чего монсеньор, который сумел оценить достоинства госпожи Жорж, уговорил ее уехать из Парижа на букевальскую ферму, где она и находится по сей день вместе с Певуньей. В этом тихом убежище она нашла если не счастье, то спокойствие и смогла отвлечься от своих несчастий, взявшись за управление фермой... Монсеньор скрыл от господина д'Арвиля, что он вызволил его родственницу из беды, отчасти щадя большое самолюбие госпожи Жорж, отчасти потому, что он не любит распространяться о своих добрых делах.

– Понимаю, что монсеньор вдвойне заинтересован в том, чтобы разыскать сына этой бедной женщины.

– Можете теперь судить, дорогой барон, о привязанности его высочества ко всему этому семейству и о том, как его огорчает грусть молодого маркиза, у которого имеются все основания чувствовать себя счастливым.

– В самом деле, чего недостает господину д'Арвилю? У него есть все, чего может пожелать человек: знатность, богатство, молодость; жена его прелестна, столь же скромна, сколь красива.

– Вы правы, вот почему, отчаявшись выяснить причину черной меланхолии господина д'Арвиля, его высочество велел навести справки, о которых мы только что говорили; тревога и участие монсеньора глубоко трогают его друга, но он по-прежнему хранит молчание о снедающем его горе. Быть может, у него какие-нибудь любовные огорчения?

– Вряд ли, говорят, что он очень влюблен в свою жену, которая не дает ему ни малейшего повода для ревности. Я часто встречаю ее в свете; она имеет большой успех, как всякая молодая и прелестная женщина, но ее репутация безупречна.

– Да, маркиз живет душа в душу со своей женой... Между ними произошла лишь небольшая размолвка по поводу графини Сары Мак-Грегор!

– Так, значит, эти дамы знакомы между собой?

– По несчастной случайности, отец маркиза д'Арвиля познакомился лет семнадцать-восемнадцать тому назад с Сарой Сейтон оф Холсбери и ее братом Томом во время их пребывания в Париже, где они пользовались покровительством жены английского посла. Узнав, что брат с сестрой отправляются в Германию, старый маркиз дал им рекомендательное письмо к отцу монсеньора, с которым он постоянно переписывался. Увы, дорогой Граун, не будь этого письма, удалось бы избежать многих бед, ибо монсеньор вряд ли познакомился бы с этой женщиной. Наконец по возвращении в Париж графиня Сара, осведомленная о дружеских чувствах его высочества к молодому маркизу, добилась приглашения в особняк д'Арвиля с явной надеждой встретить там монсеньора, ибо она преследует его с таким же упорством, с каким он бежит от нее.

– Подумать только, переодеться мужчиной, чтобы перехватить его высочество в дебрях Сите!.. Такая мысль могла прийти в голову только графине Саре.

– Быть может, она надеялась тронуть своей настойчивостью монсеньора и заставить его согласиться на встречу, от которой он всегда отказывался. Но вернемся к госпоже д'Арвиль; ее муж, с которым монсеньор говорил о Саре в надлежащем тоне, посоветовал своей жене видеться с ней как можно реже; но молодая маркиза, польщенная лицемерной лестью графини, не послушалась советов господина д'Арвиля. Произошла небольшая размолвка, которая, впрочем, не могла вызвать мрачную подавленность маркиза.

– О женщины... женщины! Дорогой Мэрф! Я очень сожалею, что госпожа д'Арвиль поддерживает знакомство с Сарой. Молодая и прелестная маркиза может только проиграть от дружбы с этой ведьмой.

– Кстати, по поводу ведьм, – заметил Мэрф, – вот депеша о Сесили, недостойной супруге достойного Давида.

– Говоря между нами, дорогой Мэрф, эта предприимчивая метиска⁶⁶ вполне заслуживает ужасного наказания, которому ее муж, наш милый доктор-негр, подверг Грамотея по приказанию монсеньора. Из-за нее тоже пролилась кровь, а ее извращенность не поддается описанию.

– И несмотря на это, как же она хороша, как соблазнительна! Порочная душа при очаровательной внешности всегда вызывает у меня глубочайшее отвращение. В этом отношении Сесили вдвойне омерзительна; но в последней депеше отменяется приказание, отданное монсеньором по поводу этой презренной женщины.

– Как раз наоборот.

⁶⁶ Креолка, отцом которой был представитель белой расы, а матерью – рабыня-квартеронка.

– И монсеньор по-прежнему желает устроить ей побег из крепости, куда ее заточили навечно?

– Да.

– И чтобы ее так называемый похититель привез ее во Францию? В Париж?

– Да, и более того, депеша содержит приказ насколько возможно ускорить побег и приезд Сесили, с тем чтобы она прибыла сюда самое позднее через две недели.

– Ничего не понимаю... монсеньор всегда относился к ней с явным омерзением.

– Его чувство к ней еще усилилось, если это только возможно.

– И все же он призывает ее к себе! Впрочем, будет нетрудно, по мнению его высочества, добиться высылки Сесили, если она не выполнит того, что от нее требуется. А покамест сыну тюремного смотрителя крепости Герольштейна отдан приказ похитить эту женщину, притворившись, что он от нее без ума; ему предоставляются наиболее благоприятные условия для выполнения этого плана. С великой радостью воспользовавшись подвернувшейся возможностью, метиска последует за своим предполагаемым похитителем и приедет в Париж; пусть так, но она все же остается преступницей, ведь судимость с нее не снята; она всего лишь сбежавшая узница, и я вполне могу, как только это потребуется монсеньору, потребовать и добиться ее высылки.

– Поживем – увидим, дорогой барон; я попрошу вас также затребовать с обратной почтой заверенную копию брачного свидетельства Давида, ибо он женился в княжеском дворце в качестве врача, принадлежавшего к штату монсеньора.

– Запросив это свидетельство с сегодняшней почтой, мы получим его самое позднее через неделю.

– Когда Давид узнал от монсеньора о скором прибытии Сесили, его как громом поразило; затем он воскликнул: «Надеюсь, что ваше высочество не заставит меня встретиться с этой мегерой?» – «Будьте спокойны, – ответил монсеньор, – вы ее не увидите... Но она нужна мне для некоторых моих планов». Огромная тяжесть спала с души Давида. Я уверен, однако, что этот приезд пробудит в нем много горестных воспоминаний.

– Бедный негр!.. Он способен до сих пор любить ее. Говорят, она прехорошенькая!

– Прелестна... Чересчур прелестна... Только безжалостный взгляд креола может обнаружить в ней женщину смешанной крови по едва заметному темному ободку, который оттеняет розовые ноготки этой метиски; нежным цветом лица, белизной кожи, золотистым оттенком каштановых волос она может поспорить с нашими яркими северными красавицами.

– Я был во Франции, когда монсеньор вернулся из Америки с Давидом и Сесили; мне известно, что с тех пор этот превосходный человек привязан к его высочеству узами глубочайшей благодарности, но я до сих пор не знаю, вследствие каких перипетий он оказался на службе нашего повелителя и каким образом стал мужем Сесили, которую я увидел впервые через год после ее замужества; одному богу известно, какую бурю возмущения она вызывала тогда!..

– Могу сообщить вам то, что вас интересует, дорогой барон; я сопровождал монсеньора во время его путешествия в Америку, где он спас Давида и метиску от поистине страшной участи.

– Вы бесконечно любезны, дорогой Мэрф, я слушаю вас, – ответил барон.

Глава VII. История Давида и Сесили

– Мистер Уиллис, богатый американский плантатор во Флориде, – начал свой рассказ Мэрф, – заметил в одном из своих молодых черных рабов по имени Давид, работавшем в лазарете его поместья, выдающийся ум, глубокое и действенное сострадание к больным, за которыми он ухаживал с любовью, выполняя все предписания врачей, а также его необычайный интерес к растениям, применяемым в медицине; в самом деле, не имея специального образования, он сумел классифицировать местную флору и составить нечто вроде гербария. Плантация мистера Уиллиса, расположенная на берегу моря, находилась в пятнадцати – двадцати лье от ближайшего города; тамошние врачи – люди довольно невежественные, к тому же они неохотно приезжали на вызовы из-за больших расстояний и плохих дорог. Чтобы устранить столь серьезное неудобство в стране, подверженной эпидемиям, и иметь под рукой умелого врача, колонист решил послать Давида во Францию для изучения медицины и, в частности, хирургии. Молодой негр с восторгом принял это предложение и уехал в Париж, причем плантатор оплатил все расходы по его обучению. После восьми лет упорного труда Давид с блеском окончил медицинский факультет и вернулся в Америку, чтобы поставить приобретенные им знания на службу своему господину.

– Да, но, ступив на французскую землю, Давид мог считать себя свободным и фактически и юридически.

– Конечно, но Давид человек редкой честности; он обещал мистеру Уиллису вернуться и вернулся, так как не считал своей собственностью знания, приобретенные на чужие деньги. В довершение всего он надеялся облегчить моральные и физические страдания рабов, своих прежних товарищей по несчастью. Он намеревался стать не только врачом, но их поддержкой и заступником перед колонистом.

– В самом деле, надо обладать редкой честностью и святой любовью к своим соплеменникам, чтобы вернуться к хозяину после восьмилетнего пребывания в Париже... среди самой демократической молодежи Европы.

– По этой черте характера... вы можете судить о человеке. Итак, он вновь во Флориде и, надо сказать, пользуется уважением и приязнью мистера Уиллиса, живет под его крышей, ест за его столом; впрочем, этот колонист, тупой, злой и чувственный деспот, как и все креолы, счел себя весьма щедрым, положив Давиду шестьсот франков жалованья. По истечении нескольких месяцев в поместье вспыхивает страшная эпидемия тифа, заболевает и господин Уиллис, но вскоре выздоравливает благодаря превосходному уходу Давида; из тридцати тяжело заболевших негров умирают только двое. Мистер Уиллис приходит в восторг от услуг Давида и повышает его жалованье до тысячи двухсот франков. Врач-негр чувствовал себя счастливейшим человеком на свете, собратья смотрели на него как на провидение; в самом деле, хотя и с большим трудом, он добился небольшого улучшения их участи и надеялся достигнуть большего в будущем; а пока что он наставлял, утешал этих обездоленных людей, призывал их к смирению, говорил им о боге, который заботится как о неграх, так и о белых; о другом мире, в котором живут не хозяева и рабы, а праведники и грешники; об иной жизни... жизни вечной, где рабы уже не были бы скотом, вещью хозяев, где угнетенные на земле люди чувствовали бы себя такими счастливыми, что молились за своих палачей... Что еще сказать вам? Этим страдальцам, которые, в отличие от других людей, считали с горькой радостью дни, которые приближают их к могиле, этим горемыкам, надеявшимся только на небытие, Давид обещал вечную свободу, после чего цепи казались им менее тяжкими, труд менее утомительным. Давид был их кумиром. Около года прошло без особых изменений. Среди наиболее хорошеньких рабынь плантатора выделялась метиска пятнадцати лет по имени Сесили. Мистеру Уиллису приглянулась эта девушка; быть может, впервые в жизни деспот натолкнулся на отказ, на упорное

сопротивление. Сесили любила... любила Давида, который во время последней эпидемии с редкой самоотверженностью лечил ее и спас от смерти; после выздоровления девушка отдала Давиду первое целомудренное чувство, невольно уплатив ему таким образом долг благодарности. Давид, как человек щепетильный, никому не говорил о своем счастье: он ждал шестнадцатилетия Сесили, когда он сможет жениться на ней.

Ничего не зная об этой любви, господин Уиллис величественно бросил платок хорошенькой метиске; обливаясь слезами, девушка рассказала Давиду о грубых притязаниях хозяина, от которого ей с трудом удалось вырваться. Негр успокоил ее и тут же попросил руки Сесили у мистера Уиллиса.

– Черт возьми! Я боюсь строить догадки об ответе американского султана... Он отказал?

– Отказал. По его словам, эта девушка была ему по вкусу; за всю жизнь он ни разу не встречал пренебрежения со стороны рабыни. Он желает ее и своего добьется. Давид найдет себе другую любовницу или жену. В поместье имеется десять мулаток или метисок таких же хорошеньких, как Сесили. Давид заговорил о своей давнишней любви, разделенной девушкой; плантатор пожал плечами. Давид стал настаивать. Все было напрасно. Хозяин нагло сказал ему, что было бы дурным примером для остальных рабов, если бы он спасовал перед Сесили, и что такой пример он не даст им ради прихоти Давида. Последний стал его умолять, хозяин вышел из терпения; краснея при мысли о своем унижении, Давид заговорил решительным тоном о своих услугах и своем бескорыстии, ибо получаемое им скромное жалованье уже не удовлетворяло его. Разгневанный мистер Уиллис презрительно ответил, что с ним и так слишком хорошо обращаются, ибо он был и остается рабом. При этих словах возмущение Давида вырвалось наружу... Впервые он заговорил как человек, осознавший свои права благодаря восьми годам, проведенным во Франции. Взбешенный хозяин обозвал его бунтовщиком и пригрозил заковать в цепи. Давид произнес несколько горьких и резких слов... Два часа спустя он был привязан к столбу, исхлестан плетью, тогда как на его глазах рабы тащили Сесили в сераль плантатора.

– Вел себя этот плантатор глупо и безобразно... Что за бессмысленная жестокость!.. Ведь, в конце концов, он нуждался в услугах доктора...

– Да как еще нуждался!.. Ярость, в которую он пришел, и состояние опьянения, ибо этот зверь напивался каждый вечер, вызвали у него сильнейшую лихорадку, симптомы которой появились почти сразу, как это свойственно такого рода заболеваниям. Плантатору пришлось лечь в постель с очень высокой температурой. Он срочно вызывает городского врача, но из-за дальности расстояния тот может приехать лишь через полтора суток.

– Право, этот случай словно ниспослан богом... Трагическое положение этого человека было им вполне заслужено...

– Состояние больного быстро ухудшалось... Один Давид мог спасти колониста; но Уиллис, недоверчивый, как все подлецы, был уверен, что негр из мести отравит его какой-нибудь микстурой... ибо Давид был не только избит, но и брошен в темницу. Наконец, испуганный резким ухудшением болезни, сломленный страданиями, Уиллис подумал, что ему так и этак крышка и что можно, пожалуй, сделать ставку на благородство своего раба; после мучительных колебаний Уиллис приказал снять цепи с Давида.

– И Давид спас плантатора?

– Пять дней и пять ночей он ухаживал за ним, как за родным отцом, шаг за шагом заставляя отступать болезнь с умением и искусством, достойным удивления; в конце концов он победил лихорадку, к глубокому удивлению вызванного из города врача, который прибыл лишь на второй день.

– Но что же сделал колонист, когда поправился?

– Он не пожелал краснеть перед рабом, постоянно унижавшим его своим поразительным благородством, и ценою огромной жертвы заменил его вызванным из города врачом, а Давид был снова отправлен в карцер.

– Какой ужас! Но это не удивляет меня: Давид был бы живым укором для этого человека.

– К тому же бесчеловечный поступок колониста был продиктован не только мстостью и ревностью. Чернокожие рабы господина Уиллиса преклонялись, благоговели перед Давидом: он был для них целителем души и тела. Они знали, как самоотверженно ухаживал Давид за хозяином во время его болезни... И, чудом стряхнув с себя отупляющее равнодушие, в которое рабство погружает человека, эти несчастные громко высказали свое возмущение или, точнее, горе, когда на их глазах Давида избили плетью. Господину Уиллису почудились в их недовольстве зачатки бунта, вызванного пагубным влиянием Давида. Он подумал, что впоследствии Давид может стать во главе рабов, чтобы отомстить хозяину за его вопиющую неблагодарность... Эти вздорные страхи послужили причиной новых притеснений, направленных против Давида, дабы помешать его злокозненным планам.

– Даже с точки зрения безжалостного произвола такое поведение кажется мне менее абсурдным... Но что за нравы!

– Вскоре после этих событий мы прибываем в Америку. Монсеньор зафрахтовал датский бриг на острове Сент-Томас; и, плывя вдоль американского побережья, мы посещали инкогнито все поместья, бросавшиеся нам в глаза. Мы были великолепно приняты господином Уиллисом. Вечером, на следующий день после нашего прибытия, господин Уиллис, возбужденный выпитым вином, рассказал нам с циничным бахвальством историю Давида и Сесили, сопровождая свой рассказ омерзительными шутками; я забыл вам сказать, что он велел посадить в темницу и эту несчастную девушку, чтобы наказать ее за пренебрежительное к нему отношение. Выслушав этот гнусный рассказ, его высочество подумал, что Уиллис прихвостнул спьяну... Тот был действительно пьян, но не солгал. Чтобы рассеять недоверие своего гостя, колонист встал из-за стола, приказал одному из рабов взять фонарь и провести нас в карцер Давида.

– И что же?

– За всю свою жизнь я не видел более душераздирающего зрелища. Бледные, истощенные, полуголые, покрытые ранами Давид и несчастная девушка, прикованные цепью к стене в разных концах темницы, походили на привидения. Осветивший помещение фонарь придавал этому зрелищу еще более зловещий характер. При нашем появлении Давид ничего не сказал; его взгляд поражал своей пугающей неподвижностью. Колонист обратился к нему с жесткой иронией: «Как поживаешь, доктор?.. Ты ведь человек ученый! Так попробуй спаси самого себя!..»

Негр ответил лишь одним словом и одним жестом, исполненным благородства и величия; он медленно поднял указательный палец к потолку и, не смотря на колониста, произнес торжественно: «Бог!»

И умолк.

«Бог? – подхватил колонист, расхохотавшись. – Так скажи своему богу, чтобы он вырвал тебя из моих рук! Пусть попробует!»

Затем Уиллис, рассудок которого помутился от гнева и вина, показал кулак небу и кощунственно воскликнул:

«Да, я бросаю вызов богу; пусть попробует отнять у меня этих рабов до их смерти. Если он этого не сделает, я перестану верить в его существование».

– Какой идиот, какой безумец!

– Вызов этот возбудил в нас глубокое отвращение... Монсеньор не произнес ни единого слова. Мы вышли из темницы... Она находилась, как и жилище колониста, у самого моря. Мы возвращаемся на бриг, стоящий на якоре у побережья. В час ночи, когда все в доме спали глу-

боким сном, монсеньор сходит на берег с восемью хорошо вооруженными матросами, направляется прямо к темнице, взламывает ее дверь и похищает Давида и Сесили. Обе жертвы колониста перенесены на борт брига; все сошло хорошо, и наша экспедиция осталась незамеченной; затем мы с монсеньором идем к плантатору.

Странное поведение! Эти люди измываются над своими рабами и не принимают против них никаких мер предосторожности: они спят с открытыми дверями и окнами. Мы беспрепятственно входим в слабо освещенную ночником спальню, плантатор садится в кровати, ничего не соображая, ибо мозг его еще затуманен винными парами.

«Сегодня вечером вы бросили вызов богу, не поверили, что он может отнять у вас двух рабов до их смерти. Он отнимает их у вас, – проговорил монсеньор. Затем, взяв у меня из рук мешок с двадцатью пятью тысячами золотых франков, он бросил его на кровать колониста. – Эти деньги вознаградят вас за убыток от потери двух рабов. Вашему насилию, которое убивает, я противопоставлю насилие, которое спасает. Бог нас рассудит!» Тут мы ушли, оставив господина Уиллиса растерянного, неподвижного; он, очевидно, считал, что все это ему приснилось. Несколько минут спустя мы поднялись на бриг и подняли паруса.

– Мне кажется, дорогой Мэрф, что его высочество слишком щедро расплатился с этим негодяем за потерю рабов; ибо, в сущности, Давид уже не принадлежал ему.

– Мы приблизительно подсчитали стоимость обучения Давида в течение восьми лет и утроили цену Сесили против цены обычной рабыни. Я знаю, наше поведение было противозаконно; но если бы вы только видели, в каком ужасном состоянии были эти несчастные люди, находившиеся на грани смерти, если бы слышали кошунственный вызов, брошенный богу колонистом, опьяневшим от вина и жестокости, вы поняли бы, что монсеньор, по его словам, пожелал в этом случае «сыграть роль providения».

– Вероятно, Давид женился на Сесили по приезде в Европу?

– Да, их бракосочетание, обещавшее столько счастья жениху и невесте, состоялось в дворцовом храме монсеньора; но, заняв в силу необычайного стечения обстоятельств положение, о котором она даже не могла мечтать, Сесили позабыла все, что Давид выстрадал из-за нее и что она сама выстрадала из-за него. В этом новом для нее мире ей стало стыдно, что муж у нее черный; вскоре Сесили, соблазненная неким развратником, совершила свой первый проступок. Можно было подумать, что ее врожденная порочность, дремавшая до поры до времени, ждала лишь этого толчка, чтобы пробудиться с невероятной силой. Вам известно остальное – ее похождения и вызванный ими скандал. После двух лет брака Давид, который слепо верил жене и так же слепо любил ее, узнал об ее изменах; для него это было словно гром среди ясного неба.

– Говорят, он хотел убить жену?

– Да, но благодаря настояниям монсеньора он согласился на ее пожизненное заточение в крепости. И вот эту темницу монсеньор только что распахнул перед ней... как к вашему, так и к моему удивлению, дорогой барон.

– Откровенно говоря, решение монсеньора тем более поражает меня, что начальник крепости много раз предупреждал его высочество, что справиться с этой женщиной невозможно; ничто не могло укротить ее необузданный, закоренелый в пороках нрав; и, несмотря на это, монсеньор настойчиво вызывает ее сюда. По какой причине? С какой целью?

– Я этого не знаю, как и вы, дорогой барон. Но время идет, а его высочество желает, чтобы почта была отправлена как можно скорее в Герольштейн.

– Еще один вопрос: скажите, дорогой Мэрф, ваше американское приключение не имело последствий? Ведь этот поступок его высочества столь же сомнителен и противозаконен, как и наказание Грамотея.

– Оно и не могло их иметь. На бриге был датский флаг, а инкогнито его высочества соблюдалось строжайшим образом; все считали нас англичанами. И если бы господин Уиллис

посмел жаловаться, к кому бы он обратился со своими претензиями? В самом деле, монсеньор сам нам говорил, да и его врач записал это в медицинском заключении, что оба раба не прожили бы и недели в этой страшной темнице. Потребовался очень длительный уход, чтобы спасти Сесили от почти неизбежной смерти. Наконец оба они были возвращены к жизни. С тех пор Давид состоит врачом его высочества и безгранично предан ему.

– Итак, дорогой Мэрф, до вечера!

– До вечера?

– Разве вы забыли, что в посольстве *** сегодня грандиозный бал и что его высочество должен быть на нем?

– Вы правы; я вечно забываю, что в отсутствие полковника Варнера и графа фон Харнейма я исполняю функции камергера и адъютанта.

– Кстати о графе и полковнике... когда они приедут сюда? Скоро ли закончат свои дела?

– Как вам известно, монсеньор держит их в отдалении, чтобы пользоваться одиночеством и свободой. Что касается поручений, которые он им дал, дабы вежливо отделаться от обоих, послав одного в Авиньон, а другого в Страсбург, я расскажу вам об этом, когда у нас с вами будет мрачное настроение; готов побиться об заклад, что самый угрюмый ипохондрик разразится смехом не только при моем рассказе, но и при чтении некоторых депеш этих достойных джентльменов, которые вполне серьезно относятся к своим так называемым поручениям.

– По правде говоря, я никогда не мог понять, почему его высочество приблизил полковника и графа к своей особе.

– Как, разве полковник Варнер не является законченным типом военного? Во всем Германском союзе вы не найдете человека такого роста, с такими великолепными усами и более воинственным видом! И когда он разодет, напыщен, подтянут, затянут, украшен султаном, трудно встретить более победоносное, блистательное, гордое и красивое... животное.

– Что правда, то правда; но как раз эта внешность мешает ему казаться чрезмерно умным.

– Так вот, монсеньор считает, что благодаря полковнику он привык выносить самых надоедливых людей. Перед скучнейшей аудиенцией он запирается на четверть часика с полковником и выходит от него свежий, бодрый, готовый встретить лицом к лицу олицетворенную скуку.

– Так же поступал римский солдат перед форсированным маршем: он надевал свинцовые сандалии, дабы, сняв их, испытать облегчение и не замечать усталости. Понимаю теперь всю полезность полковника. Ну а граф фон Харнейм?

– Он тоже весьма полезен монсеньору: постоянно слыша эту старую пустозвонную погрешку, блестящую и громкую, видя этот надутый мыльный пузырь, великолепно разукрашенный, но никчемный, который являет собой театральную и ребячливую сторону верховной власти, монсеньор еще острее чувствует всю тщету этого бесплодного великолепия, и, в силу контраста, ему приходят при созерцании блистательного камергера самые серьезные и плодотворные мысли.

– Впрочем, надо быть справедливым, дорогой Мэрф, при каком дворе вы найдете более совершенный образец камергера? Кто знает лучше нашего милейшего фон Харнейма бесчисленные правила и традиции этикета? Кто умеет носить с большим достоинством эмалевый крест на шее и с большим величием золотой ключ на спине?

– Кстати, барон, по словам монсеньора, спина нашего камергера имеет особое выражение, одновременно вымученное и возмущенное, на которое бывает больно смотреть; ибо о горе! – именно на спине камергера сверкает символическое изображение его звания; поэтому так и кажется, что достойному фон Харнейму все время хочется повернуться к людям спиной, чтобы они сразу могли судить о его высоком ранге.

– В самом деле, граф постоянно размышляет над вопросом, из-за какой роковой причуды ключ камергера красуется на его спине, и говорит вполне разумно, с чувством гнева и боли: «Черт возьми! Ведь никто не открывает дверь спиной!»

– Барон! А наша почта, наша почта? – воскликнул Мэрф, указывая барону на часы.

– Треклятый болтун, это ваша вина, это вы заставляете меня говорить! Засвидетельствуйте, пожалуйста, мое почтение его высочеству, – сказал барон фон Граун, поспешно берясь за шляпу. – До вечера, дорогой Мэрф.

– До вечера, дорогой барон; я немного опоздаю; уверен, что монсеньор пожелает сегодня же посетить таинственный дом на улице Тампль.

Глава VIII. Дом на улице Тампль

Дабы пополнить сведения, полученные бароном фон Грауном о Певунье и о Жермене, сыне Грамотея, Родольф решил побывать сперва на улице Тампль, а затем в нотариальной конторе Жака Феррана и расспросить г-жу Серафен, экономку нотариуса, о семье Лилии-Марии.

В доме на улице Тампль, где жил сначала Жермен, предстояло выведать у Хохотушки, где теперь нашел приют этот молодой человек, – задача довольно трудная, ибо, по всей вероятности, гризетка обещала своему дружку сохранить в тайне его новый адрес.

Сняв комнату, некогда занимаемую Жерменом, Родольф не только продвинул бы свои поиски, но и понаблюдал бы вблизи населяющих его жильцов.

В день затянувшейся беседы барона фон Грауна с Мэрфом Родольф отправился часа в три пополудни на улицу Тампль; стояла унылая зимняя погода.

Дом этот, расположенный в центре густо населенного торгового квартала, ничем не выделялся среди прочих зданий; первый этаж его был занят ликерщиком, дальше шли четыре жилых этажа, а над ними помещались мансарды.

Узкий, сумрачный проход вел в маленький дворик или, точнее, в колодец, величиной в пять-шесть квадратных футов, – смрадное вместилище всевозможных отбросов, которые летели вниз со всех этажей, ибо на каждой лестничной площадке под незастекленным слуховым окном стояло помойное ведро.

Внизу сырой, темной лестницы красноватый огонек указывал на местонахождение привратничкой с закоптелым потолком, ибо лампа горела даже днем в этом мрачном логовище, куда мы последуем с вами вслед за Родольфом, одетым как коммивояжер в будний день.

На нем было пальто непонятного цвета, старая, потерявшая форму шляпа, красный галстук и огромные допотопные галоши; в руке он нес зонтик, а чтобы выглядеть убедительнее в своей роли, держал под мышкой большой сверток тканей.

Он вошел к привратнику, чтобы тот показал ему свободную комнату.

Привратничку освещает кенкет, стоящий за своеобразным рефлектором – стеклянным шаром, наполненным водой. В глубине комнаты видна кровать под пестрым лоскутным одеялом; слева стоит ореховый комод, на мраморной доске которого расположены всевозможные безделушки: маленький восковой Иоанн Креститель в белокуром парике и его белый барашек, покрытые стеклянным колпаком, трещины которого заклеены полосками голубой бумаги, два светильника из покрасневшего от времени накладного серебра, свечи в которых заменены осыпанными блестками апельсинами, видимо, только что преподнесенными привратнице на Новый год, две коробки – одна из разноцветной соломы, другая – украшенная раковинами; от этих произведений искусства за версту несет тюрьмой или каторгой⁶⁷. (Будем надеяться ради нравственности привратника с улицы Тампль, что этот подарок не был преподнесен ему в знак искреннего уважения.)

Наконец, между этими коробками стоит под стеклянным колпаком от часов пара крошечных сафьяновых сапожек, кукольных сапожек, искусно сшитых и отделанных.

Этот шедевр, как говорили в старину ремесленники, а также омерзительный запах множества старых башмаков, в беспорядке выстроившихся вдоль стен, ясно говорят о том, что здешний привратник шил новую обувь, пока не опустился до починки старой. Когда Родольф отважился войти в этот вертеп, привратника заменяла его жена, г-жа Пипле. Она сидела посреди комнаты и, казалось, внимательно слушала, как ворчит на печурке (принятое в этой среде выражение) чугунок, в котором тушится к обеду мясное рагу.

⁶⁷ Изготовлением таких коробок почти исключительно занимались заключенные и каторжники.

Анри Монье, этот французский Хогарт, так превосходно изобразил тип французской привратницы, что попросим читателя, пожелавшего представить себе г-жу Пипле, вызвать в своей памяти самую безобразную, морщинистую, прыщавую, неряшливую, злобную и ядовитую из привратниц, которых обессмертил этот выдающийся художник.

Мы позволим себе добавить к этому «идеалу» одну-единственную характерную черту – странную прическу в стиле императора Тита, а именно некогда белокурый парик, расцвеченный временем множеством желтоватых, коричневых и огненных тонов, который венчал голову шестидесятилетней привратницы копной грубых, жестких, спутанных волос.

При виде Родольфа привратница произнесла довольно неприветливо следующую сакраментальную фразу:

– Куда вам?

– Скажите, сударыня, не в этом ли доме сдается комната с чуланом? – спросил Родольф с ударением на слове сударыня, что немало польстило г-же Пипле.

– На четвертом этаже как раз сдается комната, но посмотреть ее нельзя... Альфред вышел.

– Это ваш сын? А скоро он вернется?

– Нет, сударь, это мой муж!.. Почему бы Пипле не зваться Альфредом?

– Без сомнения, сударыня, это его право; но если вы разрешите, я подожду его. Мне хотелось бы снять эту комнату: квартал и улица мне подходят; дом мне нравится, ибо, как мне кажется, он содержится в образцовом порядке. Но прежде, нежели осмотреть комнату, мне хотелось бы знать, не согласитесь ли вы, сударыня, вести мое хозяйство? Я всегда договариваюсь об этом с женами швейцаров.

Это предложение, высказанное в столь лестных выражениях (подумать только, жена швейцара!), окончательно расположило г-жу Пипле в пользу Родольфа.

– Конечно, сударь... я согласна и почту это за честь для себя, – ответила г-жа Пипле. – За шесть франков в месяц вы будете обижены, как принц.

– По рукам, сударыня... ваше имя?

– Помона-Фортюне-Анастази Пипле.

– Так вот, госпожа Пипле, я согласен платить вам за услугу шесть франков в месяц. Конечно, если комната мне подойдет... Какова ее цена?

– Вместе с чуланом сто пятьдесят франков, сударь, и ни лиарда меньше. Главный съемщик такой сквалыга, что готов с вас шкуру содрать.

– Как его зовут?

– Господин Краснорукий.

Это имя и вызванные им воспоминания заставили вздрогнуть Родольфа.

– Вы говорите, госпожа Пипле, что фамилия главного съемщика Краснорукий?

– Ну да... Краснорукий.

– А где он живет?

– На Бобовой улице, дом номер тринадцать; кроме того, он имеет кабачок в низине на Елисейских полях.

Все сомнения Родольфа рассеялись, это был тот самый человек... Такое совпадение показалось ему знаменательным.

– Но если главный съемщик господин Краснорукий, то кто же владелец дома? – спросил он.

– Господин Бурден, но я имею дело лишь с Красноруким.

Желая расположить к себе привратницу, Родольф продолжал:

– Вот что, милая госпожа Пипле, я немного устал, да и промерз на улице... Зайдите, пожалуйста, к ликерщику, что живет в вашем доме, и принесите мне бутылку черносмординовой наливки и два стакана... нет, три, ведь муж ваш скоро вернется.

И он дал сто су привратнице.

– Что это, сударь? Вы хотите, чтобы с первых же слов вас полюбили до обожания?! – воскликнула привратница, прыщавый нос которой загорелся всеми цветами истинно вакхического вожделения.

– Да, сударыня, я хочу быть обожаемым.

– Это мне по душе, но я принесу лишь два стакана, мы с Альфредом всегда пьем из одного. Бедный мой дорогуша, он так падок до женщин!!!

– Ступайте, госпожа Пипле, мы подождем Альфреда.

– А что, если кто-нибудь придет?.. Вы постережете привратницу?

– Будьте спокойны.

Старуха вышла.

Оставшись один, Родольф задумался о странном случае, который приблизил его к Краснорукому; одно его удивляло: как мог Франсуа Жермен прожить целых три месяца в этом доме до того, как его обнаружили сообщники Грамотея, тесно связанные с Красноруким?

В эту минуту в застекленную дверь привратницкой постучал почтальон и, приоткрыв ее, протянул два письма.

– С вас три су! – буркнул он.

– Шесть су, ведь письма-то два, – сказал Родольф.

– Одно оплачено, – отвечал почтальон.

Расплатившись, Родольф бросил сперва рассеянный взгляд на письма, но затем они показали ему достойными внимания.

Одно, адресованное г-же Пипле, было вложено в конверт из атласной бумаги, источавшей запах дешевых духов. На его красной восковой печати выделялись буквы Ш. Р., увенчанные шлемом, которые опирались на усеянную звездами подставку креста Почетного легиона; адрес был начертан твердой рукой. Геральдические притязания, о которых свидетельствовали шлем и крест, заставили улыбнуться Родольфа и подтвердили его догадку, что письмо это не от женщины.

Но кто же надушенный аристократический корреспондент г-жи Пипле?

Другое письмо на грубой, серой бумаге, запечатанное облаткой, было адресовано хирургу-дантисту г-ну Брадаманти. Адрес на конверте, явно написанный измененным почерком, состоял из одних заглавных букв.

Было ли это предчувствие, плод фантазии или факт, но письмо навеяло грустные мысли на Родольфа. Он заметил, что несколько букв на адресе полустерты и бумага в этом месте съезжилась: здесь, видно, упала слеза.

Вернулась г-жа Пипле с бутылкой черносмородиновой наливки и двумя стаканами.

– Я замешкалась, правда, сударь? Но стоит войти в лавочку папаши Жозефа, как оттуда нипочем не вырвешься. Старый шалун! Поверите ли, он позволяет себе вольные шутки с такой пожилой женщиной, как я!

– Черт возьми! А что, если бы Альфред узнал!

– И не говорите, у меня кровь стынет в жилах, стоит только подумать об этом. Альфред ревнив, как бедуин; а между тем папаша Жозеф отпускает свои шуточки только смеха ради, промеж нас ровно ничего нет, все по-хорошему, по-честному.

– Вот два письма, их только что принес почтальон, – сказал Родольф.

– Ах, боже мой... извините, сударь... И вы уплатили?

– Да.

– Вы очень любезны. В таком случае я вычту эти деньги из сдачи, которую вам принесла... Сколько там?..

– Три су, – ответил Родольф, улыбаясь при мысли о странном способе расчета г-жи Пипле.

– Почему три су?.. Вы, верно, заплатили шесть су, тут же два письма.

– Я мог бы злоупотребить вашим доверием, удержав с причитающейся мне сдачи шесть су вместо трех, но я не способен на это, госпожа Пипле... Одно из двух писем оплачено. Не хочу быть нескромным. И все же должен обратить ваше внимание на то, что любовные записки вашего корреспондента очень хорошо пахнут.

– Посмотрим, что это такое, – проговорила привратница, беря конверт из атласной бумаги. – Признаться... похоже на любовное письмо. Подумайте, сударь, любовное письмо! Вот те на... Какой это шалопай осмелился?..

– А что, если бы Альфред был здесь, госпожа Пипле?

– И не говорите, я лишилась бы чувств в ваших объятиях.

– Молчу, молчу, госпожа Пипле!

– Какая же я дура!.. – сказала привратница, пожав плечами. – Знаю... знаю... письмо от офицера... Ах, как я испугалась! Но это не помешает мне рассчитаться с вами: итак, три су за одно из писем, да? Пятнадцать су за наливку и три су за доставку обоих писем, итого восемнадцать су; восемнадцать плюс два – двадцать су, прибавляем к двадцати су четыре франка, итого сто су. Счет дружбы не портит.

– А вот еще двадцать су, госпожа Пипле; у вас такой замечательный способ сводить счета за выданные авансом деньги, что мне хочется поблагодарить вас за него.

– Двадцать су! Вы дарите мне двадцать су!.. Но за что же? – воскликнула г-жа Пипле, испуганная и удивленная столь неслыханной щедростью.

– Примите эти деньги как часть задатка за комнату, если я ее сниму.

– В таком случае я согласна, но я предупрежу Альфреда.

– Разумеется, а вот и второе письмо: оно адресовано господину Сезару Брадаманти.

– Да... это зубодер с третьего этажа... Я положу конверт в *письменный* сапог.

Родольфу показалось, что он ослышался, но г-жа Пипле пресерьезно бросила письмо в старый сапог с отворотами, висящий на стене.

Родольф с удивлением взглянул на нее.

– Что это? – сказал он. – Вы кладете письмо в...

– Ну да, сударь, я кладу его в письменный сапог. Таким манером ни одна записка не потеряется; когда жильцы приходят домой, Альфред или я вытряхиваем сапог, сортируем корреспонденцию, и каждый получает свое любовное письмецо.

– В вашем доме все так хорошо устроено, что мне еще больше захотелось поселиться в нем; этот сапог для писем особенно восхищает меня.

– Бог ты мой, все очень просто, – скромно сказала г-жа Пипле. – У Альфреда остался старый непарный сапог, и мы почли за лучшее использовать его на благо жильцов.

С этими словами привратница распечатала письмо, которое было ей адресовано; повернув его и так и этак, она в замешательстве обратилась к Родольфу:

– Обычно Альфред читает мои письма вслух, я-то читать не умею; не могли бы вы, сударь... быть для меня тем, чем бывает Альфред?

– С удовольствием, если дело касается этого письма, – ответил Родольф, которому очень хотелось узнать, что представляет собой корреспондент г-жи Пипле.

«Завтра в пятницу, в одиннадцать часов утра, хорошенько протопите камин в обеих комнатах, протрите зеркала и снимите чехлы с мебели и, главное, не поцарапайте позолоту, когда будете вытирать пыль.

Если я случайно задержусь и некая дама зайдет сюда с прогулки и спросит меня под именем г-на Шарля, проводите ее в мою квартиру, ключ от которой возьмите с собой и отдадите мне, когда я приду».

Несмотря на довольно неуклюже составленную записку, Родольф прекрасно понял суть дела и спросил у привратницы:

– А кто занимает второй этаж?

Старуха приложила желтый морщинистый палец к своей отвислой губе.

– Молчок... это все любовные шашни, – ответила она с лукавым смешком.

– Я спрашиваю вас об этом, милая госпожа Пипле... ведь, прежде чем поселиться в доме... хочется знать...

– Понятно... Скажи мне, с кем ты знаком, и я скажу, кто ты.

– Я как раз хотел привести эту пословицу.

– Впрочем, могу вам сообщить все, что об этом знаю, а знаю я не так уж много... Месяца полтора тому назад пришел обойщик, осмотрел второй этаж, который как раз пустовал, спросил его цену и на следующий день вернулся с красивым молодым блондином: маленькие усики, крест Почетного легиона, хорошая белая рубашка. Обращаясь к нему, обойщик говорил «ваше благородие».

– Так, значит, он военный?

– Военный! – сказала г-жа Пипле, пожимая плечами. – Полноте! С таким же успехом Альфред мог бы выдавать себя за швейцара.

– Так кто же он?

– Да состоит кем-то при штабе городской полиции; обойщик величал его «благородием» из подхалимства. Ведь и Альфреду льстит, когда его называют швейцаром. Наконец, когда офицер (мы знаем его только под этим именем) все осмотрел, он сказал обойщику: «Ладно, мне это подходит, повидайтесь с хозяином. И отделайте комнаты». – «Да, ваше благородие...» И обойщик подписал с Красноруким арендный договор на свое имя, уплатив ему за полгода вперед: видно, молодой человек не хочет, чтобы знали, кто он такой. Тут же пришли рабочие, все перевернули вверх дном, привезли диваны, шелковые занавески, зеркала в позолоченных рамах, великолепную мебель; теперь на втором этаже стало так же красиво, как в каком-нибудь кафе на бульварах! Не считая ковров, да таких толстых, мягких, что ходишь по ним, точно по звериным шкурам... Когда все было закончено, офицер пришел взглянуть, что получилось, и сказал Альфреду: «Не возьметесь ли вы содержать в порядке эту квартиру, протапливать ее время от времени и особенно к моему приходу, о котором я предупрежу вас письмом: бывать здесь я буду не часто». – «Да, ваше благородие», – ответил ему подлипала Альфред. «Скажите, сколько вы с меня возьмете?» – «Двадцать франков в месяц, ваше благородие». – «Двадцать франков, полноте, вы шутите, привратник!» И вот этот красавчик начинает торговаться, как какой-нибудь сквалыга, и мытарить простой народ из-за паршивой пятифранковой монеты, хотя только что выложил не моргнув глазом кучу денег за квартиру, в которой и жить-то не будет! Наконец мы все-таки выжали из него двенадцать франков! Право, тут поневоле взбеленишься! Грошовый офицеришка, чтоб тебе!.. Какая разница с вами, сударь! – продолжала привратница, с приятной улыбкой обращаясь к Родольфу. – Вы не выдаете себя за офицера, вид у вас самый неказистый, и все же вы сразу договорились со мной о шести франках.

– И с тех пор этот молодой человек больше не появлялся?

– Погодите, самое забавное то, что дама здорово промариновала офицера. Он уже трижды просил, как сегодня, протопить камин и прибрать комнаты в ожидании дамы. Небось все глаза проглядел!

– Никто не явился?

– Слушайте дальше. В первый раз офицер пришел разодетый, что-то напевая сквозь зубы с таким победительным видом; он прождал добрых два часа... никого; когда он вновь проходил мимо привратничкой, мы с Пипле ждали, чтобы взглянуть на его рожу и посмеяться над ним. «Ваше благородие, – сказала я, – решительно никто не приходил к вам, ни одна дама не спрашивала вас». – «Ладно, ладно!» – пробурчал он и быстро зашагал прочь; вид у него был пристыженный, разъяренный, и от злости он грыз ногти. Во второй раз посыльный приносит записку, адресованную господину Шарлю; я заподозрила, что и на этот раз вышла осечка; мы

с Пипле как раз потешались над офицером, когда он появился. «Ваше благородие, – говорю я и как заправский служака прикладываю руку к парику, – вам письмо; видно, вам и сегодня придется бить отбой!» Он смотрит на меня гордый, как Артабан, вскрывает письмо, читает его и краснеет как рак; затем, стараясь не показать виду, что раздосадован, говорит нам: «Я знал, что никто не придет, и зашел лишь для того, чтобы попросить вас получше убирать помещение». Офицер лгал, хотел скрыть, что дамочка водит его за нос; затем он ушел, поводя плечами и напевая сквозь зубы, но по всему было видно, что он донельзя раздосадован, уж поверьте мне... Поделом тебе, поделом, грошовый офицеришка! Пусть это послужит тебе уроком, когда вздумашь выгадывать на уборке квартиры.

– Ну а в третий раз?

– В третий раз я подумала, что дело в шляпе. Офицер пришел расфуфыренный; глаза прямо из орбит вылезали, таким он казался довольным и самоуверенным. Ничего не скажешь, красивый молодой человек... прекрасно одетый и надушенный мускусом... Он не шел, а словно летел на радостях. Берет свой ключ и говорит нам с видом насмешливым и чванным: «Предупредите даму, что моя дверь против лестницы...» Хотя мы и не рассчитывали на приезд дамы, но у нас с Пипле так разгорелось любопытство, что мы вышли из привратничьей и встали у порога входной двери. На этот раз у нашего дома остановилась синяя извозчичья карета с зашторенными окнами. «Понятное дело, это она, – говорю я Альфреду. – Давай отойдем немного, чтобы не испугнуть ее». Извозчик отворяет дверцу кареты. Тут мы увидели даму с муфтой на коленях; лицо ее было скрыто под черной вуалеткой и носовым платком, который она прижимала ко рту; видимо, она плакала; но едва подножка была опущена, дама, вместо того чтобы выйти, сказала несколько слов удивленному кучеру, который захлопнул дверцу.

– И дама не вышла из экипажа?

– Нет, сударь, она забилась в угол и закрыла глаза руками. Я подбегаю к извозчику, который уже влез на сиденье, и говорю ему: «Что это, приятель? Вы как будто возвращаетесь?» – «Да», – отвечает он мне. «А куда?» – спрашиваю я. «Туда, откуда приехал». – «А откуда вы приехали?» – «С угла улиц Святого Доминика и Удачной Охоты».

При этих словах Родольф вздрогнул.

Маркиз д'Арвиль, один из лучших его друзей, находившийся ныне в состоянии глубокой меланхолии, жил как раз на углу этих двух улиц.

Неужели эта женщина, шедшая навстречу своей гибели, была маркизой д'Арвиль? Подозревал ли ее муж в измене? Измена жены была, вероятно, единственной причиной недавнего его отчаяния.

Эти догадки, сомнения не давали покоя Родольфу. Хотя он и бывал в обществе ближайших друзей маркиза, но не видел там ни одного человека, напоминающего красавца офицера. В конце концов, женщина, о которой шла речь, могла нанять извозчика на углу этих улиц, хотя и жила в другом квартале, ничто не указывало на то, что это была маркиза д'Арвиль. И все же смутные, тяжелые подозрения не покидали Родольфа.

Его беспокойный, озабоченный вид не укрылся от привратницы.

– В чем дело, сударь? О чем задумались? – спросила она.

– Не могу понять, почему эта женщина, доехавшая до двери вашего дома... вдруг переменила решение.

– Что поделаешь, сударь, мы, бедные женщины, так слабы, так боязливы: какая-нибудь мысль, неожиданность, суеверие – все пугает нас, – сказала омерзительная баба, скромно и стыдливо опуская глаза. – Мне кажется, вздумай я наставить рога Альфреду, я долго не могла бы собраться с духом. Но со мной такого никогда не было! Бедный мой дорогуша! Ни один мужчина на свете не может похвастать...

– Охотно верю, госпожа Пипле... Но эта молодая женщина...

– Не знаю, молода ли она; я видела только кончик ее носа. Знаю только, что она приехала тайком и тайком же уехала. Если бы нам с Альфредом дали десять франков, мы и то не были бы так довольны.

– Почему?

– Из-за мины, которую должен был скорчить офицер; ей-богу, из-за одного этого можно было бы лопнуть со смеху. Сначала мы больше часа заставили его потомиться, помариноваться. После чего я поднялась к нему: на моих бедных больных ногах были только мягкие туфли без каблука; подхожу к двери, она в двух шагах отсюда. Толкнула ее, она скрипнула; на лестнице темно, как в печке, в передней квартиры тоже темно. Как только я вошла, офицер сжимает меня в объятиях и говорит этаким ласковым голосом: «Ангел мой, ангел мой, как поздно ты приехала!..»

Несмотря на обуревавшие его тягостные мысли, Родольф не мог удержаться от смеха, особенно при взгляде на безобразный парик и на отвратительную, морщинистую, прыщавую физиономию героини этого нелепого недоразумения.

– Хе-хе-хе, ну и положение! – продолжала г-жа Пипле, хохоча, от чего ее лицо, сморщившись, стало еще безобразнее. – Послушайте, что было дальше. Я ничего не отвечаю, задерживаю дыхание и не мешаю офицеру обнимать меня; вдруг этот грубиян вскрикивает и отталкивает меня, да еще с таким отвращением, словно дотронулся до паука: «Но, черт подери, кто вы такая?» – «Это я, господин офицер, госпожа Пипле, привратница, а потому вы должны убрать руки, не обнимать меня за талию, не называть своим ангелом и не говорить, что я пришла слишком поздно. А что, если бы Альфред видел все это?» – «Что вам здесь понадобилось?» – воскликнул он в ярости. «Ваше благородие, только что на извозчике приехала дамочка». – «Ну так проводите ее ко мне! Вы идиотка! Разве я не велел вам проводить ее ко мне?» Я не прерываю его, а он все говорит, говорит. «Да, это правда, – отвечаю я наконец. – Вы приказали проводить ее к вам». – «Ну а вы?» – «Дело в том, что дамочка...» – «Да отвечайте же!» – «Дело в том, что дамочка уехала». – «Конечно, вы сказали или сделали какую-нибудь глупость!» – вскричал он, все более кипятясь. «Нет, ваше благородие, дамочка не вышла из кареты; когда извозчик открыл дверцу, она велела отвезти ее обратно». – «Извозчик, верно, недалеко!» – воскликнул он, бросаясь к двери. «Как бы не так! Она уехала больше часа назад», – отвечаю я. «Больше часа! Больше часа! Почему же вы сразу не предупредили меня!» – вскричал он, трясясь от гнева. «Как вам сказать... мы боялись вас расстроить, ведь вы опять не окупили своих расходов». Вот тебе, шеголь, подумала я, теперь ты уж не скажешь, что тебя тошнит от прикосновения ко мне. «Убирайтесь отсюда и перестаньте делать и болтать глупости!» – в бешенстве проговорил он, расстегивая свой татарский халат и бросая на пол шитый золотом бархатный греческий колпак... Красивый колпак, ей-богу... А халат-то! От него глаза слепило, и офицер походил в нем на светляка...

– И с тех пор ни он, ни эта дама не появлялись здесь?

– Нет, но подождите конца истории, – проговорила г-жа Пипле.

Глава IX. Три этажа

– А конец этой истории, – продолжала г-жа Пипле, – вот какой: я мигом сбегаю по лестнице, чтобы обо всем рассказать Альфреду. У нас в комнате как раз собрались привратница из дома девятнадцать и торговка устрицами, она живет рядом с ликерщиком; я рассказываю им о том, как офицер называл меня ангелом и брал за талию. Что тут смеха было! Даже Альфред смеялся, хотя он и стал мелан... да, меланхоликом, сам так говорит, после выходов этого чудища Кабриона...

Родольф удивленно взглянул на привратницу.

– Да, попозже, когда мы с вами еще крепче сдружимся, вы узнаете об этой истории. Тут, несмотря на свою меланхолию, Альфред принимается звать меня «ангелом». В эту минуту офицер выходит из своей квартиры и запирает ее на ключ; но, услышав наш смех, он не решается пройти мимо привратницей от страха перед нашими насмешками. Мы мигом смекнули, в чем дело, и торговка устрицами принялась кричать своим грубым голосом: «Пипле, как поздно ты пришел, мой ангел!» Тут офицер возвращается обратно, с грохотом захлопывает дверь: по всему видно, что он зол как черт... Даже кончик носа у него побелел... Затем он раз десять приоткрывал дверь, слушал, остался ли народ в привратницей.

Мы все еще были там, даже с места не двинулись. Видя, что нас не переждешь, он взял себя в руки, мигом спустился с лестницы, бросил мне ключ, а торговка тем временем повторяла: «Как поздно ты пришла, мой ангел!»

– Но офицер мог отказаться от ваших услуг.

– Как бы не так! Он не посмел бы. Он у нас в руках. Мы знаем, где живет его зазноба; стоит ему нагрубить нам, мы выведем его шашни на чистую воду. Да и, кроме того, за какие-то дрянные двенадцать франков никто не возьмется убирать его квартиру! Ну а если он найдет женщину со стороны, мы ее так допечем, что она жизни не будет рада. Скаред несчастный! И поверите ли, сударь, он дошел в своей мелочности до того, что проверяет, сколько поленьев мы сожгли в ожидании его прихода. Он выскочка, разбогатевший проходимец. Голова у него вельможи, а сердце проходимца; истратил деньги на одно, а на другом хочет сэкономить, вот и скряжничает. Я не желаю ему зла, но уж очень забавно смотреть, как его милка водит этого офицеришку за нос. Пари держу, что завтра повторится то же самое. Я позову торговку устрицами, которая была с нами в тот раз: это ее позабавит. Если дамочка придет, мы узнаем, брюнетка она или блондинка и смазливая ли у нее рожица. Подумать только, что за простофиля ее муж! Умора, да и только! Не правда ли, сударь? Но это уже дело самого бедняги роконосца. Завтра мы наконец увидим дамочку; и, несмотря на ее вуалетку, ей придется низко-низко опустить головку, чтобы мы не разглядели, какого цвета у нее глаза. Вот еще одна «дважды потерявшая стыд», как говорят у меня на родине; она идет к мужчине и притворяется, будто ей страшно. Но простите-извините, мне надо снять с огня рагу. Слышу, оно само просится в рот. Сегодня у меня рубец, это немного развеселит Альфреда; как говорит мой старый дорогуша, ради рубца он готов продать Францию... свою прекрасную Францию!..

В то время как г-жа Пипле занималась своими кулинарными делами, Родольф предавался грустным размышлениям.

Эта молодая женщина (неважно, шла ли речь о маркизе д'Арвиль или о ком-нибудь другом), конечно, долго колебалась, долго боролась с собой, прежде чем согласиться на первое и на второе свидание, но спасительные укоры совести, наверно, помешали ей сдержать свое роковое обещание.

Наконец, уступая неборимому влечению, она подъезжает в слезах, дрожа от страха, к порогу этого дома; однако в ту самую минуту, когда несчастная готова навеки погубить себя, в душе ее раздается голос долга, и она снова избегает бесчестья.

Но ради кого пренебрегает она стыдом и опасностями?

Родольф знал свет и человеческое сердце; он довольно верно определил характер офицера по нескольким штрихам, грубо, наивно приведенным привратницей.

По-видимому, этот человек был настолько глуп и тщеславен, что кичился своим ничтожным, с военной точки зрения, чином, и настолько лишен такта, что не подумал скрыть свою особу под непроницаемым инкогнито, дабы окружить глубокой тайной поступки женщины, которая всем рисковала ради него; и, наконец, до того туп и жаден, что из-за нескольких луидоров подверг свою любовницу наглым гнусным насмешкам обитателей этого дома!

Итак, завтра эта молодая женщина придет, трепещущая, потерянная, на свиданье, влекомая роковым соблазном, сознавая всю величину совершаемого проступка и не имея иной поддержки среди обуревающего ее сомнения, кроме слепой веры в скромность, порядочность избранника своего сердца, которому она отдает больше нежели жизнь; и кроме того, ей предстоит преодолеть наглое любопытство нескольких мерзавцев, а быть может, и услышать их грязные шуточки.

Какой стыд! Какой жестокий урок, какое откровение для сбившейся с пути женщины, которая жила до тех пор лишь среди самых пленительных, поэтических иллюзий любви!

А мужчина, ради которого она рискует бесчестьем, пренебрегает опасностями, будет ли он хотя бы тронут теми мучительными тревогами, которые она переносит из-за него?

Нет...

Бедная женщина! Слепая страсть в последний раз увлекает ее на край пропасти. Мужественным усилием воли она снова спасает свою добродетель. Что почувствует ее герой, подумав об этой тягостной, об этой святой борьбе?

Он почувствует досаду, злобу, гнев при мысли, что трижды напрасно потревожил себя и что его дурацкому чванству нанесен серьезный ущерб в глазах... привратника.

Наконец, последний штрих его неслыханно грубого поведения: для первого свидания человек этот говорит и одевается так, что он должен вызвать растерянность, замешательство у женщины, и без того подавленной смятением и стыдом!

«О, – думал Родольф, – какой страшный урок был бы преподан этой женщине (надеюсь, мне незнакомой), если бы она услышала, в каких мерзких выражениях говорилось здесь о ее поведении, несомненно преступном, но которое стоило ей стольких слез, опасений и таких жгучих угрызений совести!»

И, представив себе, что героиней этой печальной истории могла быть маркиза д'Арвиль, Родольф задумался о том, в силу какого ослепления, какого рока она могла предпочесть г-ну д'Арвилю, молодому, умному, преданному, щедрому и, главное, нежно ее любящему, этого недалекого, скупого, заядлого эгоиста? Неужели она влюбилась во внешность офицера, как говорят, очень красивого?

Однако Родольф знал г-жу д'Арвиль как женщину со вкусом, сердечную, умную, с возвышенным характером и незапятнанной репутацией. Где она познакомилась с этим человеком? Родольф довольно часто бывал в ее доме и не мог припомнить, чтобы ему доводилось встречать там молодого человека, похожего на этого военного. По зрелом размышлении он почти убедил себя, что речь шла не о маркизе.

Госпожа Пипле, закончив свои кулинарные хлопоты, снова подошла к Родольфу.

– Кто живет на третьем этаже? – спросил он.

– Мамаша Бюрет, редкостная гадалка. Она читает по вашей руке как по открытой книге. У нее бывают очень приличные люди с просьбой погадать им... Она загребает большущие деньги. Да и к тому же гадание не единственное ее ремесло.

– Чем же она еще занимается?

– У нее на дому имеется, так сказать, ссудная касса.

– Что такое?

– Я говорю вам об этом, потому что вы еще молодой человек, а такая касса может побудить вас снять у нас комнату.

– Почему?

– Скоро Масленица, на улицах появятся ряженые: пьеро и пьеретты, грузчики, турки, дикари; в эти дни даже зажиточные люди бывают стеснены в деньгах... Подумайте, как удобно найти выход из положения в своем же доме, вместо того чтобы бежать к «моей тетушке», что гораздо унижительнее, ведь от правительства такого шага не скроешь.

– К вашей тетушке? Значит, она ссужает деньги под залог?

– Неужели вы этого не знаете?.. Полноте, шутник этакий!.. Не прикидывайтесь простаком!

– Я вовсе не прикидываюсь простаком! Почему вы так думаете, госпожа Пипле?

– Спрашиваете, дает ли «моя тетушка» деньги под залог.

– Потому что...

– Потому что все люди, вышедшие из детского возраста, знают, что сходить к «моей тетушке» значит отнести что-нибудь в ссудную кассу.

– А, понимаю... жилища с третьего этажа тоже ссужают деньги под залог.

– Ну и притворщик! Конечно, и гораздо дешевле, чем в большой кассе. Да и, кроме того, иметь с ней дело очень просто... Вы не обременены кучей бумаг, расписок, цифр... ничего такого вам не требуется. Возьмем такой пример: вы приносите мамаше Бюрет рубашку, которая стоит три франка, она дает вам на руки десять су, через неделю вы уплачиваете ей двадцать су, в противном случае ваша рубашка остается у нее. Это же проще простого, правда? Расчет идет в круглых цифрах! Ребенок и тот поймет это.

– В самом деле, все очень просто; но я полагал, что давать деньги под залог запрещено законом.

– Ха! ха! ха! – громко расхохоталась г-жа Пипле. – Вы что, недавно из деревни приехали, молодой человек?.. Простите, я разговариваю с вами так, как если бы была вашей матерью.

– Вы очень добры.

– Понятное дело, запрещено; но если бы люди делали только то, что дозволено, многим пришлось бы потуже затянуть пояс. Мамаша Бюрет ничего не записывает, не дает никаких квитанций, против нее нет улик, и ей плевать на полицию. Вы бы посмотрели, чего только ей не приносят, можно животики надорвать! Я видела, что она ссужала деньги под залог серого попугая, который ругался как одержимый, негодник эдакий!

– Под залог попугая? Сколько же он стоил?

– Погодите... Его здесь все знают: это попугай госпожи Эрбело, вдовы почтальона, которая живет неподалеку отсюда, на улице Сент-Авуа; она дорожит им больше жизни; мамаша Бюрет говорит ей: «Я вам ссужу десять франков под вашу птицу, но если через неделю, в полдень, я не получу своих двадцати франков...»

– Десяти франков...

– Вместе с процентами выходило ровно двадцать франков плюс расходы на кормежку, – «я дам Жако несколько листиков петрушки, приправленных мышьяком». Можете не сомневаться, она прекрасно знает своих клиентов. Ровно через неделю напуганная госпожа Эрбело принесла требуемые двадцать франков и получила обратно свою противную птицу, которая с утра до ночи выкрикивала ругательства. Да такие, что они заставляют краснеть Альфреда, человека донельзя стыдливого. Оно и понятно: его отец был священником... а в революцию, знаете... иные священники женились на монахинях.

– Полагаю, у мамыши Бюрет нет другого ремесла?

– Другого нет, если хотите. Не знаю только, чем они иной раз занимаются с одноглазой по прозвищу Сычиха, запершись в комнатушке, куда никто не входит, за исключением Краснорукого.

Родольф в изумлении взглянул на привратницу.

Последняя по-своему объяснила удивление своего будущего жильца.

– Странное прозвище, правда?

– Да... И эта женщина часто сюда приходит?

– Она не появлялась полтора месяца; но позавчера мы видели ее, она стала немного прихрамывать.

– Чем же она занимается со здешней гадалкой?

– Чего не знаю, того не знаю. Видела только, что в комнатушку, о которой я вам говорила, Сычиха входит не иначе как с господином Красноруким и с мамашей Бюрет; я заметила также, что в эти дни одноглазая что-то приносит в своей корзине, а господин Краснорукий прячет какой-то сверток под плащом, но обратно они ничего не выносят.

– А что может быть в этих свертках?

– Кто его знает, но из всего этого они готовят какое-то зелье, так как на лестнице чувствуется запах серы, угля и расплавленного олова; а потом слышишь, что у них в комнате что-то пытит, пытит, пытит... словно кузнечные мехи. Ясное дело, мамаша Бюрет либо ворожит, либо колдовством занимается... Так говорит, по крайней мере, жилец с четвертого этажа, господин Сезар Брадаманти. Ну и тип, я вам доложу! Я называю его типом, по-настоящему же он итальянец, хоть и говорит по-французски, как мы с вами, только с сильным акцентом. Главное, он очень ученый: всякие лекарственные растения знает и зубы умеет рвать, и делает это не за деньги, а чтобы заслужить уважение людей. Скажем, у вас есть шесть гнилых зубов, он вырвет вам пять задаром, а плату возьмет лишь за шестой, сам об этом говорит встречным и поперечным. И не его это вина, если у вас нет шестого испорченного зуба.

– Как это великодушно с его стороны!

– Кроме того, он торгует превосходной водой: она помогает при выпадении волос, вылечивает глазные болезни, мозоли на ногах, расстройство желудка и уничтожает крыс лучше всякого мышьяка.

– И этой же водой он лечит расстройство желудка?

– Да.

– И ею же убивает крыс?

– Да, всех до единой, потому что лекарство, полезное человеку, бывает вредно животным.

– Вы правы, госпожа Пипле, я не подумал об этом.

– А вода эта очень хороша, ведь она настояща на травах, которые господин Брадаманти собрал в горах Ливана, там, где живут люди, похожие на американцев; оттуда он вывез и своего злющего коня, белого с коричневатыми пятнами. Знаете, когда господин Сезар Брадаманти, одетый в красный костюм с желтыми отворотами и в шляпе с пером, сидит в седле, стоит раскошелиться, чтобы взглянуть на него. Не в обиду будь ему сказано, он походит тогда со своей рыжей бородой на Иуду Искариота. Месяц тому назад он нанял Хромулю, сына господина Краснорукого, и одел его на манер трубадура: черная шапочка, белый воротничок и абрикосовая курточка; мальчишка бьет в барабан возле господина Сезара, чтобы привлечь к нему клиентов. И кроме того, ухаживает за пятнистым конем дантиста.

– По-моему, сын вашего главного съемщика занимает весьма скромную должность.

– Отец говорит, что мальчишка должен узнать, почем фунт лиха, иначе он кончит жизнь на эшафоте. В самом деле Хромуля хитер, как обезьяна... и злюка при этом. Он не одну шутку сыграл с бедным господином Сезаром, честнейшим из людей. Подумайте только, он вылечил Альфреда от ревматизма, после чего мы оба питаем к нему слабость. А некоторые зловредные люди утверждают, сударь... но нет, от таких слов волосы встают дыбом. Альфред говорит, что, если это правда, дело могло бы обернуться каторгой.

– Скажите же, в чем тут дело?

– Не смею, язык не повернется.

– Ну так забудем об этом.

– Видите ли, честное слово, сказать такое молодому человеку...

– Не будем говорить об этом, госпожа Пипле.

– Но поскольку вы будете жить в нашем доме, лучше предупредить вас об этих сплетнях.

Ведь вы можете зайти к господину Брадаманти, подружиться с ним, а стоит вам поверить таким слухам, и они помешают вашему знакомству.

– Говорите, я слушаю.

– Болтают, что когда... девушке случится сделать глупость... понимаете? И она боится последствий...

– И что же?

– Право, не смею.

– Ну же!..

– Нет, к тому же это глупости...

– Скажите все-таки.

– Враки.

– Скажите, какие именно?

– Это говорят люди, завидующие пятнистому коню господина Сезара.

– Отлично, но что же они говорят, в конце концов?

– Язык не поворачивается.

– Но какое может быть отношение между девушкой, сделавшей глупость, и шарлатаном?

– Я не говорю, что это правда!

– Но, ради бога, в чем тут дело? – воскликнул Родольф, выведенный из терпения странными недомолвками г-жи Пипле.

– Послушайте, молодой человек, – продолжала привратница торжественным тоном, – дайте мне честное слово, что никогда, никому не повторите моих слов!

– Прежде чем дать вам такую клятву, я должен знать, в чем дело.

– Если я расскажу вам об этом, то не из-за шести франков, которые вы мне обещали, не из-за черносмородиновой настойки...

– Хорошо, хорошо.

– А только из-за доверия, которое вы мне внушаете.

– Пусть так.

– И чтобы оказать услугу этому бедному господину Брадаманти, оправдать его в ваших глазах.

– Ваши намерения превосходны, не сомневаюсь, итак...

– Ну вот, опять у меня язык не поворачивается. Знаете, я вам скажу это на ушко, мне будет не так стыдно... Подумать только, какой я ребенок, а?

И старуха шепотом сказала несколько слов Родольфу, который вздрогнул от омерзения.

– Но это ужасно! – воскликнул он, невольно вскакивая на ноги и чуть ли не со страхом смотря вокруг себя, словно этот дом был проклят. – Боже мой, боже мой! – прошептал он в горестном недоумении. – Так, значит, такие чудовищные преступления возможны! И эта омерзительная старуха чуть ли не равнодушно отнеслась к сделанному ею гнусному признанию.

Привратница, продолжавшая заниматься хозяйством, не услышала этих слов Родольфа.

– Такие пакости могут говорить лишь злостные сплетники, – проговорила она. – Как они смеют чернить человека, вылечившего Альфреда от ревматизма, привезшего из Ливана пятнистую лошадь, бесплатно удаляющего пять зубов из шести, имеющего аттестаты со всей Европы, который день в день вносит квартирную плату? Ей-богу, лучше умереть, чем поверить подобным рассказам!

В то время как г-жа Пипле кипела негодованием против клеветников шарлатана, Родольф вспомнил письмо, адресованное этому человеку, которое было написано на толстой бумаге, измененным почерком, со следами слез, размывших иные буквы.

Родольф почувствовал драму в этих слезах, в этом таинственном послании.

Страшную драму.

Предчувствие подсказало ему, что жуткие слухи, ходившие об итальянце, не были лишены основания.

– А вот и Альфред, – вскричала привратница, – он скажет вам, как и я, что только злые языки могут обвинять во всяких ужасах этого бедного господина Сезара Брадаманти, который вылечил его от ревматизма.

Глава X. Господин Пипле

Считаем нужным напомнить читателю, что все эти факты относятся к 1838 году...

Господин Пипле вошел в привратницкую с видом серьезным, осанистым; у этого человека, лет шестидесяти от роду, был огромный нос, внушительная полнота, большое лицо, вылепленное и раскрашенное вроде нюрнбергских щелкунчиков. Над этим странным и неподвижным лицом возвышался расширяющийся кверху широкополый и порыжевший от старости цилиндр.

На Альфреде, не расстававшемся с этой шляпой так же, как его жена не расставалась со своим причудливым париком, был старый зеленый костюм с длинными полами и словно свинцовыми отворотами, ибо они лоснились от грязи. Несмотря на цилиндр и зеленый костюм, не лишенный парадности, он не снял скромной эмблемы своего ремесла – кожаного фартука, рыжеватый треугольник которого выделялся на фоне жилета, такого же пестрого, как лоскутное одеяло г-жи Пипле.

Привратник довольно приветливо раскланялся с Родольфом, но, увы, улыбка его была преисполнена горечи. Кроме того, в ней сквозила та глубокая меланхолия, о которой говорила Родольфу г-жа Пипле.

– Альфред, этот господин хочет снять комнату с чуланом на пятом этаже, – сказала г-жа Пипле, представляя Родольфа своему мужу, – и мы ждали тебя, чтобы вместе распить по стаканчику черносмородиновой наливки, которую он заказал.

Эта любезность сразу расположила г-на Пипле к Родольфу: он поднес руку к своей шляпе и произнес голосом, достойным певчего из кафедрального собора:

– Уверен, сударь, мы устроим вас как привратники, а вы устроите нас как жилец: ведь кто на кого похож, тот с тем и схож. Если только, – с тревогой добавил г-н Пипле, – вы не художник.

– Нет, я коммивояжер.

– В таком случае, сударь, разрешите засвидетельствовать вам мое нижайшее почтение. Я счастлив, что природа не создала вас художником – все они исчадья ада!

– Художники – исчадья ада? – переспросил Родольф.

Вместо ответа г-н Пипле поднял руки к потолку и издал нечто вроде негодующего стенания.

– Именно художники отравили жизнь Альфреду. Это они вызвали у него меланхолию, о которой я вам говорила, – тихо сказала г-жа Пипле Родольфу.

И продолжала громче ласковым тоном:

– Полно, Альфред, будь благоразумен, не думай об этих повесах... иначе ты вконец расстроишься и не станешь обедать.

– Нет, я возьму себя в руки и буду благоразумен, – ответил г-н Пипле с печальным достоинством человека, смирившегося со своей участью. – Некий художник сделал мне много зла: он был моим преследователем, моим палачом, но теперь я презираю его. Поверьте, сударь, – продолжал он, повернувшись лицом к Родольфу, – художники – хуже чумы: они пачкают, разрушают дома.

– У вас снимал комнату художник?

– Увы, сударь, был у нас один такой! – с горечью молвил г-н Пипле. – Звали его Кабрионом!

При этом воспоминании привратник судорожно сжал кулаки, несмотря на свою кажущуюся сдержанность.

– Не он ли был последним жильцом комнаты, которую я собираюсь снять? – спросил Родольф.

– Нет, нет, последний был славным парнем по имени Жермен, а до него ее занимал Кабрион. Можете мне поверить, сударь, до того, как этот Кабрион съехал с квартиры, он чуть не довел меня до болезни, до сумасшествия.

– Неужели вы так сожалели об его отъезде? – спросил Родольф.

– Сожалеть о Кабрионе! – изумленно воскликнул привратник. – Сожалеть о Кабрионе! Представьте себе, сударь, господин Краснорукий уплатил ему двухмесячную квартирную плату, чтобы заставить его убраться отсюда; ибо, на наше несчастье, с ним был заключен договор на целый год. Ну и сорванец! Уму непостижимо, какие фортели он выкидывал с нами и с жильцами этого дома. Приведу вам один пример: не было такого духового инструмента, от охотничьего рожка до серпента, которым не воспользовался бы этот мерзавец! Да еще нарочно фальшивил при игре или повторял целыми часами одну и ту же ноту. От этого у всех нас голова раскалывалась. Мы больше двадцати раз подавали прошение господину Краснорукому, главному съемщику, прося его выгнать этого прощельгу. Наконец мы добились своего, уплатив ему двухмесячную квартирную плату. Что за несусазица, сударь, платить съемщику за два месяца вперед! Но мы готовы были уплатить ему за три месяца, лишь бы избавиться от него. Наконец он уезжает... Вы, может быть, думаете, что с Кабрионом покончено? Ничего подобного. На следующий день в одиннадцать часов вечера я уже успел лечь спать. Бум, бум, бум! Кто-то стучит. Я дергаю за веревку. Какой-то мужчина входит в привратницкую. «Добрый вечер, привратник, – говорит незнакомый голос, – будьте так любезны, дайте мне прядь своих волос!» Супруга говорит мне: «Этот человек ошибся дверью!» И я отвечаю неизвестному: «Это не здесь, обратитесь рядом». – «Но ведь это дом семнадцать? И фамилия его привратника Пиппле?» – «Да, говорю я, моя фамилия Пиппле». – «Дружище, я попрошу прядь ваших волос для Кабриона; это его желание, личная его просьба, она ему необходима».

Господин Пиппле взглянул на Родольфа, покачал головой и скрестил на груди руки в поистине скульптурной позе.

– Понимаете, сударь? Он бесстыдно просил у меня, своего смертельного врага, которого поносил на все лады, прядь моих волос – милость, в которой дамы отказывают иной раз даже своему возлюбленному.

– Куда бы еще ни шло, будь этот Кабрион хорошим жильцом вроде господина Жермена, – заметил Родольф с невозмутимым хладнокровием.

– Даже в этом случае я не дал бы ему пряди своих волос, – величественно сказал человек в цилиндре, – это не в моих принципах, не в моих привычках; но с другим человеком я счел бы своим долгом облечь отказ в вежливую форму.

– Это еще не все, – подхватила привратница. – Представьте себе, сударь, что с того самого дня, в любой час – утром, вечером, ночью, этот мерзкий человек подсылал к Альфреду кучу молоденьких мазил, которые являлись один за другим и требовали у Альфреда прядь его волос для Кабриона!

– Вы, может быть, думаете, что я сдался? – возмущенно заявил г-н Пиппле. – Как бы не так! Меня скорее бы отправили на эшафот! После трех-четырёх месяцев упорства с их стороны и сопротивления с моей я восторжествовал благодаря энергии и выдержке над этими негодьями. Они поняли, что натолкнулись на железную волю, и отказались от своих наглых выходов. Но все же, сударь, я получил удар вот сюда. – Альфред поднес руку к сердцу. – Сон у меня сделался тревожным, словно я совершил преступление. Я поминутно просыпался, так как мне чудился голос этого проклятого Кабриона. Я опасался всех и каждого, в любом человеке видел врага; я потерял свою обычную приветливость. Когда в окне привратницкой появлялось чужое лицо, я вздрагивал, опасаясь, что это кто-нибудь из банды Кабриона. Я стал подозрительным, хмурым,

злостью, словно преступник... Я боялся открыть свою душу при первом знакомстве из страха, что этот человек подослан Кабрионом; я потерял вкус ко всему на свете.

Тут г-жа Пипле поднесла указательный палец к своему левому глазу, словно для того, чтобы смахнуть набежавшую слезу, и утвердительно кивнула.

– В конце концов я замкнулся в себе, – продолжал Альфред все более жалобным тоном, – и равнодушно смотрю, как течет река жизни. Разве я был не прав, говоря, что Кабрион, это исчадие ада, отравил мое существование?

И г-н Пипле, глубоко вздохнув, склонил свой высокий цилиндр, словно под гнетом огромного несчастья.

– Понимаю теперь, почему вы не любите художников, – заметил Родольф, – но, надеюсь, господин Жермен, о котором вы упоминали, сгладил неприятное впечатление, оставленное Кабрионом?

– О да, сударь! Вот поистине добрый и достойный молодой человек, бесхитростный, услужливый, не гордый и по-настоящему веселый, так как его шутки никого не задевали, он полная противоположность нахальному и насмешливому Кабриону, да покарает его господь!

– Полно, успокойтесь, дорогой господин Пипле, не произносите больше его имени. А какого же домовладельца осчастливил теперь господин Жермен, этот перл всех жильцов?

– О господине Жермене нет ни слуху ни духу... Никто не знает, куда он переехал... Никто... За исключением мамзель Хохотушки.

– Хохотушки? Кто она такая? – спросил Родольф.

– Простая работница и тоже живет на пятом этаже, – подхватила г-жа Пипле. – Она настоящая жемчужина: за квартиру платит загодя, и такая чистюля, такая любезная и веселая... ласковая, радостная, точно птичка божия. И прилежная, как Золушка; иной раз она зарабатывает до двух франков в день, но, понятно, для этого ей приходится здорово гнуть спину.

– Но почему мадемуазель Хохотушка одна знает, где живет Жермен?

– Прежде чем выехать из нашего дома, – продолжала г-жа Пипле, – он сказал нам: «Писем я не жду, но если случайно придет письмо на мое имя, отдайте его мамзель Хохотушке». Ведь правда, Альфред, ей вполне можно доверить даже ценное письмо?

– Да, насчет мамзель Хохотушки ничего дурного не скажешь, – сурово заметил привратник, – если бы не ее слабость к этому прохвосту Кабриону.

– Что до этого, Альфред, – проговорила привратница, – Хохотушка тут ни при чем, все зависит от помещения. Ведь то же самое было с коммивояжером, который жил в этой комнате до Кабриона, и с господином Жерменом, поселившимся там после подлеца Кабриона; ей-богу, иначе и быть не может, все зависит от воздуха этого этажа.

– Значит, все жильцы комнаты, которую я собираюсь занять, ухаживают за мадемуазель Хохотушкой?

– Да, сударь, и это нетрудно понять: обе комнаты находятся рядом; жилец оказывается соседом Хохотушки; знаете, как это бывает с молодежью... то надо лампу зажечь, то занять раскаленных угольков или же воды. О, что до воды, ее всегда найдешь у Хохотушки, чего другого, а в воде у девушки не бывает недостатка: это ее роскошь, она настоящая утка. Как только у нее выдается свободная минутка, она принимается мыть окна, пол, все свое помещение. Потому-то у нее всегда так чисто!.. Впрочем, вы сами убедитесь в этом.

– Итак, господин Жермен тоже испытал на себе влияние мадемуазель Хохотушки и стал ее добрым другом?

– Да, сударь, и надо сказать, что они прямо-таки были рождены друг для друга. Такие оба красивенькие, молодые; одно удовольствие было смотреть, как они спускаются по лестнице в воскресенье, единственный свободный день этих бедных детей! Она принаряженная, в хорошеньком чепчике и хорошеньком платьице из ткани по двадцать пять су за локоть, в котором она выглядела королевой, он же одет как настоящий щеголь!

– И господин Жермен больше не виделся с девушкой с тех пор, как выехал из этого дома?

– Нет, сударь, если только они не встречаются по воскресеньям, потому что в другие дни Хохотушке некогда думать о любовниках, ей-богу! Она встает в пять или шесть утра и работает до десяти, а иной раз до одиннадцати вечера; она никогда не выходит из своей комнаты, разве что утром, чтобы купить провизии для себя и своих двух канареек, втроем они, право, не так много едят: на два су молока, немного хлеба, салата, пшена, зернышек для птиц и свежей чистой воды. Но это не мешает девушке и двум канарейкам петь и щебетать так, что слушать их одно удовольствие!.. Да и девушка она добрая, сострадательная; правда, деньгами она никому не может помочь; бедняжка работает иной раз по двенадцати часов в день и еле сводит концы с концами, но она недосыпает ночей, чтобы уделить внимание обездоленным, позаботиться о них... Возьмем хотя бы несчастных людей, что ютятся на мансарде, как раз их-то господин Краснорукий и собирается выкинуть на улицу через три-четыре дня. Так вот мамзель Хохотушка и господин Жермен несколько ночей кряду ухаживали за их больными детьми!

– Значит, в этом доме живет нуждающаяся семья?

– Нуждающаяся, сударь? Бог ты мой! Несчастнее их трудно сыскать! Пятеро малолетних детей, тяжело больная мать и полоумная бабка; а кормит всю эту ораву единственный в семье мужчина, работяга, каких мало, но он даже хлеба не ест досыта, хотя трудится, как негр. Спит три часа в сутки, да и какой это сон, когда дети просят: «Хлеба, хлеба!» – больная жена стонет на своем соломенном тюфяке, а старая идиотка принимается иной раз выть, как волчица... тоже, понятно, от голода, потому что разума у нее не больше, чем у скотины. Когда у нее живот подводит, по всей лестнице раздаются ее вопли.

– Какой ужас! – воскликнул Родольф. – И никто им не помогает?

– Как вам сказать, сударь, такие бедняки, как мы, выручаем друг друга по силе возможности. С тех пор как офицер платит мне двенадцать франков в месяц за уборку, я раз в неделю варю мясо и отношу этим горемыкам кастрюльку бульона. Мамзель Хохотушка недосыпает ночей и шьет из оставшихся лоскутов чепчики и распашонки для малышей, но, разумеется, в такие вечера ей приходится платить лишку за освещение... А бедный господин Жермен, который тоже не был богачом, притворялся, будто получает время от времени из деревни несколько бутылок хорошего вина, и тогда Морель (так зовут этого рабочего) выпивал стакан или два, что хоть ненадолго подбадривало его.

– А шарлатан не помогал этим бедным людям?

– Господин Брадаманти? – переспросил привратник. – Он вылечил меня от ревматизма, что правда, то правда, я уважаю его за это; но я тогда же сказал своей подруге: «Анастаси, господин Брадаманти...» Гм, гм! Я ведь кое-что сказал тебе о нем, Анастаси?

– Да, правда, но он любит пошутить! По крайней мере, на свой лад, почти не раскрывая рта.

– Но что он сделал для Морелей?

– Видите ли, сударь. Когда я заговорила с ним о бедственном положении Морелей, а заговорила я в ответ на его жалобу, что старуха выла всю ночь и не давала ему спать, он ответил: «Если они такие несчастные, я готов бесплатно вырвать у одного из них шестой зуб, если он у него испорчен, и уступить им за полцены бутылку моей целебной воды».

– Так вот, хоть он и вылечил меня от ревматизма, – воскликнул господин Пипле, – я утверждаю, что говорить так нехорошо, но он вечно такие шутки шутит. Будь они только непристойные!..

– Подумай, Альфред, ведь он итальянец, быть может, у них принято так шутить.

– Право, госпожа Пипле, – сказал Родольф, – у меня создалось дурное впечатление об этом человеке, и я не стану ни заходить к нему, ни, как вы говорите, водить с ним компанию... А женщина, что дает деньги под залог, оказалась более щедрой?

– Гм! Не больше, чем господин Брадаманти, – сказала привратница, – она дала Морелям денег под залог их тряпья... Все, что у них было, перекочевало к ней, вплоть до последнего тюфяка... Дело не затянулось, так как больше двух тюфяков у них никогда не было.

– А теперь она им не помогает?

– Мамаша Бюрет? Как бы не так: в своем роде она такая же сквалыга, как и ее любовник; можете мне поверить: господин Краснорукий и мамаша Бюрет... – заметила привратница, с необыкновенным лукавством сощурилась и покачала головой.

– Неужели? – спросил Родольф.

– Еще бы... любовь до гроба!.. Ничего не поделаешь! Ночи бабьего лета так же горячи, как и летние ночи, правда, старый дорогуша?

Вместо ответа г-н Пипле меланхолически покачал своим цилиндром.

– Чем занимается этот несчастный рабочий? Какое у него ремесло?

– Он гранильщик фальшивых камней; работает сдельно и так много сидит сторбившись, что весь скособочился. Вы сами убедитесь в этом... Впрочем, выше головы не прыгнешь, а когда надо прокормить, кроме себя, ораву из семи человек, вот и приходится тянуть лямку! Хорошо еще, что старшая дочь помогает ему по силе возможности, да возможности-то у нее не больно велики.

– А сколько лет девочке?

– Семнадцать, и хороша при этом, как картинка; она работает служанкой у старого скряги и такого богача, что он мог бы скупить весь Париж; это нотариус по имени Жак Ферран.

– Жак Ферран! – воскликнул Родольф, удивленный этим новым совпадением, ибо у нотариуса Феррана или, по крайней мере, у его экономки он должен был получить сведения о Певунье. – Это тот самый Жак Ферран, что живет на Пешеходной улице?

– Правильно!.. Вы его знаете?

– Он нотариус того торгового дома, где я работаю.

– Значит, вам известно, что он скряга, каких мало; но, надо сказать, человек он честный и богомольный... По воскресеньям ходит к обедне и к вечерне, исповедуется и причащается на Страстной неделе; если он и устраивает застолье, то для одних только священников, пьет святую воду и ест благословленный хлеб... Принимает скудные сбережения от бедноты. Словом, он праведник! А вместе с тем скуп и безжалостен и к другим, и к себе. Уже полтора года, как несчастная Луиза, дочка Мореля, служит у него в прислугах. Девушка сущая овечка по характеру, а работает как лошадь и за какие-то жалкие восемнадцать франков в месяц делает всю работу по дому; шесть франков оставляет себе, а все остальное отдает родителям. Конечно, это подспорье в хозяйстве, но ведь в семье-то восемь ртов!..

– И все же отец что-то зарабатывает, если он трудолюбив.

– Такого работягу, как он, поискать! За всю жизнь даже не притронулся к спиртному. Человек он порядочный, добрый, как Иисус Христос. За свое усердие он готов просить у господ бога лишь одного: чтобы в сутках было сорок восемь часов. Тогда он заработал бы побольше денег для своей ребятни.

– Неужели у него такая невыгодная работа?

– Он три месяца проболел, и это выбило его из колеи; жена погубила свое здоровье, ухаживая за ним, и теперь сама дышит на ладан; последние три месяца им пришлось жить на двенадцать франков Луизы, на то, что они получали под залог у мамыши Бюрет, и на несколько экю, которые им ссудила посредница, доставляющая ему работу. Но подумать только, ведь их восемь человек. Они у меня из головы не выходят, а посмотрели бы вы на их трущобу!.. Но довольно говорить об этом: мой обед готов, а при мысли об их мансарде у меня тошнота подступает к горлу. К счастью, господин Краснорукий скоро выселит их из дома. Я говорю это не по злобе, поверьте, но если уж так повелось, что кто-то должен прозябать в нищете, как

эти несчастные Морели, пусть лучше прозябают в другом месте, мы все равно не можем им помочь. Зато перед глазами у нас одной бедой будет меньше.

– Но если он выгонит их, куда же они пойдут?

– Почем я знаю.

– А сколько зарабатывает в день этот рабочий?

– Если бы ему не приходилось ухаживать за матерью, женой и детьми, он зарабатывал бы четыре-пять франков, уж больно он старательный, но три четверти времени бедняга занят хозяйством, а потому выгоняет не больше сорока су.

– Это не густо. Несчастные люди!

– Да уж, несчастнее быть некуда! Вы правильно сказали. Но на свете столько горемык, которым мы все равно не можем помочь, что приходится в чем-то искать утешение, не правда ли, Альфред? Кстати, мы совсем забыли про черносмородиновую наливку.

– По правде говоря, госпожа Пипле, то, что вы мне рассказали, расстроило меня – вы выпьете наливку за мое здоровье вместе с господином Пипле.

– Вы очень любезны, сударь, – проговорил привратник, – но скажите, вы по-прежнему хотите посмотреть комнату на пятом этаже?

– Охотно, и, если она мне подойдет, я тут же дам вам задаток.

Привратник вышел из своего логова. Родольф последовал за ним.

Глава XI. Четыре этажа

Темная сырая лестница казалась еще мрачнее в этот печальный зимний день.

Для человека наблюдательного каждая дверь, ведущая в одну из квартир дома, имела свой неповторимый вид.

Так, дверь в холостяцкую квартиру офицера была только что выкрашена в коричневый цвет с прожилками под стать палисандровому дереву; медная позолоченная ручка сверкала над замочной скважиной, а великолепный шнур звонка с красной шелковой кистью контрастировал с грязными облупленными стенами.

Дверь третьего этажа, занимаемого гадалкой, которая давала деньги под залог, являла еще более странное зрелище: чучело совы, птицы в высшей степени символической и загадочной, было прибито за крылья и лапки к дверной раме, а зарешеченное окошечко позволяло гадалке рассмотреть посетителя, прежде нежели впустить его.

Жилище итальянского шарлатана, подозреваемого в том, что он занимается недозволенным ремеслом, тоже выделялось своим необычным входом, ибо его фамилия была выведена из лошадиных зубов, вделанных в прибитую к двери черную деревянную доску.

Шнур от звонка не заканчивался, как обычно, лапкой зайца или копытцем косули, а мумифицированной рукой обезьяны.

Вид ссохшейся ручки с пятью маленькими пальчиками и ноготками был омерзителен.

Казалось, будто это ручка ребенка.

В ту минуту, когда Родольф проходил мимо этой показавшейся ему зловещей двери, за ней послышались сдерживаемые рыдания, затем тишину дома внезапно нарушил крик боли, крик судорожный, пугающий, словно исторгнутый из глубины человеческого сердца.

Родольф вздрогнул.

Чувство опередило сознание, он подбежал к двери и резко позвонил.

– Что с вами, сударь? – спросил удивленный привратник.

– Какой жуткий крик, – проговорил Родольф, – разве вы не слышали?

– Понятно, слышал. Кричал, верно, какой-нибудь пациент господина Сезара Брадаманти, которому он вырвал зуб или два.

Это объяснение было правдоподобно, но оно не удовлетворило Родольфа.

Только что раздавшийся крик показался ему не только воплем физической боли, но и, если можно так выразиться, боли душевной.

Звонок прозвучал очень громко.

Сперва никто на него не отозвался.

Послышалось хлопанье дверей; затем за стеклом небольшого оконца, пробитого возле двери, на которое машинально смотрел Родольф, появились смутные очертания изможденного синевато-бледного омерзительного лица с копной рыжих с проседью волос и длинной, такого же цвета бородой.

Лицо тут же исчезло.

Родольф был ошеломлен.

Промелькнувшая в оконце физиономия показалась ему знакомой.

Эти блестящие зеленые, как аквамарин, глаза под широкими бровями, рыжими и взъерошенными, эта мертвенная бледность, этот тонкий нос, похожий на орлиный клюв, с широкими ноздрями, позволяющими видеть часть носовой перегородки, – все это ясно напомнило ему некоего аббата Полидори, которого проклинали во время своей беседы Мэрф и барон фон Граун.

Хотя Родольф не видел аббата Полидори шестнадцать или семнадцать лет, у него было множество причин не забывать его; одно обстоятельство сбивало его с толку: священник, которого, как ему казалось, он узнал в облике рыжего шарлатана, был прежде жгучим брюнетом.

Родольфа не слишком бы удивило (при условии, что его подозрения были обоснованы), если бы человек, облеченный саном священника, человек, известный своими дарованиями, обширными познаниями и редким умом, пал столь низко, что покрыл себя позором, ибо эти выдающиеся способности, эти обширные познания и редкий ум сочетались у него с величайшей испорченностью, с разнузданным поведением, порочными наклонностями и, главное, с таким циничным бахвальством, с таким убийственным презрением к людям и вещам, что, впад в заслуженную нищету, он не только мог, но и должен был прибегнуть к самым недостойным ухищрениям и находить своего рода ироническое, кощунственное удовлетворение в том, что он, человек с поистине выдающимися дарованиями и умом, он, облеченный саном священника, играет в жизни роль бесстыдного фигляра.

Но, повторяем, хотя они расстались с аббатом Полидори, когда тот был в расцвете сил и теперь должен был сравняться по возрасту с шарлатаном, между этими двумя людьми были столь явные различия, что Родольф усомнился в своей догадке.

– Давно ли поселился у вас в доме господин Брадаманти? – спросил он г-на Пипле.

– Около года тому назад, сударь, и тут же уплатил мне за январь месяц. Жилец он аккуратный и, главное, вылечил меня от злейшего ревматизма... Но, как я уже говорил вам, у него есть один недостаток: уж слишком много он зубоскалит и ни к чему не имеет уважения.

– В каком смысле?

– Я не невинная девушка, сударь, награжденная за добродетель, – серьезно проговорил г-н Пипле, – но смеяться можно по-разному.

– Так, значит, он весельчак?

– Дело не в том, что он человек веселый, как раз наоборот; вид у него как у мертвеца, и он никогда по-настоящему не смеется... а только на словах; для него нет ничего святого – ни отца, ни матери, ни бога, ни дьявола, он над всем издевается, даже над своей водой, своей целебной водой, сударь! Не скрою от вас, иной раз его шутки так пугают меня, что я весь покрываюсь гусиной кожей. Если ему случается провести у нас четверть часа, он пускается в непристойные разговоры о полуголых женщинах, которых повидал в далеких странах... и когда после этого мы с Анастаси остаемся с глазу на глаз... так вот, сударь, я, который за тридцать семь лет привык нежно любить жену и считаю такое отношение правильным... так вот, мне начинает казаться, что я меньше люблю ее... Вы будете смеяться надо мной... но господин Сезар рассказал нам как-то о пиршествах племенных вождей, на которых он присутствовал, чтобы проверить, достаточно ли прочны зубы, вставленные им этим царькам; так вот, после его ухода мне показалось, что пища горчит, и я потерял всякий аппетит. Наконец, я люблю свое дело, сударь, я горжусь им. Я мог бы шить новую обувь, как и многие сапожники-честолюбцы, но, по-моему, я приношу не меньше пользы, подбивая подметки к старым башмакам. Так вот, сударь, бывают дни, когда насмешки этого дьявола Брадаманти заставляют меня жалеть, что я не стал первоклассным сапожником, честное слово! А как он говорит о женщинах какого-нибудь дикого племени, которых близко знал... Повторяю, сударь, я не девушка, награжденная за добродетель, но иной раз, черт возьми, я краснею до корней волос, – прибавил г-н Пипле с видом оскорбленной добродетели.

– И госпожа Пипле терпит такие разговоры?

– Анастаси обожает умных людей, а, несмотря на свои вольные речи, господин Сезар очень умен; вот почему она все ему спускает.

– Она сказала мне также о некоторых чудовищных слухах...

– Сказала?

– Будьте покойны, я не болтлив.

– Так вот, сударь, я этим слухам не верю и никогда не поверю, и все же помимо моей воли они приходят мне на ум, а это еще увеличивает странное впечатление от шуток господина Брадаманти. Словом, сударь, скажу вам положила руку на сердце, что я ненавижу Кабриона и унесу эту ненависть с собой в могилу. Так вот, иной раз мне кажется, что я предпочел бы его бесстыдные проделки надо мной и нашими жильцами насмешкам, которыми сыплет с невозмутимым видом господин Сезар, неприятно морща губы, что напоминает мне агонию моего дядюшки Русело, который, хрипя перед смертью, морщил губы в точности как господин Брадаманти.

Несколько слов г-на Пипле о постоянной иронии, с которой шарлатан отзывается обо всех и обо всем и своими горькими шутками отравляет самые скромные радости, подтвердили первоначальные подозрения Родольфа; в самом деле, стоило аббату сбросить свойственную ему маску, как он неизменно проявлял самый наглый и возмутительный скептицизм.

Твердо решив выяснить свои сомнения, ибо присутствие аббата могло нарушить его планы, готовый придать зловещий смысл душераздирающему крику, поразившему его, Родольф последовал за привратником на следующий этаж, чтобы осмотреть сдаваемую внаем комнату.

Квартирку Хохотушки, находившуюся рядом с этой комнатой, легко было узнать по прелестному знаку внимания, оставленному ей художником, смертельным врагом г-на Пипле.

С полдюжины маленьких толстошеких амура, весьма изящно и остроумно написанных в духе Вагто, окружали дверную табличку, держа в руках всякие подходящие к случаю предметы – кто наперсток, кто ножницы, кто утюг или зеркальце; на светло-голубом фоне таблички красовалась выведенная розовой краской надпись: «Мадемуазель Хохотушка, портниха». Вся композиция была обрамлена гирляндой цветов, выделяющейся на бледно-зеленом фоне двери.

Это очаровательное небольшое панно являло резкий контраст с безобразием стен и лестницы.

Рискуя растравить кровоточащую рану Альфреда, Родольф все же обратился к нему с вопросом:

– Скажите, это, очевидно, работа господина Кабриона?

– Да, сударь, он отважился испортить эту дверь непристойной мазней, изобразив на ней голых детей, которых зовут амурами. Без горячих просьб мамзель Хохотушки и попустительства господина Краснорукого я бы все это соскоблил, а также палитру, что изображена на двери вашей комнаты.

В самом деле, палитра с полным набором красок как бы висела на этой двери.

Родольф последовал за привратником в довольно обширную комнату, предшествующую крохотной передней и освещенную двумя большими окнами, которые выходили на улицу Тампль; несколько фантастических набросков, изображенных на ее двери г-ном Кабрионом, были тщательно сохранены г-ном Жерменом.

У Родольфа было достаточно причин, чтобы снять эту комнату, и он вручил привратнику скромную сумму в сорок су.

– Комната мне вполне подходит, а вот и задаток; завтра я велю привезти сюда мебель. Как по-вашему, мне не надо обращаться к главному съемщику, господину Краснорукому? – спросил он у привратника.

– Нет, сударь, он лишь изредка навевается к нам: приходит лишь по своим делишкам с мамашей Бюрет. Все жильцы обращаются непосредственно ко мне; я попрошу вас только назвать ваше имя.

– Родольф.

– Родольф, а дальше?..

– Просто Родольф, господин Пипле.

– Ваше дело, сударь; я спросил об этом не из любопытства: каждый волен назваться любым именем.

– Скажите, господин Пипле, не следует ли мне зайти завтра к Морелям и узнать в качестве их нового соседа, не могу ли я помочь им в чем-нибудь, ведь мой предшественник, господин Жермен, тоже по мере сил помогал им.

– Конечно, сударь; только ваш визит будет ни к чему, ведь их выселяют отсюда, но он им польстит.

Затем, словно осененный внезапной догадкой, г-н Пипле взглянул на своего жильца с гордым, самодовольным и лукавым видом.

– Понимаю, понимаю! – воскликнул он. – Это для начала, чтобы зайти потом по-соседски к молоденькой швее.

– Как раз на это я и рассчитываю.

– Тут нет ничего дурного, сударь: таков обычай; и, знаете, мамзель Хохотушка, верно, услышала, что кто-то пришел осматривать комнату, и ждет не дожидается, чтобы увидеть нового жильца. Я погромче поверну ключ в замке, а вы не спускайте глаз с ее двери.

В самом деле, Родольф заметил, что дверь, так любезно украшенная амурами в стиле Ватто, была приоткрыта, и смутно различил за ней вздернутый носик и большие черные глаза, блестящие и любопытные; но как только он замедлил шаг, дверь сразу захлопнулась.

– Я же говорил, что она поджидает вас! – заметил привратник и, помолчав, добавил: – Прошу прощения, сударь!.. Я загляну в свою обсерваторию.

– Какую обсерваторию?

– На самом верху этой приставной лестницы имеется площадка, куда выходит дверь мансарды Морелей, а за обшивкой их стены я обнаружил небольшое углубление, куда и складываю всякий хлам. В стене много трещин, вот почему из этого углубления я вижу и слышу Морелей так же ясно, как будто сижу у них в комнате. Я не шпионю за ними, помилуй бог! Я просто смотрю на их жизнь, как на мрачную мелодраму. Зато, вернувшись к себе в привратническую, я чувствую себя так, словно попал во дворец. Вот что, сударь, если вам охота поглядеть на них, не то они скоро уедут... Зрелище это печальное, но любопытное, и, когда заходишь к ним, они ведут себя как дикари, стесняются, видите ли...

– Вы очень любезны, господин Пипле, как-нибудь в другой раз, может быть, завтра я воспользуюсь вашим предложением.

– Пожалуйста, сударь; но сейчас мне надо подняться в свою обсерваторию за куском сафьяна. Если вы желаете спуститься вниз, я вас догоню.

И г-н Пипле стал карабкаться по лестнице, ведущей на мансарду, – восхождение, довольно опасное в его возрасте.

Родольф бросил последний взгляд на дверь мамзель Хохотушки, думая о том, что эта девушка, бывшая приятельница бедной Певуньи, вероятно, знает, где нашел себе пристанище сын Грамотея, когда на этаже под ним кто-то вышел от шарлатана; он услышал легкую женскую поступь и шелест шелкового платья. Родольф задержался, чтобы не смущать посетительницу.

Когда звук ее шагов затих, он продолжил свой путь.

На последних ступеньках второго этажа он поднял носовой платок, видимо принадлежавший особе, побывавшей у шарлатана.

Родольф подошел к одному из узких окон, освещавших лестничную площадку, и рассмотрел платок, богато отделанный кружевами; на одном из его уголков были вышиты инициалы Л и Н, увенчанные герцогской короной.

Платок был буквально залит слезами.

Родольф хотел было ускорить шаг, чтобы отдать платок потерявшей его особе, но побоялся, что такая любезность может сойти за проявление непристойного любопытства; он оста-

вил у себя платок, случайно напав на след какой-то таинственной и, очевидно, мрачной истории.

Войдя к привратнице, он спросил:

– Скажите, госпожа Пипле, вы не заметили спустившейся по лестнице женщины?

– Да, сударь. От господина Сезара только что вышла красивая, высокая, стройная женщина под черной вуалью. Мальчишка Хромуля сходил за извозчиком, на котором она и уехала. Меня удивило, что этот негодник уселся на задок экипажа, быть может, чтобы посмотреть, где живет эта дама, ведь он любопытен, как сорока, и проворен, как хорек, несмотря на свою хромую ногу.

Итак, подумал Родольф, шарлатан узнает адрес этой женщины. Уж не он ли приказал Хромуле последовать за незнакомкой?

– Так как же, сударь? Подошла вам комната или нет? – спросила привратница.

– Вполне подошла; я снял ее и завтра же пришлю свою мебель.

– Да благословит вас бог, сударь, за то, что вы зашли к нам. В нашем доме появится хотя бы один приятный жилец. У вас такой добросердечный вид, что вы сразу приглянулись Пипле. Вы будете смешить его, как смешил господин Жермен, у которого всегда находилась для него какая-нибудь шутка; а моему бедному дорогуше только бы посмеяться; мне кажется поэтому, что не пройдет и месяца, как вы с ним крепко сдружитесь.

– Полноте, вы льстите мне, госпожа Пипле.

– Нисколько; я говорю от чистого сердца. А если вы будете милы с Альфредом, я отблагодарю вас; увидите вашу маленькую квартирку: я как зверь воюю с пылью; а если пожелаете отобедать с нами в воскресенье, я вам приготовлю такое угощение, что вы пальчики оближете.

– Договорились, госпожа Пипле, вы будете убирать мою комнату; завтра вам привезут мебель, а я зайду, чтобы проследить за ее расстановкой.

Родольф вышел.

Результаты его посещения дома на улице Тампль были весьма плодотворны не только для раскрытия тайны, которую он хотел узнать, но и для благородных целей, побуждавших его делать добро и предотвращать зло.

А результаты эти были таковы.

Мадемуазель Хохотушка явно была осведомлена о новом пристанище Франсуа Жермена, сына Грамотея.

Молодая женщина, весьма напоминавшая, увы, маркизу д'Арвиль, назначила на следующий день свидание офицеру, которое могло навеки запятнать ее доброе имя.

А Родольф по многим причинам относился с глубоким участием к г-ну д'Арвилю, спокойствие и честь которого были поставлены под угрозу.

При посредстве Краснорукого честный и работающий ремесленник, впавший в безысходную нищету, должен был вскоре оказаться на улице вместе со своей семьей.

Кроме того, Сычиха, недавно вышедшая из больницы, куда она попала после происшествия на аллее Вдов, поддерживала подозрительные сношения с г-жой Бюрет, гадалкой, дававшей деньги под залог, которая жила на третьем этаже этого же дома.

Собрав все эти сведения, Родольф вернулся домой на улицу Плюме; посещение нотариуса Жака Феррана он решил отложить до следующего дня, ибо в тот вечер ему предстояло побывать на роскошном балу в посольстве ***.

Прежде нежели принять участие с нашим героем в этом празднестве, давайте бросим взгляд на Тома и Сару, важных действующих лиц этой истории.

Глава XII. Том и Сара

Саре Сейтон, вдове графа Мак-Грегора, было тогда тридцать семь – тридцать восемь лет; она принадлежала к знатному шотландскому роду и была дочерью баронета, проживавшего обычно в своей усадьбе. Оставшись круглой сиротой в возрасте семнадцати лет, красавица Сара покинула Шотландию вместе с братом Томом Сейтоном оф Холсбери.

Нелепые пророчества крестьянки, бывшей кормилицы Сары, непомерно раздули основные недостатки девушки – гордость и тщеславие, ибо старуха с глубоким убеждением и редкой настойчивостью предсказывала ей самый высокий удел... Скажем прямо: удел королевы.

Юная шотландка поверила этим словам кормилицы и в угоду своему славолобию постоянно вспоминала, что некая гадалка тоже обещала корону красивой, очаровательной креолке, которая заняла впоследствии французский трон и была истинной королевой по обаянию и доброте, тогда как другие бывают королевами по величавости и благородству осанки.

Странное дело! Том Сейтон, такой же суеверный, как и его сестра, поощрял нелепые надежды Сары и решил посвятить свою жизнь осуществлению ее мечты, мечты столь же блестящей, сколь и безумной.

Однако брат с сестрой не были настолько слепы, чтобы твердо верить предсказаниям кормилицы, и вопреки своему горделивому презрению к второстепенным королевствам и княжествам готовы были пренебречь размерами этих владений, лишь бы корона увенчала взбалмошную головку Сары.

При помощи «Готского альманаха» на тысяча восемьсот девятнадцатый год от Рождества Христова Том Сейтон составил перед своим отъездом из Шотландии нечто вроде синоптической таблицы всех неженатых королей и принцев Европы с указанием возраста каждого из них.

Невзирая на всю их нелепость, честолюбивые мечты брата с сестрой были лишены неблагоприятных расчетов. Том собирался помочь Саре плести брачные интриги ради заполучения любого венценосца и способствовать ей во всех поисках, которые могли бы привести их обоих к желаемому результату; но он скорее убил бы сестру, чем видеть ее любовницей какого-нибудь принца, даже если бы такая связь сулила ей законный брак.

Своеобразный брачный список, составленный Томом и Сарой по «Готскому альманаху», удовлетворил их обоих.

Особенно много наследных принцев оказалось в Германском союзе. Сара была протестанткой; Том знал, с какой легкостью в Германии заключаются морганатические браки, браки вполне законные, и в крайнем случае готов был дать согласие на такой брачный союз. Итак, брат и сестра решили отправиться прежде всего в Германию и именно там приступить к предполагаемой ловле женихов.

Если такой проект покажется читателю невероятным, а такие надежды безумными, мы ответим прежде всего, что безудержное честолюбие, к тому же раздутое суеверием, вряд ли может претендовать на благоразумие, ибо его привлекает лишь невозможное; стоит вспомнить, кроме того, некоторые современные факты, начиная с респектабельных морганатических браков между монархами и нетитулованными особами и кончая любовной одиссеей мисс Пенелопы и принца Капуанского⁶⁸, чтобы отказать бредням Тома и Сары в возможности счастливого исхода.

Добавим, что чарующая красота сочеталась у Сары с самыми разнообразными талантами и с силой обольщения, тем более опасной, что, несмотря на свою сухую, холодную душу, изворотливый и злой ум, глубокую скрытность и цельный, настойчивый характер, она производила впечатление женщины великодушной, пылкой и страстной.

⁶⁸ Карл-Фердинанд, принц Капуанский, второй сын короля обеих Сицилий Франциска I. (Примеч. ред.)

При этом внешность ее была столь же обманчива, как и характер.

Большие темные глаза Сары под черными как смоль бровями, то искрометные, то томные, умели выражать весь пыл страсти, хотя жгучие порывы любви еще ни разу не заставили биться ее ледяное сердце, а чувственные или сердечные увлечения не могли нарушить безжалостных расчетов этой хитрой, эгоистичной и честолюбивой женщины.

Перебравшись на континент, Сара решила по совету брата повременить с «военными действиями» до посещения Парижа, дабы, вращаясь в обществе, прославленном приятностью общения, непринужденностью, изяществом и вкусом, придать лоск своему воспитанию и сгладить присущую ей британскую чопорность.

В высший парижский свет Сара получила доступ благодаря нескольким рекомендательным письмам и милостивому покровительству жены английского посла, а также престарелого маркиза д'Арвиля, знавшего некогда в Англии отца Тома и Сары.

Лживые, холодные, рассудочные люди усваивают с поразительной легкостью несвойственные им язык и манеры; у них все показное, внешнее, поверхностное, притворное, наигранное; стоит кому-нибудь разгадать натуру такого сорта людей, чтобы погубить их в общественном мнении; вот почему своеобразный инстинкт самосохранения помогает им как нельзя лучше маскировать свою внутреннюю сущность. Они гримируются и меняют манеры с быстротой и ловкостью заправского актера.

Короче говоря, после полугодового пребывания в Париже Сара могла состязаться с заправской парижанкой благодаря приобретенной ею пикантной живости разговора, заразителному веселью, простодушному кокетству, наивной игривости взгляда, одновременно целомудренного и страстного.

Найдя свою сестру достаточно хорошо подготовленной, Том отбыл с ней в Германию, снабженный превосходными рекомендательными письмами.

Первым государством Германского союза, находившимся на пути Тома и Сары, было великое герцогство Герольштейнское, обозначенное следующим образом в непогрешимом «Готском альманахе» за год 1819-й:

**ГЕНЕАЛОГИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ
МОНАРХОВ И ИХ СЕМЕЙ
ГЕРОЛЬШТЕЙН**

Великий герцог Максимилиан-Родольф родился 20 декабря 1764 года и вступил на престол 21 апреля 1785 года после кончины своего отца Карла-Фредерика-Родольфа.

Сын герцога Максимилиана-Родольфа родился 17 апреля 1803 года.

Вдовствующая великая герцогиня Юдифь потеряла своего супруга великого герцога Карла-Фредерика-Родольфа 21 апреля 1785 года.

Как человек здравомыслящий, Том записал во главе своего списка наиболее молодых наследников престола, с которыми он хотел породниться, полагая, что юность гораздо легче поддается соблазну, нежели зрелый возраст. Кроме того, как мы уже говорили, Том и Сара получили самые горячие рекомендации к великому герцогу Герольштейнскому от престарелого маркиза д'Арвиля, очарованного, как и все, Сарой, красотой, изяществом и врожденным обаянием которой он не мог нахвалиться.

Согласно «Готскому альманаху», наследником престола великого герцогства Герольштейнского был Густав-Родольф; ему едва минуло 18 лет, когда Том и Сара были представлены его отцу.

Прибытие юной шотландки всколыхнуло этот небольшой немецкий двор, спокойный, простой, строгий, словом, патриархальный. Великий герцог, прекраснейший из людей, управлял своим государством с мудрой твердостью и отеческой добротой; трудно было бы найти государство, более процветающее и спокойное, чем это небольшое княжество, население кото-

рого, трудолюбивое, серьезное, воздержанное и благочестивое, являло собой идеальное воплощение германского характера.

Жители Герольштейна были так счастливы, так довольны своим положением, что просвещенному и заботливому великому герцогу не стоило труда предохранить их от мании конституционных нововведений.

Что же касается современных открытий и идей, могущих оказать глубокое воздействие на благосостояние и нравы народа, то великий герцог постоянно справлялся о них в различных европейских странах через своих представителей, у которых, в сущности, не было иной заботы, как держать его в курсе всевозможных научных открытий с точки зрения их общественной и практической пользы.

Мы уже говорили выше, что великий герцог испытывал чувства любви и признательности к престарелому маркизу д'Арвилю за огромные услуги, которые тот оказал ему в 1815 году; вот почему благодаря рекомендации этого последнего Том и Сара Сейтон оф Холсбери были приняты при Герольштейнском дворе с особым почетом и радушием.

Не прошло и двух недель после приезда брата с сестрой в Герольштейн, как Сара, наделенная острой наблюдательностью, без труда разгадала твердый, честный и открытый характер великого герцога; прежде нежели обольстить сына, что должно было неминуемо случиться, она задумала, и вполне разумно, удостовериться в намерениях отца. Великий герцог так безумно любил Родольфа, что сначала Сара поверила, будто он способен согласиться на мезальянс своего дорогого сына, лишь бы не видеть его несчастным. Но шотландка вскоре убедилась, что этот столь нежный отец никогда не отречется от иных принципов и идей, имеющих отношение к долгу и обязанностям коронованных особ.

Это было не гордыней с его стороны, а сознанием своего высокого положения, чувством чести и здравым смыслом.

Между тем человек столь энергичного склада, который бывает тем ласковее и добрее, чем он тверже и сильнее характером, никогда не уступит в том, что касается его положения, чести и здравого смысла.

Столкнувшись с таким препятствием, Сара уже была готова отказаться от своих замыслов, но, сообразив, что Родольф еще очень молод, что все хвалят его за мягкость, доброту, за нрав, одновременно застенчивый и мечтательный, она посчитала юного герцога человеком слабым, нерешительным и с прежним упорством продолжала добиваться осуществления своих проектов и надежд.

В этих сложных обстоятельствах Сара и ее брат проявили чудеса ловкости.

Молодая девушка сумела привлечь на свою сторону всех и, главное, тех женщин, которые могли приревновать ее или позавидовать ее преимуществам; скромностью и простотой она заставила их забыть о своих достоинствах и красоте. Вскоре она стала любимицей не только великого герцога, но и его матери, вдовствующей великой герцогини Юдифи, которая, вопреки или благодаря своему девятидесятилетнему возрасту, до безумия любила все юное и прелестное.

Том и Сара не раз заговаривали о своем отъезде. Герольштейнский монарх не желал и слышать о нем, и, чтобы окончательно привязать к своему двору брата с сестрой, он попросил баронета Тома Сейтона оф Холсбери принять в ту пору вакантную должность оберштаммейстера и упросил Сару не покидать великой герцогини Юдифи, которая не могла обходиться без нее.

После долгих колебаний, которые наталкивались на настоятельные уговоры, Том и Сара приняли эти блестящие предложения и обосновались при Герольштейнском дворе, куда они прибыли всего два месяца тому назад.

Сара была превосходной певицей: зная вкус великой герцогини к композиторам прежнего времени и, в частности, к Глюку, она выписала произведения этого знаменитого композитора и обворожила престарелую герцогиню своей неисчерпаемой любезностью и тем выда-

ющимся талантом, с которым исполняла его прекрасные старинные мелодии, такие простые и выразительные.

Том, со своей стороны, был весьма полезен великому герцогу в порученной ему должности. Шотландец превосходно знал лошадей, любил порядок и был человеком твердым; за короткое время он преобразовал дворцовые конюшни, огромный ущерб которым был нанесен небрежностью и рутинной.

Вскоре брата с сестрой одинаково полюбили при этом дворе, где они зажили в холе и неге. Вкусы монарха повелевают и вкусами подданных. К тому же Саре требовалась такая сильная поддержка, что она пустила в ход весь свой дар обольщения, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше придворных. Ее лицемерие, облеченное в самую привлекательную форму, легко обмануло большинство честных немков, и вскоре всеобщая любовь подтвердила исключительное благоволение к ней великого герцога.

Итак, наша парочка заняла при Герольштейнском дворе прекрасное и почетное положение; что до Родольфа, то о нем даже не упоминалось. Благодаря счастливой случайности через несколько дней после приезда Сары юный герцог уехал на смотр войск в сопровождении адъютанта и своего верного Мэрфа.

Это отсутствие вдвойне благоприятствовало видам Сары, позволяя ей сосредоточить внимание на основных нитях своего матримониального заговора без стеснительного присутствия юного наследника престола, слишком явное восхищение которого, по всей вероятности, вызвало бы опасения великого герцога.

А в отсутствие своего сына он, к сожалению, не подумал о том, что приблизил к себе молодую девушку, обладающую редкой красотой и игривым умом, которой придется постоянно встречаться с Родольфом.

Сара осталась внутренне равнодушной к столь трогательному и радушному приему и к тому благородному доверию, с которым она была введена в эту королевскую семью.

Ни эта девушка, ни ее брат ни на минуту не подумали отказаться от своих дурных намерений и сознательно внесли смятение и горе в этот спокойный и счастливый двор. Они холодно предвидели результаты жестоких раздоров, которые возникнут из-за нее между отцом и сыном, столь нежно любившими друг друга.

Глава XIII. Сэр Вальтер Мэрф и Аббат Полидори

В детстве Родольф отличался хрупким телосложением, и его отец принял следующее решение, с первого взгляда странное, а в сущности, вполне разумное.

Английские дворяне, живущие в своих поместьях, отличаются прекрасным здоровьем. Это преимущество зависит в огромной степени от полученного ими воспитания на лоне природы; суровое и простое, оно прекрасно развивает их физически. Родольф скоро выйдет из-под опеки женщин; мальчик он изнеженный; если приучить его к жизни сына английского фермера (с некоторыми поблажками), это закалит, пожалуй, его слабый организм.

Герцог Герольштейнский выписал из Англии человека достойного, который вполне мог руководить физическим воспитанием наследного принца; итак, это важное дело было поручено сэру Вальтеру Мэрфу, атлетически сложенному джентльмену из Йоркшира. Те навыки, которые он привил мальчику, вполне отвечали намерениям великого герцога.

Родольф, освобожденный от всякого этикета, занимался с Мэрфом сельскохозяйственными работами, доступными ему по возрасту, и вел простую, мужественную и однообразную жизнь людей, близких к природе; все его удовольствия и развлечения заключались в физических упражнениях, борьбе, кулачном бое, езде верхом и охоте.

На чистом воздухе, среди лугов, лесов и гор, юный принц, казалось, преобразился и вырос крепким, как молодой дуб; его несколько болезненная бледность уступила место здоровому румянцу; по-прежнему стройный и выносливый, он выходил победителем из самых утомительных испытаний: ловкость, энергия и смелость восполняли у него недостаток мускульной силы, и вскоре он уже не без успеха боролся с людьми гораздо старше себя; в это время Родольфу было пятнадцать-шестнадцать лет.

Образование Родольфа неизбежно пострадало от предпочтения, отданного физическому воспитанию: познания его были весьма ограничены; но великий герцог думал вполне резонно, что предъявлять большие требования к уму человека можно лишь тогда, когда этот ум находит опору в сильном, хорошо развитом теле; тогда умственные способности, хотя и поздно оплодотворенные образованием, развиваются чрезвычайно быстро.

Славный Вальтер Мэрф не был человеком ученым; он мог дать Родольфу лишь немногие первоначальные знания; но никто не мог лучше его внушить своему ученику сознание того, что справедливо, честно, великодушно, и отвращение ко всему низкому, подлому, мелкому.

Ненависть к злу, деятельное и благотворное преклонение перед добром навсегда срослись с душой Родольфа; позже, в буре страстей эти принципы сильно поколебались, но никогда не были вырваны из его сердца. Молния поражает, калечит и ломает дерево, глубоко и крепко укоренившееся в земле, но соки продолжают бурлить в его корнях, и этот казавшийся засохшим ствол дает вскорости множество зеленых побегов.

Если можно так выразиться, Мэрф дал Родольфу здоровье тела и души; он сделал его человеком крепким, ловким и смелым, поборником справедливости и добра, ненавистником зла и всякой скверны.

Выполнив столь блестяще свою задачу, эсквайр на некоторое время уехал в Англию, куда его призывали важные дела, чем очень огорчил Родольфа, нежно любившего его.

Мэрф должен был навсегда вернуться с семьей в Герольштейн, как только покончит с делами. Он надеялся, что его отсутствие продлится самое большее год.

Уверившись в добром здоровье Родольфа, великий герцог серьезно подумал о том, чтобы дать образование своему любимцу.

Некоему аббату Сезару Полидори, известному филологу, прекрасному врачу, эрудированному знатоку точных и естественных наук, было поручено возделывать и оплодотворить эту плодородную, но девственную почву, так прекрасно подготовленную Мэрфом.

На этот раз выбор великого герцога оказался весьма неудачным или, вернее, он был жестоко обманут человеком, который порекомендовал католического священника в качестве преподавателя для его сына-протестанта. Это новшество многим показалось чудовищным, более того, его сочли весьма пагубным для образования Родольфа.

Случай или, вернее, отвратительный характер аббата частично способствовали осуществлению этих печальных пророчеств.

Нечестивец, мошенник, лицемер, кощунственный хулиган всего святого, человек хитрый и ловкий, умеющий скрыть свою глубокую безнравственность и отталкивающий скептицизм под маской сурового благочестия, выставлявший напоказ свое мнимое христианское смирение, дабы замаскировать свойственную ему проницательность, и разыгрывавший искреннее доброжелательство и наивный оптимизм для маскировки вероломства своей корыстной лести, человек, прекрасно изучивший людей или, точнее, познавший лишь их худшие стороны и постыдные страсти, аббат Полидори был самым неподходящим наставником для молодого человека.

Покинув с огромным сожалением независимую жизнь, которую он вел до сих пор под наблюдением Мэрфа, чтобы корпеть над книгами и подчиняться придворному церемониалу, Родольф возненавидел попервоначалу аббата Полидори.

Иначе и быть не могло.

Уезжая, бедный эсквайр не без основания сравнил своего ученика с молодым диким жеребенком, исполненным грации и огня, которого лишили прекрасных лугов, где он весело резвился на свободе, и, подчинив его удилам и шпорам, направили в иное русло силы, которыми он пользовался до сих пор лишь для того, чтобы скакать и резвиться на просторе.

Родольф сразу же заявил аббату, что у него нет ни малейшего призвания к занятиям, что ему необходимо прежде всего упражнять руки и ноги, дышать свежим воздухом, носиться по полям и холмам; доброе ружье и добрый конь казались ему предпочтительнее самых прекрасных книг на свете.

Священник ответил своему ученику, что он прав: в самом деле, нет ничего скучнее учения, но вместе с тем нет ничего примитивнее, грубее его излюбленных удовольствий, достойных лишь тупого немецкого фермера. И аббат нарисовал такую забавную, такую язвительную картину простой сельской жизни, что Родольфу впервые стало стыдно, что он находил ее столь счастливой; тут он наивно спросил у священника, чем же можно занять свое время, если не любишь ни учения, ни охоты, ни вольной жизни среди природы.

Аббат таинственно ответил на это, что впоследствии он все ему объяснит.

По правде сказать, надежды священника были в некотором роде столь же честолюбивы, что и надежды Сары.

Хотя великое Герольштейнское герцогство было всего лишь второстепенным государством, аббат вообразил себе, что со временем станет играть в нем роль Ришелье, и вознамерился подготовить Родольфа к роли монарха-бездельника.

Он начал с того, что посредством побряжек и угодливости постарался понравиться своему ученику и заставить его позабыть о Мэрфе. Родольф по-прежнему ненавидел науку, аббат скрыл от великого герцога отвращение юного принца к занятиям; напротив, он восхвалял его усидчивость, его поразительные успехи; и несколько проверок, заранее втайне подготовленных с Родольфом, утвердили великого герцога (человека не слишком образованного) в его доверии к учителю.

Мало-помалу чувство отчужденности, которое священник внушил сначала Родольфу, превратилось со стороны юного принца в развязную фамильярность, отнюдь не похожую на ту серьезную привязанность, которую он испытывал к Мэрфу.

Мало-помалу Родольф оказался связанным с аббатом (правда, по причинам вполне невинным) теми узами солидарности, которые объединяют двух сообщников. Рано или поздно

он поневоле станет презирать человека с характером и в возрасте аббата, который недостойно лгал, чтобы скрыть леность своего ученика.

Аббат знал это.

Но он знал и другое: если Родольф не отшатнется сразу с омерзением от порочного человека, то постепенно, помимо воли, привыкнет к его острому уму и незаметно для самого себя будет внимать без возмущения и стыда, как тот высмеивает и поносит те понятия, перед которыми юноша привык преклоняться.

Впрочем, аббат был слишком хитер, чтобы резко оспаривать иные благородные убеждения Родольфа, плод воспитания Мэрфа. Поиздевавшись всласть над грубым времяпрепровождением своего ученика на лоне природы, священник сбросил ненадолго маску непримиримой суровости и пробудил в юноше любопытство полупризнаниями о сказочной жизни иных королей прежних времен; наконец, уступив настоятельным просьбам Родольфа, аббат после бесконечных оговорок и несколько вольных шуток над церемониальной серьезностью, царившей при дворе великого герцога, воспламенил воображение юного принца красочными рассказами о празднествах и любовных похождениях, которыми прославились царствования Людовика XIV, регента, и главным образом Людовика XV – героя Сезара Полидори.

Он убеждал несчастного мальчика, слушавшего его с пагубной жадностью, что сладострастие, даже чрезмерное, не только не развращает принца, богато одаренного от природы, но, напротив, делает его милосерднее, великодушнее по той простой причине, что счастье неизменно смягчает, облагораживает человека высокой души.

Ярким примером тому служил Людовик XV.

Да и наиболее прославленные люди прежних и новых времен, говорил аббат, от Алкивиада до Морица Саксонского, от Антония до великого Конде, от Цезаря до Вандома, уделяли много времени изысканнейшему эпикурейству.

Такие речи должны были вызвать подлинное потрясение в молодой, горячей и девственной душе принца; кроме того, аббат красноречиво переводил своему ученику оды Горация, в которых сей несравненный гений воспевает жизнь, всецело посвященную любви и утонченным наслаждениям чувственности. И все же иной раз аббат старался набросить флер на эти опасные теории и баюкал Родольфа пленительными утопиями, чтобы не покоробить великодушных чувств, глубоко в нем укоренившихся. По его словам, умный и сладострастный монарх мог облагодетельствовать своих подданных, научив их наслаждаться жизнью, смягчить их нравы благодаря обретенному таким образом счастью и пробудить даже в заядлых атеистах религиозное чувство, вызвав в их душе горячую благодарность к создателю, который с неисчерпаемой щедростью дарует им земные радости.

Всегда и во всем искать наслаждение значило, по мнению аббата, прославлять бога в его величии и неизреченной милости.

Эти теории принесли свои плоды.

Живя при строгом и добродетельном дворе, привыкший по примеру монарха к добропорядочным удовольствиям и к невинным развлечениям, Родольф стал мечтать под влиянием аббата о безумных ночах в Версале, об оргиях в Шуази, о грубых наслаждениях во дворце Олений Парк, а также изредка, в силу контраста, о мимолетных романтических увлечениях.

Кроме того, аббат не преминул убедить Родольфа в том, что владетельный князь не должен производить никаких военных действий, за исключением посылки своих отрядов для охраны парламента Германского союза.

Впрочем, дух времени был явно настроен на мирный лад.

Проводить свои дни в упоительном безделье среди женщин и утонченной роскоши, поочередно переходить от угара страстей к восхитительному наслаждению искусством, искать иной раз в охоте, не в качестве дикого Немврода, а просвещенного эпикурейца, ту приятную усталость, которая лишь усиливает прелесть беспечности и лени, – таково было, по сло-

вам аббата, единственное времяпрепровождение, приличествующее монарху, который (на свое великое счастье!) найдет премьер-министра, готового взвалить на себя тягостную и скучную ношу государственных дел.

Размышляя об этих возможностях, в которых не было ничего преступного, ибо они не выходили за пределы роковой неизбежности, Родольф намеревался, когда бог призовет к себе его батюшку, вести именно тот образ жизни, который аббат Полидори рисовал ему в столь жизнерадостных, заманчивых красках, и назначить премьер-министром своего наставника.

Напомним, что Родольф нежно любил отца и горько оплакивал бы его кончину, хотя она и позволила бы ему стать Сарданапалом в миниатюре. Не стоит говорить о том, что юный принц держал в глубокой тайне эти бурлившие в нем злосчастные чувства.

Зная, что любимыми героями великого герцога были Густав-Адольф, Карл XII и Фридрих Великий (Максимилиан-Родольф имел честь был близким родственником прусских королей), Родольф думал, не без основания, что его отец, преклонявшийся перед этими королями-военачальниками, вечно в походах, вечно в седле и при шпорах, счел бы своего сына человеком пропащим, если бы заподозрил, что тот может заменить германскую чопорность, царящую при Герольштейнском дворе, веселыми и фривольными нравами эпохи Регентства. Так прошли год, полтора года; Мэрф еще не вернулся, хотя и сообщал о своем скором приезде.

Преодолев свое первоначальное отвращение к угодливости аббата, Родольф все же воспользовался его ученостью и приобрел если не обширные познания, то те поверхностные сведения, которые помогли ему в сочетании с его врожденным, живым и проницательным умом сойти за человека гораздо более образованного, чем он был на самом деле, оказав этим немалую честь заботам своего ментора.

Мэрф вернулся из Англии с семьей и прослезился от радости, обняв своего бывшего ученика.

Несколько дней спустя достойный эсквайр заметил, что Родольф держится с ним холодно, скованно и отзывается почти иронически об их суровой жизни на лоне природы. Мэрф терялся в догадках – он никак не мог понять причины этой глубоко огорчившей его перемены.

Уверенный во врожденной доброте юного принца, взбудораженный тайным предчувствием, Мэрф подумал, что тот подпал под вредное влияние аббата Полидори; эсквайр инстинктивно возненавидел священника и дал себе слово внимательно наблюдать за ним.

Со своей стороны, аббат, раздосадованный возвращением Мэрфа, которого он опасался из-за его доброты, здравого смысла и проницательности, возымел лишь одно желание: погубить эсквайра во мнении Родольфа.

Как раз в это время Том и Сара были представлены великому герцогу и с отменным радушием приняты при его дворе.

Перед их приездом Родольф отправился с адъютантом и Мэрфом в инспекционную поездку, чтобы произвести смотр нескольким герольштейнским гарнизонам. Поскольку эта поездка была военного характера, великий герцог счел излишним посылать с ними аббата Полидори. К своему великому сожалению, священник узнал, что на несколько дней Мэрф вернется к своим прежним обязанностям при юном принце.

Со своей стороны, эсквайр рассчитывал на этот случай, чтобы окончательно выяснить причину охлаждения Родольфа.

Увы, этот последний уже научился скрывать свои мысли и, считая опасным говорить Мэрфу о своих проектах, был с ним на редкость мил и сердечен, притворялся, что очень сожалеет о годах своего отрочества и о прежних сельских забавах, что почти успокоило его первого наставника.

Мы говорим «почти», ибо иные любящие сердца наделены удивительной прозорливостью. Несмотря на проявления любви со стороны принца, Мэрф смутно чувствовал, что их

разделяет какая-то тайна; напрасно он попробовал выяснить, в чем тут дело, – все его попытки наталкивались на преждевременное двоедушие Родольфа.

Во время этой отлучки аббат не сидел сложа руки.

Интриганы угадывают, узнают себе подобных по некоторым таинственным признакам, позволяющим им наблюдать друг за другом до тех пор, пока они не решат, что для них выгоднее – вступить с данным человеком в союз или в открытую вражду.

Через несколько дней после прибытия Сары с братом ко двору великого герцога Том подружился с аббатом Полидори.

Священник признался сам себе с отвратительным цинизмом, что естественное, почти произвольное сродство душ влечет его ко всем пройдохам и негодьям; недаром, думал он, еще не вполне догадываясь о целях Тома и Сары, я испытываю к ним обоим такую горячую симпатию; они явно лелеют какие-то бесовские замыслы.

Несколько вопросов Тома Сейтона о характере и прошлом Родольфа, вопросов незначительных для человека менее настороженного, чем аббат, просветили его относительно намерений брата с сестрой; но даже он не мог поверить в столь честолюбивые виды юной шотландки.

Приезд этой очаровательной девушки показался аббату перстом судьбы. Воображение Родольфа было распалено любовными мечтами; Сара должна была явиться прелестной явью, призванной заменить столько чудесных грез; ибо, думал аббат, прежде нежели прийти к отбору в наслаждения и к разнообразию в страстях, мужчина почти всегда начинает с единственной романтической привязанности; Людовик XIV и Людовик XV были, возможно, верны лишь Марии Манчини и Розетте д'Аррей.

По мнению аббата, то же самое должно было произойти с Родольфом и прекрасной шотландкой. Несомненно, она приобретет огромное влияние на это сердце, увлеченное чарующей прелестью первой любви. Направлять это влияние, извлекать из него выгоду и пользоваться им, чтобы навеки погубить Мэрфа, – таков был план аббата.

Человек ловкий, он дал ясно понять обоим честолюбцам, что им придется считаться с ним, ибо он один отвечает перед великим герцогом за личную жизнь принца.

Но в первую очередь надо было опасаться бывшего наставника Родольфа; этот неотесанный, грубый, напичканный глупыми предрассудками человек имел прежде большое влияние на Родольфа и мог стать бдительным и опасным стражем: вместо того чтобы с пониманием отнестись к безумным и прелестным ошибкам молодости, он сочтет своим долгом воззвать к суровой морали великого герцога.

Том и Сара поняли аббата с полуслова, хотя они и не оповещали его о своих тайных замыслах. По возвращении Родольфа и эсквайра все трое, объединенные общими интересами, вступили в тайный союз против Мэрфа, самого грозного их врага.

Глава XIV. Первая любовь

Случилось то, что должно было случиться.

По возвращении ко двору Родольф, ежедневно видя Сару, до безумия влюбился в нее. Вскоре и она призналась ему, что разделяет его чувства, которые, по ее словам, должны были принести им много горя. Они никогда не будут счастливы: слишком большое расстояние разделяет их. Поэтому она советовала Родольфу быть как можно осторожнее, чтобы не вызвать подозрений великого герцога, который будет неумолим и лишит их единственно возможного счастья – счастья видеться каждый день.

Родольф обещал следить за собой и скрывать свою любовь. Шотландка была слишком самолюбива, слишком уверена в себе, чтобы выдать, скомпрометировать себя в глазах двора. Юный принц и сам понимал, что они должны затаить свою любовь; он вел себя так же осторожно, как и Сара. И некоторое время влюбленные свято хранили свою тайну.

Когда же брат с сестрой увидели, что безумная страсть Родольфа дошла до предела и что с каждым днем ему все труднее сдерживать свои чувства, которые могли вырваться наружу и все погубить, они нанесли решительный удар.

Характер аббата допускал разговор начистоту, в котором к тому же не было ничего аморального; Том заговорил первый о необходимости брака Родольфа и Сары; иначе, добавил он вполне искренне, они с сестрой немедленно покинут Герольштейн. Сара разделяет любовь принца, но она может быть только женой принца: бесчестьем она предпочтет смерть.

Эти притязания ошеломили священника: ему и в голову не приходило, что Сара столь отважна и честолюбива. Такой брак с его препятствиями и бесчисленными опасностями показался аббату невозможным; и он откровенно изложил Тому те причины, по которым великий герцог никогда не согласится на союз наследного принца с Сарой.

Том понял эти причины, признал их важность и предложил в качестве *mezzo termine*⁶⁹ – тайный брак, который станет достоянием гласности лишь после смерти великого герцога.

Сара принадлежала к старинному благородному роду; таких мезальянсов немало встречалось в истории. Том дал аббату, а следовательно, и принцу неделю на размышление; его сестра не выдержит дольше терзаний неизвестности; если ей суждено отказаться от любви Родольфа, она примет как можно скорее тягостное решение об отъезде.

Чтобы объяснить столь внезапный отъезд, утверждал Том, он отправил на всякий случай одному из своих английских друзей письмо, которое будет опущено в Лондоне и получено братом с сестрой в Герольштейне; в этом письме изложены достаточно веские причины, вменяющие в обязанность Тому и Саре временно покинуть двор великого герцога.

Благодаря своему дурному мнению о роде человеческом аббат на этот раз отгадал истину.

Он всегда искал подоплеку самых бескорыстных чувств и, узнав, что Сара хочет узаконить свою любовь, увидел в этом желании доказательство не добродетели, а честолюбия; вряд ли бы священник поверил бескорыстию Сары, даже если бы та пожертвовала своей честью ради Родольфа, как он это думал сначала, предполагая, что она хочет стать любовницей его ученика. Согласно принципам аббата торговаться, ставить в любви превыше всего долг – значит не любить. Слаба и холодна любовь, говаривал Полидори, если она тревожится о небе или о земле!

Убедившись, что он не ошибся касательно намерений Сары, аббат был озадачен. Впрочем, желание, выраженное Томом от имени сестры, было вполне добропорядочным. Чего он добивался? Разрыва или законного брака.

⁶⁹ Временный выход из положения (*ит.*).

Несмотря на весь свой цинизм, священник не посмел бы усомниться в разговоре с Томом в добропорядочности тех побуждений, которые, казалось, лежали в основе его просьбы, и сказать ему без обиняков, что они с сестрой действовали весьма ловко, дабы навязать принцу этот мезальянс.

У аббата было три выхода: уведомить великого герцога об этом матримониальном заговоре, открыть глаза Родольфу на происки Тома и Сары, содействовать этому браку.

Но предупредить великого герцога значило навсегда восстановить против себя наследного принца.

Осведомить Родольфа о корыстных намерениях Сары значило встретить тот прием, который ожидает всякого, кто попытается унижить в глазах влюбленного предмет его страсти; да и какой жестокий удар он нанесет тщеславию и сердцу принца. Открыть ему, что любимая зарится не на него самого, а на его высокое положение?! Да и в какое странное положение попадает он, священник, осуждающий поведение девушки, которая желает остаться чистой и предоставить права любовницы только законному супругу?

Устроив же это бракосочетание, аббат привяжет к себе принца и его жену узами глубокой благодарности или по меньшей мере соучастия в опасном предприятии.

Конечно, все может открыться, и на него обрушится гнев великого герцога; но брак уже будет совершен и союз влюбленных вступит в свои права; пройдет время, и молодой монарх Герольштейна тем теснее сблизится с аббатом, чем больше будет риск, который тот возьмет на себя, чтобы услужить ему.

Итак, по зрелом размышлении аббат решил помочь Саре, правда, с некоторыми оговорками, о которых мы скажем ниже.

Страсть Родольфа достигла апогея; доведенный до крайности как необходимостью сдерживать свои порывы, так и обольстительным кокетством Сары, страдавшей, казалось, еще больше, чем он, из-за неодолимых препятствий долга и чести, которые стояли на пути к их блаженству, юный принц готов был ежеминутно выдать себя.

Подумать только, ведь это была его первая любовь, любовь пламенная и наивная, доверчивая и страстная; Сара прибегала, чтобы разжечь ее, к уловкам самого утонченного кокетства. Никогда еще целомудренная любовь юноши, исполненного великодушия, воображения, огня, не подвергалась столь долгим и столь умелым искушениям; ни одна женщина не была так коварно пленительна: то игрива, то печальна, то целомудренна, то пламенна, то застенчива, то вызывающе игрива; ее большие черные глаза, томные, искрометные, зажгли в пылкой душе Родольфа неугасимый пожар.

Когда аббат предложил ему навсегда расстаться с этой восхитительной девушкой или же вступить с ней в тайный брак, Родольф бросился ему на шею, назвал его своим спасителем, своим другом, своим отцом. Будь поблизости храм и священник, юный принц немедля связал бы себя брачными узами.

Аббат пожелал, и не без основания, всем заняться самолично.

Он нашел пастора, свидетелей, и бракосочетание (за формальностями которого тщательно наблюдал Том) было совершено под покровом тайны, во время краткого отсутствия великого герцога, вызванного на собрание всегерманского парламента.

Предсказание шотландской крестьянки сбылось: Сара вышла замуж за наследника престола.

Не угасив пламенной страсти Родольфа, брак сделал юношу более осмотрительным и утишил ту необузданность, которая могла выдать тайну его любви к Саре. Молодая супружеская чета, охраняемая Томом и аббатом, жила так дружно и так умело скрывала свои отношения, что они никем не были замечены.

В течение первых трех месяцев брака Родольф был счастливейшим из смертных; когда после первого угара страсти в права вступил разум и Родольф хладнокровно взглянул на свое

положение, он не посетовал на то, что связал себя нерасторжимыми узами с Сарой, без сожаления отказался от той свободной, исполненной любви и неги жизни, о которой так горячо мечтал прежде, и стал строить вместе с женой радужные планы об их будущем царствовании.

В этой гипотетической дали роль премьер-министра, на которую зарился *in pettú*⁷⁰ аббат, потеряла всякое значение: эти важные функции Сара желала присвоить себе; она была натурой слишком властной, чтобы отказаться от претензий на главенство, и желала править страной вместо Родольфа.

Событие, нетерпеливо ожидаемое Сарой, вскоре превратило в бурю царящий при дворе покой.

Она забеременела.

Тогда у этой женщины появились новые требования, испугавшие Родольфа; она заявила ему, проливая притворные слезы, что не может больше выносить то ложное положение, в котором вынуждена жить, положение, ставшее еще тяжелее из-за ее беременности.

И она решительно предложила Родольфу во всем признаться великому герцогу. Конечно, говорила она, поначалу он вспылит, возмутится, но он так нежно, так слепо любит своего сына, так привязан к ней, Саре, что гнев его мало-помалу утихнет и она займет наконец при Герольштейнском дворе надлежащий ей ранг, и, если так можно выразиться, займет его вдвойне, ибо родит ребенка наследнику престола.

Это притязание привело в ужас Родольфа: он знал, как глубоко любит его отец, но знал также и непреклонность великого герцога, если дело коснется обязанностей наследного принца.

На все эти возражения у Сары находился ответ.

«Я ваша жена перед людьми и богом. Вскоре я уже не смогу скрывать свою беременность, – жестко говорила она. – Я не хочу краснеть из-за положения, которым горжусь, и считаю себя вправе выразить свою гордость во всеулышание».

Отцовство еще увеличило нежность, испытываемую Родольфом к Саре. Оказавшись между любовью к жене и боязнью прогневить отца, он испытывал щемящую душевную боль. Том стоял на стороне своей сестры.

«Брак нерасторжим, – говорил он своему высокородному зятю. – Единственное, что может сделать великий герцог, – это удалить вас и вашу жену из Герольштейна. Но он слишком любит вас, чтобы решиться на такую меру; он предпочтет примириться с тем, чему уже не может помешать».

Эти рассуждения, в общем-то вполне резонные, не успокоили тревоги Родольфа. Вскоре Том был направлен великим герцогом в Австрию для знакомства с тамошними конными заводами. Это поручение, от которого он не имел права отказаться, должно было занять не более двух недель; он уехал скрепя сердце в момент, когда решалась судьба его сестры.

Эта последняя была одновременно огорчена и довольна временным отсутствием брата; правда, она лишалась его советов, зато в случае, если бы их тайна открылась, Том избежал бы гнева великого герцога.

Сара обещала брату изо дня в день держать его в курсе дела, столь важного для них обоих. На тот случай, если бы их письма попали в чужие руки, они договорились о специальном шифре.

Сама эта предосторожность доказывала, что Сара писала брату отнюдь не о своей любви к Родольфу. В самом деле, ледяное сердце этой честолюбивой, эгоистичной женщины не растаяло в огне страстной любви, которую ей удалось разжечь.

Материнство было для Сары только одним из средств, помогавшим ей управлять Родольфом, оно ничуть не смягчило ее негибачего характера. Молодость, безумная любовь,

⁷⁰ В глубине души (*int.*).

неопытность принца, почти ребенка, коварно поставленного в безвыходное положение братом с сестрой, не слишком интересовали ее: в своей откровенной переписке с Томом она с презрением и горечью жаловалась на слабость этого юнца, дрожавшего перед добродушнейшим из великих князей, который зажил на белом свете.

Словом, переписка брата с сестрой выдавала их корыстные, честолюбивые замыслы, их зловещее нетерпение и обнажала пружины темного заговора, приведшего к женитьбе Родольфа.

Несколько дней спустя после отъезда Тома Сара находилась в кругу вдовствующей герцогини.

Дамы с удивлением поглядывали на молодую женщину и перешептывались между собой.

Невзирая на свои девяносто лет, великая герцогиня Юдифь прекрасно видела и слышала, вот почему поведение придворных не ускользнуло от ее внимания. Она жестом подозвала одну из фрейлин и узнала таким образом, что мадемуазель Сара Сейтон оф Холсбери кажется им всем менее тонкой и стройной, чем обычно.

Престарелая герцогиня обожала свою юную протеже; она готова была бога призвать в свидетели непорочности Сары. Возмущенная этими недоброжелательными толками, она пожала плечами и сказала громко из конца в конец гостиной: «Дорогая Сара, послушайте!»

Сара встала.

Ей пришлось пересечь гостиную, дабы подойти к вдовствующей герцогине, которая из лучших чувств позвала ее, желая посрамить клеветников и воочию доказать им, что фигура ее протеже оставалась все такой же тонкой и грациозной.

Увы! Самый коварный недруг не придумал бы того, что придумала добросердечная дама, дабы защитить свою любимицу.

Сара приблизилась к ней. Потребовалось глубокое уважение, которым пользовалась великая герцогиня, чтобы все приближенные подавили шепот удивления и негодования, когда девушка проходила по гостиной.

Даже ненаблюдательные люди обнаружили то, что Сара не желала больше скрывать, хотя ее беременность была еще не слишком заметна; но честолюбивая женщина разыграла эту сцену, чтобы заставить Родольфа объявить о своей женитьбе.

Великая герцогиня все еще не могла поверить своим глазам. «Дорогая детка, вы отвратительно одеты сегодня. Ведь у вас осиная талия, а из-за этого платья вы просто неузнаваемы».

Мы расскажем ниже о последствиях этого открытия, вызвавшего серьезные и даже грозные события в Герольштейне. Скажем заранее (читатель, вероятно, уже догадался об этом), что Певунья, иначе говоря, Лилия-Мария, была плодом несчастного брака Сары и Родольфа и что оба они считали ее умершей.

Читатель, верно, не забыл, что после посещения дома на улице Тампль Родольф вернулся к себе домой и что в тот же вечер он должен был отправиться на бал в посольство ***.

Мы последуем на это празднество за ныне царствующим великим герцогом Герольштейнским Густавом-Родольфом, путешествующим по Франции под именем графа фон Дюрена.

Глава XV. Бал

В одиннадцать часов вечера швейцар в парадной ливрее распахнул ворота особняка на улице Плюме, откуда выехала роскошная карета, запряженная двумя великолепными лошадьми серой масти, с пышными гривами; на козлах, покрытых чехлом с шелковой бахромой, восседал огромного роста кучер, казавшийся еще внушительней из-за синего пальто на меху, украшенного по швам серебряной нитью, и с огромным куньим воротником; на запятках кареты стояли величественный лакей с пудренными волосами, в сине-желтой, расшитой серебром ливрее и егерь в мундире с серебряным позументом, как полковой барабанщик, в широкополой шляпе, наполовину скрытой пучком желтых и синих перьев, и с большими усищами.

Свет уличных фонарей озарял внутренность обитой атласом кареты, где можно было различить Родольфа, сидящего справа, рядом с ним барона фон Грауна, а лицом к нему верного Мэрфа.

Из уважения к монарху, к послу которого Родольф ехал на бал, он прикрепил к своему фраку лишь осыпанный бриллиантами орден ***.

Эмалевый крест на оранжевой ленте командора ордена Золотого Орла Герольштейна поблескивал на груди сэра Вальтера Мэрфа; барон фон Граун надел тот же орден и, кроме того, огромное количество иностранных крестов, которые покачивались на золотой цепочке в промежутке между двумя первыми пуговицами его фрака.

– Меня очень порадовали хорошие вести, полученные от госпожи Жорж о моей молоденькой подопечной с буквальной фермы, – сказал Родольф. – Лечение Давида буквально сделало чудеса. Если бы не постоянная грусть этой бедной девочки, она была бы вполне здорова. Да, кстати, о Певунье: признайтесь, доблестный угольщик, – продолжал Родольф, улыбаясь, – если бы одна из ваших сомнительных знакомых в Сите увидела вас в этом парадном костюме, она была бы вне себя от удивления.

– Полагаю, монсеньор, вы вызвали бы не меньшую сенсацию, если бы пожелали отправиться сегодня вечером на улицу Тампль с кратким дружеским визитом к госпоже Пипле, чтобы немного развеять меланхолию бедного Альфреда, готового всем сердцем полюбить вас, как об этом говорила вашему высочеству достойная привратница.

– Монсеньор так великолепно изобразил нам Альфреда, его парадный зеленый костюм, бессменный цилиндр и менторский вид, – проговорил барон, – что я так и вижу, как он восседает в своей темной и закопченной привратничке. Впрочем, смею надеяться, ваше высочество, что вы удовлетворены указаниями моего тайного агента. Этот дом на улице Тампль, по видимому, оправдал ваши ожидания?

– Да, – ответил Родольф, – я нашел там даже больше того, что ожидал.

Он ненадолго умолк, чтобы прогнать тягостные мысли, вызванные опасениями по поводу маркизы д'Арвиль.

– Должен признаться в своем ребячестве, – продолжал он более веселым тоном, – я нахожу весьма пикантными эти различные роли: сперва я художник по раскраске вееров, сидящий в притоне на Бобовой улице, сегодня утром я коммивояжер, угощающий госпожу Пипле стаканчиком черносмородиновой наливки, а вечером один из тех, кто божией милостью царствует в этом дольном мире и, получая сорок экю процентов с капитала, говорит «мои доходы», словно какой-нибудь миллионер, – заключил в виде отступления Родольф, намекая на весьма скромные размеры своего государства.

– Мало кто из миллионеров, монсеньор, наделен таким редким, таким поразительным здравым смыслом, как ваш обладатель «сорока экю», – сказал барон.

– Вы слишком добры, мой милый фон Граун; право, вы мне льстите, – продолжал Родольф с наигранным смущением.

Тут барон посмотрел на Мэрфа взглядом человека, который понял слишком поздно, что сказал глупость.

– Дорогой фон Граун, – продолжал Родольф с невозмутимой серьезностью, – я, право, не знаю, как оправдать ваше доброе мнение обо мне, а главное, как отплатить за вашу любезность.

– Монсеньор, умоляю вас, не утруждайте себя, – проговорил барон, упустивший из виду, что Родольф беспощадно мстил за лесть, которой не выносил.

– Право, барон, я не желаю быть в долгу у вас; вот, к сожалению, то единственное, что я могу сказать в ответ: клянусь честью, вам можно дать самое большее двадцать лет; даже у Антиноя не было более пленительных черт лица, чем у вас.

– Прошу пощады, монсеньор!

– Взгляните на него, Мэрф: Аполлон Бельведерский и тот не сравнится с ним по изяществу и юношеской стройности фигуры.

– Монсеньор, я уже давно не делал такой глупости.

– А как ему идет эта пурпурная мантия!

– Монсеньор, больше со мной этого не случится.

– А золотой обруч, что удерживает, не скрывая их, завитки прекрасных черных волос, спускающихся на его божественную шею.

– Пощады, пощады, монсеньор, я, право же, раскаиваюсь, – проговорил несчастный дипломат с комическим отчаянием.

(Читатель, конечно, не забыл, что у пятидесятилетнего барона были пудренные курчавые волосы с проседью, широкий белый галстук, худое лицо и очки в золотой оправе.)

– Ей-богу, Мэрф, ему не хватает только серебряного колчана за плечами и лука в руке, чтобы походить на победителя Пифона.

– Я хочу взять его под защиту, монсеньор; не обременяйте его всей этой мифологией, – проговорил, смеясь, эсквайр, – готов поручиться, что отныне он воздержится от лести, если новый герольштейнский словарь толкует таким образом слово «правда».

– Как, и ты туда же, старый друг? В такую минуту ты смеешь?..

– Монсеньор, мне жаль несчастного барона, и я хочу разделить его участь.

– Дорогой придворный угольщик, ваша преданность другу делает вам честь. Но, говоря серьезно, барон, как вы могли забыть, что я допускаю лесть только со стороны Харнейма и ему подобных? Скажу справедливости ради, что они не способны говорить иначе: это как бы их визитная карточка; но человек с вашим вкусом и умом... фи, барон!

– Выслушайте меня, монсеньор, – решительно проговорил барон, – в вашем отвращении к похвалам есть немалая доля гордыни, да простит мне ваше высочество эти слова.

– Превосходно, барон, такой язык мне больше по душе! Объясните, что вы подразумеваете под этим.

– Такое же чувство, монсеньор, испытывает хорошенькая женщина, говоря своим воздыхателям: «Бог ты мой, мне и самой известно, что я очаровательна; ваши похвалы скучны, они мне набили оскомину. Зачем утверждать то, что очевидно? Кто станет кричать на улице: солнце – источник света!»

– Это замечание, барон, более остроумно и более опасно. Итак, чтобы продлить ваши муки, признаюсь вам, что чертов аббат Полидори и тот не сумел бы лучше скрыть яд лести.

– Монсеньор, я умолкаю.

– Значит, вы больше не сомневаетесь, ваше высочество, что под обликом шарлатана скрывается аббат Полидори? – серьезно спросил Мэрф.

– Не сомневаюсь, ведь вы были предупреждены, что он недавно обосновался в Париже.

– Я позабыл или, точнее, не хотел говорить вам о нем, монсеньор, – грустно заметил Мэрф, – я же знаю, как вам тягостно вспоминать об этом священнике.

Лицо Родольфа снова омрачилось; и, погруженный в печальные думы, он не сказал больше ни слова до того, как карета въехала во двор посольства.

Все окна этого огромного особняка ярко сияли в темноте ночи; лакеи в парадной ливрее стояли шпалерой от колоннады перед входом и передних до залов ожидания, где находились камердинеры: зрелище было величественное, царственное.

Граф *** с графиней любезно ожидали Родольфа в первом салоне, когда он появился в сопровождении эсквайра Мэрфа и барона фон Грауна.

В ту пору Родольфу было тридцать шесть лет; и хотя молодость его уже миновала, безупречная правильность черт лица и благожелательное достоинство, с которым он держался, невольно бросались в глаза, даже если бы его августейший ранг и не придавал блеска этим преимуществам.

Родольф, вошедший в первый салон посольства, казался другим человеком: в нем не было ничего от буяна с быстрой и решительной походкой, художника по расписке вееров и победителя Поножовщика; в нем не было ничего и от насмешника-коммивояжера, с готовностью внимавшего невзгодам г-жи Пипле. Это был принц крови в самом высоком, поэтическом смысле слова.

У Родольфа прямая гордая посадка головы; вьющиеся каштановые волосы обрамляют его широкий, открытый, благородный лоб; взгляд у него ласковый, исполненный достоинства; когда он обращается к кому-нибудь с присущим ему остроумием, в его тонкой, чарующей улыбке обнажаются два ряда жемчужных зубов, белизну которых оттеняют темные тонкие усы; такого же цвета бакенбарды обрамляют безупречный овал его бледного лица вплоть до слегка выступающего вперед подбородка с ямочкой.

Родольф одет очень просто: белый жилет, белый галстук, сверкающий на груди усыпанный бриллиантами орден и синий фрак, который облегает его стройную, изящную, гибкую фигуру; наконец, мужественные, решительные манеры смягчают то, что могло бы показаться слащавым в его обаятельном облике. Родольф так редко бывал в свете и держался с такой царственной непринужденностью, что его прибытие вызвало сенсацию, взгляды всех собравшихся обратились к нему, когда он вошел в первый салон посольства в сопровождении Мэрфа и барона фон Грауна.

Атташе посольства, которому было поручено следить за его прибытием, тотчас же отправился предупредить графиню ***, и она вместе с мужем поспешила навстречу Родольфу.

– Не знаю, ваше высочество, как выразить вам мою признательность за любезность, какую вы оказали нам сегодня, почтив нас своим присутствием, – сказала графиня ***.

– Вы же знаете, графиня, что я всегда рад случаю засвидетельствовать вам свое почтение и выразить господину послу мою сердечную к нему привязанность, ведь мы с вами старые знакомые, граф.

– Вы очень добры, ваше высочество, что не забыли о нашем знакомстве и дали мне новый повод вспомнить о ваших милостях.

– Уверяю вас, граф, не моя вина в том, что иные воспоминания всегда живы у меня в памяти; я наделен счастливым даром не забывать того, что было у меня наиболее приятного в жизни.

– Право же, ваше высочество, это неопценимое преимущество, – заметила, улыбаясь, графиня ***.

– Не правда ли, сударыня? Вот почему спустя много лет я буду иметь удовольствие – очень надеюсь на это – напомнить вам сегодняшней день, а также вкус и редкостную изысканность, которые царят на этом балу... Ибо, скажу вам откровенно на ушко, вы одна умеете давать такие празднества.

– Монсеньор!..

– И это не все; скажите мне, господин посол, почему женщины кажутся у вас красивее, чем на других приемах?

– Потому, ваше высочество, что вы распространяете на них ту благосклонность, которую проявляете к нам.

– Разрешите не согласиться с вами, граф, мне кажется, что это полностью зависит от вашей жены.

– Не будете ли вы так добры, ваше высочество, объяснить мне этот феномен? – улыбаясь, спросила графиня.

– Все очень просто, сударыня; вы умеете принимать всех этих дам с такой безукоризненной учтивостью, с таким восхитительным радушием, вы говорите каждой из них что-нибудь такое приятное, лестное, что даже те женщины, которые не вполне... да, не вполне заслуживают столь любезных похвал, – сказал Родольф с лукавой улыбкой, – приходят в восторг от них, а те, что заслуживают таких комплиментов, бывают в не меньшем восторге из-за того, что вы сумели оценить их красоту. От этой невинной радости расцветают все лица; счастье делает привлекательными даже дурнушек, вот почему, графиня, дамы всегда кажутся у вас красивее, чем на других приемах. Уверен, что господин посол согласится со мной.

– Вы привели столько убедительных доводов в пользу своего мнения, ваше высочество, что я готов присоединиться к нему.

– Что до меня, монсеньор, я принимаю ваше объяснение с благодарностью и удовольствием, словно это правда, а не лесть, хотя и рискую стать такой же хорошенькой, как те женщины, которые не вполне, да, не вполне заслуживают похвал.

– Чтобы убедить вас, сударыня, в истинности моих слов, давайте понаблюдаем за действием комплиментов на выражение лиц присутствующих дам.

– Но, монсеньор, можно ли расставлять им такую ловушку?! – возразила, смеясь, графиня.

– Хорошо, сударыня, я отказываюсь от своего намерения, но при условии, что вы разрешите предложить вам руку. Я слышан о некоем волшебном саде, цветущем в январе месяце... Не будете ли вы так добры показать мне это чудо из «Тысячи и одной ночи»?

– С величайшим удовольствием, ваше высочество; но то, что вы слышали о нашем саде, сильно преувеличено. Впрочем, вы сами будете судить о нем, если только ваша обычная снисходительность не введет вас в заблуждение.

Родольф предложил руку графине *** и прошел вместе с ней в другие салоны, в то время как посол беседовал с бароном фон Грауном и с Мэрфом, с которыми был давно знаком.

Глава XVI. Зимний сад

Трудно было бы найти что-нибудь более феерическое, более достойное сказок «Тысячи и одной ночи», чем зимний сад, о котором Родольф говорил с графиней ***.

Представьте себе великолепную галерею, откуда вы попадаете на площадку сорока туазов длины и тридцати ширины, над которой навис застекленный, словно невесомый, свод, достигающий пятидесяти футов от пола. Зеркальные стены этой площадки в форме параллелограмма, в глубине которых как бы пересекаются крохотные зеленые ромбы камышовых трельяжей, напоминают благодаря игре света и тени ажурную беседку; вдоль стен выстроились апельсиновые деревья и кусты камелии, не уступающие по размерам тем, что находятся в Тюильри; первые усыпаны плодами, сверкающими, как золотые яблоки, среди глянцевиной темно-зеленой листвы, вторые пестрят пурпурными, белыми и розовыми цветами.

Но это лишь обрамление сада.

Пять или шесть куп деревьев и кустов, привезенных из Индии и тропиков, растут в глубоких впадинах, вокруг которых петляют аллеи, выложенные прелестной ракушечной мозаикой; аллеи эти достаточно широки, чтобы три-четыре человека могли гулять по ним, взявшись за руки.

Невозможно описать впечатление, которое производила в разгар зимы, и притом среди бала, эта роскошная экзотическая растительность.

Здесь огромные банановые деревья почти достигают вершины застекленного свода, смешивая свои широкие лоснящиеся листья с остроконечными листьями огромных магнолий, где уже расцветают прекрасные душистые цветы, из чашечек которых, пурпурных сверху и серебристых внутри, торчат золотые тычинки; дальше растут финиковые пальмы Леванта, красные веерники, индийские смоковницы; все эти густолиственные, мощные деревья как бы дополняют буйство окружающей их пышной яркой зелени, которая словно позаимствовала свое великолепие у изумруда, ибо ее крепкие, плотные и гладкие побеги приобретают иной раз искрометные металлические оттенки.

А каких только здесь нет вьющихся растений! Они карабкаются по трельяжам гирляндами цветов и листьев, повисают между апельсиновыми и иными деревьями, спиралью взбираются по их стволам и, образуя непроходимую чашу, поднимаются до верха застекленного свода; страстоцветы, прозванные крылатыми, кавалерники, усыпанные большими пурпурными цветами в голубых прожилках с лилово-черным пестиком, ниспадают оттуда гигантскими каскадами, цепляясь своими тонкими усиками за стреловидные листья алоэ, точно снова хотят подняться ввысь.

Пушистый индийский жасмин с удлинненными светло-желтыми цветами переплелся с другой лианой, покрытой сочными белыми цветами, которые распространяют вокруг пряный аромат; обе они, не разжимая объятий, украшают своей зеленой бахромой с золотыми и серебряными колокольчиками листья индийской смоковницы.

Дальше взвиваются и зелеными струями падают вниз бесчисленные побеги ласточкина, чьи листья и зонтичные цветы по двадцати звездочек в каждом так компактны и глянцевиты, что их можно принять за букеты из розовой эмали, окруженные маленькими зелеными листочками.

Купы деревьев и кустов окружены бордюрами трансваальского вереска, голландских тюльпанов, константинопольских нарциссов, персидских гиацинтов, цикламенов, ирисов, образующими нечто вроде естественного ковра, где соседствуют во всем своем великолепии самые разнообразные краски и оттенки.

Наполовину скрытые среди листвы китайские фонарики из прозрачного шелка, одни голубые, другие бледно-розовые, освещают зимний сад.

Невозможно описать таинственный мягкий свет, создаваемый их лучами, свет пленительный, сказочный, который напоминает голубоватую прозрачность ясной летней ночи и алые отблески северной зари.

В эту огромную теплицу ведет приподнятая над ней длинная галерея, сверкающая золотом, зеркалами, хрусталем, сияние которой обрамляет, если так можно выразиться, сумеречный сад, где неясно вырисовываются высокие деревья, видимые в ее широкие просветы, наполовину затянутые малиновым бархатом.

Заглянув в один из них, можно подумать, что перед вами расстилается среди спокойной светлой ночи экзотический пейзаж.

Если же смотреть из глубины сада, где под сенью зелени и цветов стоят огромные диваны, галерея являет собой резкий контраст с мягким полумраком оранжереи.

Глаз различает, как в окутывающей их золотистой дымке играют и переливаются, словно на ожившей картине, разнообразные красочные ткани женских платьев, как искрятся бриллианты и другие драгоценные камни.

Звуки оркестра, ослабленные расстоянием и веселым, невнятным шумом галереи, замирают в неподвижной листве высоких экзотических деревьев.

Прогуливаясь по этому саду, гости невольно понижали голос, слышался лишь звук легких шагов и шуршание атласных платьев; этот воздух, одновременно легкий, теплый и наполненный запахом множества благовонных растений, эта тихая, далекая музыка погружали вас в сладостный душевный покой.

Сидя на обитом шелком диване в укромном уголке этого Эдема, двое счастливых влюбленных, опьяненные страстью, гармонией и ароматами, не могли бы найти более волшебной рамки для своей пламенной и недавно зародившейся любви, ибо, увы, месяц или два законного спокойного счастья беспощадно превращают двух любовников в холодную супружескую чету.

Войдя в этот восхитительный зимний сад, Родольф невольно вскрикнул от удивления.

– Право, сударыня, я никогда не подумал бы, что подобное чудо возможно. Этот сад не только воплощение роскоши и вкуса, он – сама поэзия; вместо того чтобы писать поэмы или картины, как крупный мастер, вы создаете то, о чем они вряд ли осмелились бы мечтать, – сказал он графине ***.

– Вы очень любезны, ваше высочество.

– Признайтесь же, сударыня, что мастер, который сумел бы передать эту чарующую картину с ее поразительными красками и контрастами, то ласкающими глаз, то навевающими сладостный покой, признайтесь же, что такой художник или поэт создал бы замечательное произведение искусства, лишь воспроизводя то, что сотворили вы.

– Похвалы, подсказанные снисходительностью вашего высочества, тем более опасны, что они очаровывают тебя своим остроумием и ты помимо воли внимаешь им с огромным удовольствием. Но взгляните, монсеньор, на эту прелестную молодую женщину. Согласитесь, ваше высочество, что маркиза д'Арвиль хороша в любой рамке. Сколько в ней изящества! Разве она не выигрывает по сравнению с холодной красавицей, которая сопровождает ее?

Графиня Сара Мак-Грегор и маркиза д'Арвиль как раз спускались по ступеням, которые вели из галереи в зимний сад.

Глава XVII. Свидание

Лестные отзывы графини *** о г-же д'Арвиль не были преувеличены.

Не хватает слов, чтобы передать тонкую, пленительную красоту этой женщины, находившейся во цвете лет, красоту, тем более редкостную, что она заключалась не столько в правильности черт лица, сколько в невыразимой его прелести, которая как бы скромно пряталась за трогательным выражением доброты.

Мы делаем упор на слове «доброта», ибо обычно не доброта ценится в лице двадцатилетней женщины, красивой, остроумной, окруженной поклонением и любовью, как г-жа д'Арвиль, которая невольно привлекала сердца своим мягким, бесхитростным характером, не вязавшимся с успехом, которым она пользовалась в свете, отчасти, надо признаться, из-за родовитости и богатства мужа.

Попробуем пояснить эту мысль.

Натура слишком гордая, слишком одаренная, чтобы кокетством завлекать мужчин, г-жа д'Арвиль бывала так чистосердечно тронута их вниманием, словно не вполне заслуживала его; внимание это пробуждало в ней не гордость, а радость; равнодушная к похвалам, она ценила превыше всего доброе к себе отношение и прекрасно умела отличить лесть от проявления искренней приязни.

Наделенная ясным, тонким, а порой и лукавым умом, она умела беззлобно высмеять множество самодовольных людей, которые постоянно выставляют напоказ одни свою благодушную физиономию счастливых дураков, другие – надутую физиономию спесивых глупцов... «Эти люди, – шутливо говорила г-жа д'Арвиль, – проводят жизнь, как бы танцуя в одиночку перед невидимым зеркалом и сочувственно улыбаясь ему».

Зато застенчивые, сдержанные, самолюбивые люди вызывали неизменный интерес г-жи д'Арвиль.

Это краткое вступление поможет читателю понять все своеобразие красоты маркизы.

У нее безукоризненный цвет лица с нежным румянцем; длинные локоны светло-каштановых волос касаются округлых плеч, крепких и гладких, как белый мрамор. Невозможно описать ангельскую прелесть ее больших серых глаз, опущенных длинными черными ресницами. Алый рот ее так же выразителен, как и чарующий взгляд, а трогательному, душевному разговору вторит ласковое и грустное выражение лица. Не будем говорить ни о ее безупречной фигуре, ни о редкой изысканности всего ее облика. В тот вечер на маркизе было платье из белого крепа, украшенное веточкой камелии, в чашечке которой сверкали, наподобие капель росы, полускрытые в ней бриллианты; венок таких же цветов осенял ее чистый белый лоб.

Холодная красота графини Мак-Грегор еще больше подчеркивала обаяние и женственность маркизы д'Арвиль.

В свои тридцать пять лет Сара казалась самое большее тридцатилетней. Нет ничего полезнее для тела, чем холодный эгоизм; человек долго сохраняет молодость с этим куском льда в груди.

Иные сухие, черствые души недоступны волнениям, от которых изнашивается и блекнет лицо, они ощущают лишь уколы уязвленной гордости или обманутого честолюбия – огорчения, которые не слишком влияют на здоровье тела.

Моложавость Сары лишь подтверждает наши слова.

Если не считать известной полноты, которая придавала ее фигуре, менее стройной, чем у г-жи д'Арвиль, сладострастную томность, Сара блистала свежестью молодости; мало кто мог выдержать обманчивый огонь сверкающих черных глаз графини, но влажные губы выдавали ее решительную и плотоядную натуру.

Голубоватые жилки на висках и шее проступали сквозь молочную белизну ее тонкой, словно прозрачной, кожи.

На графине Мак-Грегор было муаровое платье соломенного цвета и в тон ему шелковая туника; простой веночек из вечнозеленых листьев, оттенком напоминающих бирюзу, прекрасно гармонировал с ее черными как смоль волосами, разделенными на прямой пробор. Эта строгая прическа придавала нечто античное властному и чувственному профилю этой женщины с орлиным носом.

Немало людей, введенных в заблуждение собственной внешностью, рассматривают ее как явное доказательство своего будущего призвания. Один находит у себя чрезвычайно воинственный вид, он воюет; другой – вид поэта, он слагает стихи; третий – вид конспиратора, он конспирирует; четвертый – вид политика, он политиканствует; пятый – вид проповедника, он проповедует. Сара находила, и не без основания, что у нее царственный вид, и, поверив некогда предсказаниям кормилицы, была по-прежнему убеждена в своей высокой судьбе.

Спускаясь по ступенькам лестницы в зимний сад, маркиза с Сарой увидели там Родольфа; но герцог, очевидно, не заметил их, ибо находился на повороте аллеи.

– Герцог так увлечен разговором с супругой посла, – сказала г-жа д'Арвиль, – что даже не обратил на нас внимания...

– Вы ошибаетесь, дорогая Клеманс, – возразила графиня, которая была близкой приятельницей г-жи д'Арвиль, – герцог прекрасно видел нас, но он меня боится... Его неприязнь ко мне так и не прошла.

– Я отказываюсь понимать то упорство, с которым он избегает вас; я часто журила его за столь странное поведение с таким давним другом. «Мы с графиней Сарой смертельные враги, – ответил он шутливо, – я дал обет никогда не разговаривать с ней, и, по-видимому, обет этот священный, если я отказываю себе в удовольствии беседовать с такой любезной особой». И хотя, дорогая Сара, слова герцога удивили меня, пришлось удовлетвориться ими⁷¹.

– Уверю вас, что причина нашей жестокой ссоры, ссоры полушутливой, полусерьезной, самая невинная; если бы в этом деле не было замешано третье лицо, я давным-давно открыла бы вам эту великую тайну. Но что с вами, дорогое дитя? Вы чем-то озабочены?

– Пустяки... в этой галерее было так жарко, что у меня разболелась голова; давайте посидим здесь, и, надеюсь, моя головная боль пройдет...

– Вы правы, вот как раз уединенный уголок, где вы будете скрыты от глаз тех, кого опечалит ваше отсутствие... – заметила Сара, улыбаясь и делая ударение на последних словах.

Обе дамы сели на диван.

– Я сказала «тех, кого опечалит ваше отсутствие», дорогая Клеманс... Вы должны быть благодарны мне за сдержанность.

Молодая женщина слегка покраснела, опустила голову и ничего не сказала в ответ.

– Вы слишком сдержанны со мной, – проговорила Сара тоном дружеского упрека. – Разве вы не доверяете мне, детка? Да, для меня вы девочка, ведь я вам в матери гожусь.

– Как вы могли подумать, что я не доверяю вам? – с грустью молвила маркиза. – Разве я не сказала вам того, в чем не смела признаться самой себе?

– Превосходно. Так что же... давайте поговорим о нем: значит, вы решили довести его до отчаяния, до самоубийства?

– Ах! – с ужасом воскликнула г-жа д'Арвиль. – Что вы такое говорите?

– Вы еще не знаете его, бедное дитя!.. Он человек с холодным, решительным характером, для которого жизнь мало что значит. Он был всегда очень несчастлив... и можно подумать, что вас забавляет мучить его.

⁷¹ Любовь Родольфа к Саре и последовавшие за ней события, случившиеся 17–18 лет тому назад, не стали достоянием светских сплетен: Родольф и Сара были одинаково заинтересованы в том, чтобы скрыть их.

– Боже мой, как вы могли это подумать?

– Быть может, сами того не желая, вы мучаете его... О, если бы вы знали, как впечатлительны, как болезненно чувствительны те, кого нещадно била жизнь! Послушайте, я только что видела слезы на его глазах.

– Возможно ли?!

– Да... и это среди бела дня; он рискует стать посмешищем, если его тяжкое горе будет замечено в свете. Поверьте, надо очень любить, чтобы так страдать... и, главное, даже не пытаться скрыть своих страданий!..

– Умоляю, не говорите со мной об этом, – растроганно молвила г-жа д'Арвиль, – вы глубоко огорчили меня... Я и сама прекрасно знаю это выражение мягкой и безропотной скорби... Увы, меня погубила жалость к нему, – невольно вырвалось у г-жи д'Арвиль.

Сара сделала вид, что не поняла значения этих последних слов.

– Не преувеличивайте!.. – сказала она. – Считать себя погибшей из-за того, что вы принимаете ухаживания мужчины, который по своей скромности, сдержанности даже не хочет быть представленным вашему мужу из боязни скомпрометировать вас, ибо господин Шарль Робер человек чести! А сколько в нем такта, сердечности. Я с такой горячностью защищаю его, потому что вы познакомились с ним в моем доме и у меня с ним встречались. Уважение, которое он питает к вам, так же велико, как и его привязанность...

– Я никогда не сомневалась в его душевных качествах: вы так много говорили о нем хорошего!.. Но особенно тронули меня его несчастья.

– Признайтесь же, что он заслуживает и оправдывает это участие... Да и к тому же разве такое прекрасное лицо не есть отражение великой души? Со своим высоким ростом, стройным станом он напоминает мне рыцарей Средних веков. Я видела его однажды в военной форме: какой у него был величественный вид! Если бы принадлежность к дворянству зависела от достоинств и внешности человека, он был бы не господином Шарлем Робером, а князем или пэром. С каким блеском он мог бы представлять знатнейшие фамилии Франции!

– Вы знаете, Сара, что родовитость весьма мало трогает меня; не вы ли упрекали меня в том, что я республиканка? – заметила с улыбкой г-жа д'Арвиль.

– Конечно, я всегда считала, как и вы, что господин Шарль Робер не нуждается в титулах, чтобы пленять сердца; а как он музыкален, какой у него дивный голос! Как он скрашивал наши утренние домашние концерты! Помните тот день, когда вы впервые спели с ним дуэт? Сколько экспрессии, сколько чувства он вкладывал в свою партию!..

– Пожалуйста, – сказала г-жа д'Арвиль после долгой паузы, – переменим тему разговора.

– Почему?

– Меня очень опечалили ваши слова о его мрачном настроении.

– Уверю вас, что в порыве отчаяния человек с таким горячим, страстным темпераментом может найти в смерти конец своим...

– О, умоляю вас, замолчите, замолчите! – воскликнула г-жа д'Арвиль, прерывая Сару. – Впрочем, такая мысль и мне приходила в голову...

Опять наступила пауза.

– Прошу вас, давайте поговорим о ком-нибудь другом... хотя бы о вашем смертельном враге, – продолжала маркиза с наигранным весельем, – да, поговорим о герцоге, которого я давно не видела. Знаете, он обаятельнейший человек, несмотря на свой почти королевский титул. Хотя я и республиканка, но считаю, что в обществе мало таких обворожительных мужчин, как он.

Сара украдкой бросила на г-жу д'Арвиль испытующий, подозрительный взгляд.

– Признайтесь, дорогая Клеманс, – оживленно заметила она, – что вы очень непостоянны. Помните, ваш интерес к герцогу не раз уступал место странной к нему неприязни; несколько

месяцев тому назад, когда он только что приехал в Париж, вы были в таком восторге от него, что, говоря между нами... я испугалась за покой вашего сердечка...

– Зато благодаря вам, – проговорила с улыбкой г-жа д'Арвиль, – мой интерес к нему был недолговечен, вы прекрасно сыграли роль его смертельного врага, вы сделали мне такие признания о герцоге... что, сознаюсь вам, охлаждение сменило былой интерес, из-за которого вы опасались за покой моего сердца; кстати сказать, он и не думал нарушать его: незадолго до ваших признаний герцог, продолжавший по-дружески посещать моего мужа, почти совсем отказался от чести наносить мне визиты.

– Скажите, вашего мужа как будто нет на этом празднестве? – спросила Сара.

– Нет, он не пожелал выезжать сегодня, – смущенно ответила г-жа д'Арвиль.

– Мне кажется, он все меньше и меньше бывает в свете?

– Да... иногда он предпочитает оставаться дома.

Маркиза была в явном замешательстве, и Сара заметила это.

– В последний раз, когда я видела его, он показался мне побледневшим.

– Да... Ему немного нездоровилось...

– Скажите, дорогая Клеманс, хотите, я буду вполне откровенна с вами?

– Прошу вас...

– Когда разговор заходит о вашем муже, вы впадаете в какое-то странное беспокойство.

– Я... Откуда вы это взяли?

– Видите ли, на вашем личике появляется... Боже мой, как бы это выразить поточнее...

Нечто вроде... боязливого отвращения.

Сара с ударением произнесла последние слова, как бы стараясь проникнуть в мысли Клеманс.

Сначала г-жа д'Арвиль противопоставила инквизиторскому взгляду Сары безучастно-холодное выражение лица, однако последняя уловила нервное, еле заметное подергивание нижней губы молодой женщины.

Не желая продолжать свой допрос из боязни вызвать недоверие подруги, графиня поспешила заметить, чтобы сбить ее с толку:

– Да, нечто вроде боязливого отвращения, какое внушает обыкновенно ревнивый ворчун.

При этом объяснении легкое подергивание нижней губки г-жи д'Арвиль прекратилось: она испытала, видимо, огромное облегчение.

– Да нет же, *мой муж* не ревнивец и не ворчун...

Наступила пауза, видимо, маркиза искала предлога переменить неприятный ей разговор.

– Боже мой! А вот и этот несносный герцог де Люсене, один из друзей моего мужа... Только бы он не заметил нас! Откуда он взялся? Я полагала, что он за тридцать земель отсюда.

– В самом деле, поговаривали о том, будто он уехал на Восток, на год или два; а между тем прошло едва пять месяцев, как он покинул Париж. Это внезапное появление должно было немало расстроить герцогиню де Люсене, хотя герцог и не слишком навязчивый муж, – проговорила Сара с недоброй усмешкой. – Впрочем, не только ее огорчит это досадное возвращение... Господин де Сен-Реми разделит ее горе.

– Не надо злословить, дорогая Сара; скажите лучше, что... все будут недовольны его возвращением... Господин де Люсене настолько неприятный человек, что вы могли отнести это замечание ко всем нам.

– Я не злословлю, нет!.. Я только передаю то, что слышала. Говорят, кроме того, что господин де Сен-Реми, этот законодатель мод, который покорила все светское общество своим великолепием, почти разорен, хотя и продолжает вести столь же роскошный образ жизни; зато госпожа де Люсене несметно богата.

– Какой ужас!..

– Повторяю, я передаю лишь то, что говорят другие... Боже мой! Герцог нас заметил. Он направляется к нам, придется смириться. Какая досада, я не знаю человека более несносного, чем он. Порой он держится так вульгарно, так громогласно хохочет над своими глупыми анекдотами, поднимает такой шум, что у собеседника голова идет кругом; если у вас имеется флакон или веер, которыми вы дорожите, смело защищайте их от его посягательств, ибо он ломает все, к чему ни прикоснется, и делает это с видом бесшабашным и самодовольным.

Герцог де Люсене принадлежал к одному из знатнейших родов Франции; человек еще не старый, с лицом, которое могло бы показаться приятным, если бы не причудливый, непомерной длины нос, герцог с его порывистым, неусидчивым характером, громким голосом и оглушительным смехом отличался к тому же шутками такого сомнительного свойства, выходками столь бесцеремонными и неожиданными, что приходилось постоянно вспоминать о его титуле, дабы не удивляться, встречая его в самом изысканном обществе, и не осуждать тех, кто терпеливо сносил свойственные ему эксцентричные выходки, которые пользовались всепрощением и безнаказанностью благодаря давней к ним привычке. И все же от него бежали как от чумы, хотя он и не был лишен остроумия, проглядывавшего иной раз в потоке его слов. Он был одним из тех людей, которых так и подмывает натравить на самых смешных или ненавистных вам субъектов.

Поведение г-жи де Люсене, одной из обаятельнейших и модных парижанок, хотя ей уже стукнуло тридцать, нередко служило причиной сплетен; но в свете готовы были извинить ее за легкомыслие из-за странностей супруга.

Упомянем еще одно неприятное свойство герцога – несдержанность и немислимый цинизм при упоминании о нелепых болезнях или немислимых увечьях, которые он приписывал людям смеха ради и тут же при всем обществе во всеуслышание выражал им свое соболезнование. Как человек безусловно смелый, он был готов искупить свои оскорбительные выходки и не раз наносил и получал сабельные удары, что, однако, не послужило ему к исправлению.

Предуведомив обо всем этом читателя, мы дадим ему послушать, что говорит своим крикливым, пронзительным голосом г-н де Люсене, который, едва завидев г-жу д'Арвиль и Сару, возопил:

– Вот те на, вот те на! Что это такое! Что я вижу? Как, самая хорошенькая женщина на балу держится в стороне от общества! Да разве это допустимо? Я вовремя вернулся от антиподов, чтобы положить конец этому скандалу! Предупреждаю, если вы, маркиза, будете избегать всеобщего восхищения, я закричу во всю глотку, я объявлю об исчезновении лучшего украшения этого праздника!

В заключение своей тирады г-н де Люсене развалился на диване рядом с маркизой; после чего он закинул левую ногу на правую и схватился рукой за свой башмак.

– Как, сударь, вы уже вернулись из Константинополя? – проговорила г-жа д'Арвиль, нетерпеливо отодвигаясь от герцога.

– Уже! Вы говорите то, что подумала моя жена, уверен в этом, ибо она не пожелала сопровождать меня сегодня вечером в честь моего возвращения в свет. Вот и приезжайте невзначай к своим друзьям, чтобы они обдавали вас таким холодным душем!

– Почему бы вам было не проявлять своей любезности... там, откуда вы приехали? – проговорила г-жа д'Арвиль с полуулыбкой.

– Иначе говоря, оставаться в отсутствии, не так ли? Какие мерзости, какие гадости вы говорите! – вскричал г-н де Люсене, ставя ноги на пол и ударяя по своей шляпе, словно по баскскому барабану.

– Ради всего святого, сударь, не кричите так громко и сидите смирно, иначе вы вынудите нас уйти отсюда, – с досадой молвила г-жа д'Арвиль.

– Превосходно, значит, вы хотите опереться на мою руку и пройти по галерее?

– С вами? Нет, конечно. Будьте осторожны, прошу вас, не трогайте этого букета, умоляю, оставьте в покое и мой веер, не то сломаете его, по своему обыкновению.

– Какие пустяки! Поверьте, я и так сломал их немало, особенно хорош был один китайский, который госпожа де Водемон подарила моей жене.

Произнося эти успокоительные слова, г-н де Люсене теребил густые стебли ползучего растения. Дело кончилось тем, что оно оторвалось от дерева, служившего ему опорой, и рухнуло на герцога.

Из-под этого зеленого покрова раздались взрывы смеха, да такие безумные, визгливые, оглушительные, что г-жа д'Арвиль сбежала бы от своего несносного соседа, если бы не заметила в эту минуту г-на Шарля Робера («офицера», как называла его г-жа Пипле), который направлялся к ним с противоположного конца аллеи. Могло показаться, будто она идет ему навстречу, и, испугавшись этого, молодая женщина осталась рядом с г-ном де Люсене.

– Скажите, госпожа Мак-Грегор, ведь я в точности походил на бога Пана, на наяду, лешего, дикаря под обрушившейся на меня листвой? – спросил г-н де Люсене, обращаясь к Саре, возле которой он неожиданно очутился. – Кстати, о дикаре, я должен рассказать вам чрезвычайно неприличную историю... Представьте себе, что на Таити...

– Герцог, – ледяным тоном прервала его Сара.

– Так вот же, я не расскажу вам этой истории; приберегу ее для госпожи де Фонбон, она как раз идет к нам.

Это была пятидесятилетняя коротышка, очень претенциозная и очень смешная, с тройным подбородком, которая вечно закатывала глаза, говоря о своей душе, о томлении своей души, о запросах своей души, о порывах своей души. В этот вечер на ее голове красовался безвкуснейший тюрбан из ткани медного цвета в мелкий зеленый горошек.

– Я оставляю свою историю для госпожи де Фонбон, – воскликнул герцог.

– В чем дело, герцог? – спросила г-жа де Фонбон, жеманясь, воркуя и подмаргивая, как говорят в народе.

– А дело в том, сударыня, что эта история в высшей степени неприличная, непристойная и ни с чем не сообразная.

– Ах, боже мой! Но кто же посмеет... рассказать ее? Кто же позволит себе?..

– Я, сударыня; моя история вогнала бы в краску даже старика Шамборана. Но я знаю ваши вкусы... Послушайте-ка...

– Сударь...

– Так нет же, вы не услышите моей истории, не услышите! И знаете из-за чего? Вы обычно так хорошо одеваетесь, с таким вкусом, с таким изяществом, а сегодня вечером на вас тюрбан, похожий, разрешите сказать, на старую форму для торта, изъеденную ярь-медянкой.

И герцог громко расхохотался.

– Если вы приехали с Востока для того, чтобы возобновить ваши дурацкие выходки, которые прощаются вам лишь потому, что голова у вас не в порядке, – раздраженно проговорила толстуха, – все пожалеют о вашем возвращении, сударь.

И она величественно удалилась.

– Как мне хочется сбросить тюрбан с этой противной жеманницы! – сказал г-н де Люсене. – Прямо руки чешутся, но я уважаю ее: она одинока на белом свете... Ха-ха-ха! А вот и господин Шарль Робер, – воскликнул г-н де Люсене, – я встречал его на пиренейских водах... Он поразительный малый, поет как лебедь. Увидите, маркиза, как я его разыграю. Хотите, я вам представлю его?

– Сидите смиренно и оставьте нас в покое, – сказала Сара.

Пока Шарль Робер медленно шел по аллее, делая вид, что любит оранжерейными цветами, г-н де Люсене ловко завладел флаконом Сары и в полном молчании, с чрезвычайным усердием старался отвинтить пробку этой прелестной вещицы.

Господин Шарль Робер подходил все ближе; его высокая фигура была безукоризненно пропорциональна, черты лица отличались редкой правильностью, костюм исключительной элегантностью; однако его лицу и манерам не хватало изящества, обаяния, изысканности; походка была напряженная, чопорная, руки и ноги большие и неуклюжие. Как только он увидел г-жу д'Арвиль, незначительность его лица сразу исчезла, сменившись глубокой меланхолией, слишком внезапной, чтобы ее нельзя было заподозрить в наигранности; однако сделано это было безупречно. Вид у г-на Робера был такой несчастный, такой безутешный, когда он подходил к г-же д'Арвиль, что она невольно подумала о зловещих словах Сары насчет трагического шага, на который может толкнуть его любовь.

– Ба, да это вы, сударь, здравствуйте! – обратился к нему г-н де Люсене. – Я не имел удовольствия видеть вас со времени нашей встречи на пиренейских водах. Но что это с вами? Вид у вас совершенно больной!

Тут г-н Шарль Робер бросил долгий горестный взгляд на г-жу д'Арвиль и ответил герцогу с подчеркнутой печалью в голосе:

– Я и в самом деле болен, сударь.

– Боже мой, боже мой, вы так и не смогли отделаться от своих утренних рвот? – спросил г-н де Люсене с видом искреннего участия.

Вопрос этот был столь неожидан, столь нелеп, что на мгновение г-н Шарль Робер растерялся; затем лоб его покраснел от гнева, и он ответил г-ну де Люсене твердым, отрывистым голосом:

– Если вас так интересует мое здоровье, сударь, я надеюсь, что вы завтра же зайдете справиться о нем?

– Ну конечно, мой милый... конечно, завтра же пришло к вам... – высокомерно ответил герцог.

Сделав полупоклон, г-н Шарль Робер удалился.

– Забавнее всего, что он так же здоров, как турецкий султан, – сказал г-н де Люсене, снова развалившись на диване рядом с Сарой, – если только я не попал в точку, сам того не подозревая. Скажите-ка, госпожа Мак-Грегор, разве у этого молодца не такой вид, словно его рвет по утрам?

Сара резко повернулась спиной к г-ну де Люсене, ничего ему не ответив.

Вся эта сцена разыгралась с молниеносной быстротой.

Сара с трудом подавила взрыв смеха.

Госпожа д'Арвиль жестоко страдала, думая о тягостном положении человека, которому был задан столь нелепый вопрос в присутствии любимой женщины; она пришла в ужас при мысли о возможной дуэли и под влиянием необоримого чувства жалости неожиданно встала, взяла под руку Сару и догнала г-на Шарля Робера, который был вне себя от гнева.

– Завтра в час дня... я приду... – сказала она тихо, проходя мимо него.

Затем она вернулась с графиней на галерею и покинула бал.

Глава XVIII. Ангел мой, как ты поздно приехала!

Отправляясь на это празднество, чтобы выполнить долг вежливости, Родольф намеревался выяснить, насколько обоснованны его опасения относительно г-жи д'Арвиль, и узнать, была ли она героиней рассказа г-жи Пипле.

Покинув вместе с графиней *** зимний сад, Родольф напрасно обошел несколько салонов в надежде встретить г-жу д'Арвиль. Он возвращался в оранжерею, когда, задержавшись на первой ступеньке лестницы, оказался свидетелем мимолетной сцены, которая произошла между г-жой д'Арвиль и г-ном Шарлем Робером после отвратительной шутки герцога де Люсене. Родольф заметил многозначительные взгляды, которыми они обменялись. Предчувствие подсказало ему, что этот высокий красивый молодой человек и есть тот самый офицер, о котором ему говорила г-жа Пипле. Желая убедиться в этом, он вернулся на галерею.

Оркестр заиграл вальс; вскоре он увидел г-на Шарля Робера, стоявшего в проеме одной из дверей. Казалось, он был вдвойне доволен – и своим ответом г-ну де Люсене (Шарль Робер был человеком весьма храбрым, несмотря на свои причуды), и свиданием, которое назначила ему на следующий день г-жа д'Арвиль: он был уверен, что на этот раз она не обманет его.

Родольф разыскал Мэрфа.

– Видишь высокого блондина вон там, среди кучки людей?

– Господина, явно довольного самим собой? Да, монсеньор.

– Незаметно подойди к нему и скажи так тихо, чтобы он один услышал тебя: «Ангел мой, как ты поздно приехала!»

Эсквайр с недоумением взглянул на Родольфа.

– Вы не шутите, монсеньор?

– Отнюдь нет.

– Я ничего не понимаю, но готов повиноваться.

До окончания вальса достойному Мэрфу удалось встать за спиной г-на Шарля Робера.

Родольф занял наблюдательный пост, откуда он мог прекрасно видеть, чем закончится этот опыт, и стал внимательно следить за Мэрфом.

Не прошло и секунды, как г-н Шарль Робер резко обернулся, Мэрф и глазом не моргнул; конечно же, этот высокий лысый мужчина с серьезным внушительным видом был последним человеком, которому офицер мог приписать фразу, напомнившую ему досадное недоразумение, героиней которого была г-жа Пипле.

По окончании вальса Мэрф подошел к Родольфу.

– Вы видели, монсеньор, молодой человек обернулся, словно его ужалили. Так, значит, эта фраза волшебная?

– Да, волшебная, старый друг: она открыла мне то, что я хотел узнать.

Родольфу не оставалось ничего иного, как пожалеть г-жу д'Арвиль из-за совершенной ею ошибки, тем более что соучастницей и наперсницей ее в этом деле (он это прекрасно понял) была графиня Сара Мак-Грегор. При этом открытии Родольф почувствовал, как болезненно сжалось его сердце; он перестал сомневаться в причине огорчения г-на д'Арвиля, которого нежно любил; виной всему была, несомненно, ревность; его жена, наделенная красотой и прекрасными душевными качествами, готова была принести себя в жертву недостойному ее человеку. Овладев чужой тайной, Родольф не мог воспользоваться ею, чтобы открыть глаза г-же д'Арвиль на ее избранника, и был осужден оставаться бесстрастным свидетелем гибели молодой женщины, оказавшейся жертвой слепой страсти.

Из задумчивости его вывел барон фон Граун.

– Если вы, ваше высочество, соизволите уделить мне немного времени для беседы в маленькой уединенной гостиной, я сообщу вам те сведения, которые вы приказали мне собрать.

Родольф последовал за бароном.

– Единственная герцогиня, к которой могут относиться инициалы Н и Л, это герцогиня де Люсене, урожденная де Нуармон, – сказал фон Граун, – сегодня ее здесь нет. Я только что встретил ее мужа, пять месяцев назад отправившегося в годичное путешествие по Востоку, – он неожиданно вернулся в Париж не то два, не то три дня тому назад.

Читатель, наверное, помнит, что при посещении дома на улице Тампль Родольф поднял на лестничной площадке против квартиры шарлатана Сезара Брадаманти мокрый от слез носовой платок, обшитый прекрасными кружевами, в уголке которого он заметил инициалы Н и Л, увенчанные герцогской короной. По его приказанию барон фон Граун, ничего не знавший об обстоятельствах этого дела, навел справки о герцогинях, в настоящее время находящихся в Париже, и добыл те сведения, о которых мы только что упомянули.

Родольф все понял.

У него не было ни малейшей причины интересоваться г-жой де Люсене, но он поневоле содрогнулся при мысли, что она та самая женщина, которая побывала у шарлатана, и теперь этот негодяй, иначе говоря, аббат Полидори, знает ее имя, ибо приказал Хромале выследить ее, и что он может злоупотребить связавшей их страшной тайной, дабы шантажировать герцогиню.

– Странные бывают совпадения, монсеньор, – продолжал барон фон Граун.

– О чем это вы?

– В ту минуту, когда господин де Гранжнев сообщал мне сведения о супругах де Люсене, присовокупив к ним не без ехидства, что неожиданное возвращение господина де Люсене, вероятно, очень расстроило герцогиню и виконта де Сен-Реми, красивого молодого человека и одного из самых знаменитых парижских щеголей, господин посол попросил меня узнать, не разрешите ли вы, ваше высочество, представить вам виконта: он как раз присутствует на этом празднестве; дело в том, что господин де Сен-Реми причислен к французской миссии в Герольштейне и был бы счастлив засвидетельствовать вам свое почтение.

Родольф досадливо поморщился.

– До чего же мне это неприятно, – сказал он, – но отказать невозможно... Что ж, попросите графа *** представить мне господина де Сен-Реми.

Несмотря на свое дурное настроение, Родольф слишком хорошо умел играть роль монарха, чтобы не встретить г-на де Сен-Реми с подобающей случаю улыбкой. Кроме того, молодой человек слыл любовником герцогини де Люсене, что возбудило любопытство Родольфа.

Граф *** подвел к нему виконта.

Это был очаровательный молодой человек лет двадцати пяти, тонкий, стройный, с прекрасными манерами и приветливым смуглым лицом того мягкого золотистого оттенка, который встречается на портретах Мурильо; его иссиня-черные волосы были разделены на пробор; гладко зачесанные надо лбом, они кудрявились на висках, почти закрывая бледные мочки ушей; его бархатисто-черные глаза ярко блестели, белки глаз были того голубоватого оттенка, который придает пленительное выражение взгляду индийцев. По прихоти природы густые шелковистые усы контрастировали с безбородым юношеским лицом, нежным, как у девушки; из-за свойственного ему желания нравиться он повязывал очень низко черный атласный галстук, открывая шею, достойную античного флейтиста.

Одна-единственная жемчужина крепляла длинные концы его галстука, жемчужина, бесценная по величине, форме, переливчатому сиянию, более яркому, нежели у опала. Безупречный костюм г-на де Сен-Реми прекрасно гармонировал с этой изысканно простой драгоценностью.

Увидев хоть раз г-на де Сен-Реми, невозможно было забыть его, так не походил он на обычного щеголя.

Великолепие его лошадей и экипажей не поддается описанию; он удачливо и смело играл на скачках, и сумма его выигрышей достигала в год двух-трех тысяч луидоров. Его особняк на улице Шайо считался образцом изящества и роскоши. Стол у него был отменный, а по вечерам шла азартнейшая игра в карты, во время которой он проигрывал иной раз огромные суммы с беззаботностью гостеприимного хозяина; и однако в городе было известно, что виконт уже давно пустил по ветру отцовское наследство.

Чтобы как-то объяснить его непонятную расточительность, завистники или сплетники говорили, как и Сара, об огромном состоянии герцогини де Люсене; они забывали при этом не только о гнусности такого предположения, но и о том, что г-н де Люсене распорядился, как оно и подобает, состоянием своей жены, а виконт тратил не менее пятидесяти тысяч экю, или, иными словами, двухсот тысяч франков в год. Другие говорили о неосторожных заимодавцах, ибо г-ну де Сен-Реми уже не от кого было ждать наследства; наконец, третьи утверждали, будто ему везет на скачках, а шепотом упоминали о тренерах и жокеях, которых он подкупал, чтобы выигрывали те лошади, на которые он ставил большие деньги... но в большинстве своем светские люди не слишком беспокоились о том, к каким средствам прибегает г-н де Сен-Реми, чтобы вести столь роскошный образ жизни.

По рождению он принадлежал к высшей знати, был весел, отважен, остроумен и обладал легким, уживчивым характером; он давал превосходные холостые обеды, а во время игры соглашался на любые ставки. Чего еще оставалось желать?

Женщины обожали виконта; его победам не было числа; он был молод и красив, галантен и великодушен во всех случаях, когда мужчина может проявить эти качества по отношению к даме, словом, всеобщее увлечение им было таково, что покров тайны, которым он окружал речку Пактол, пригоршнями черпая из нее золото, и тот придавал его жизни некую загадочную прелесть. «Должно быть, этот дьявол Сен-Реми нашел философский камень», – говорили светские люди с беззаботной улыбкой.

При известии, что виконт вошел в состав французской миссии при Герольштейнском дворе, многие подумали, что г-н де Сен-Реми решил с честью удрать из Парижа.

– Ваше высочество, – сказал граф ***, – имею честь представить вам господина виконта де Сен-Реми, причисленного к французской миссии в Герольштейне.

Виконт отвесил глубокий поклон.

– Соблаговолите извинить меня, ваше высочество, если я слишком поторопился засвидетельствовать вам свое почтение, но мне не терпелось воспользоваться честью, которой я придаю огромное значение, – сказал он.

– Буду весьма рад, сударь, увидеться с вами в Герольштейне. Как скоро вы рассчитываете отправиться туда?

– Поскольку вы, ваше высочество, пребываете в Париже, я не слишком тороплюсь уехать отсюда.

– Спокойствие и тишина наших немецких дворов удивит вас, сударь, ведь вы привыкли жить в Париже.

– Смею вас заверить, ваше высочество, что благосклонность, с которой вы встретили меня и которую, надеюсь, соблаговолите оказывать мне и дальше, не даст мне пожалеть о Париже.

– Не от меня будет зависеть, сударь, чтобы вы продолжали так думать в течение всего вашего пребывания в Герольштейне.

И Родольф слегка наклонил голову, давая этим понять, что аудиенция окончена.

С глубоким поклоном виконт удалился.

Родольф был прекрасным физиономистом, а потому его внезапные симпатии или антипатии почти неизменно оправдывались. Обменявшись несколькими словами с г-ном де Сен-Реми, он почувствовал, сам не зная почему, невольную холодность к виконту. Он подметил в

его взгляде нечто хитрое, коварное и нашел, что внешность молодого человека не сулит ничего хорошего.

Мы снова встретимся с г-ном де Сен-Реми при обстоятельствах, ничем не напоминающих то блестящее положение, которое он занимал, когда граф *** представил его Родольфу, и читатель убедится в верности предчувствий последнего.

После окончания аудиенции Родольф спустился в зимний сад, размышляя о странных встречах, посланных ему случаем. Настало время ужина, и салоны почти опустели; наиболее укромное место зимнего сада находилось в углу между двумя стенами и было скрыто от посторонних глаз огромным банановым деревом, оплетенным вьющимися растениями; за этим развесистым гигантом он заметил маленькую приоткрытую дверцу, замаскированную трельяжем; она вела в длинный коридор, а оттуда в буфетную.

Приютившись за этой завесой, Родольф погрузился в раздумье, когда его имя, произнесенное знакомым голосом, заставило его вздрогнуть.

Сара сидела по другую сторону зеленого массива, скрывавшего Родольфа, и беседовала по-английски со своим братом Томом.

Том был, по обыкновению, во всем черном. И несмотря на небольшую разницу в годах с Сарой, волосы его почти совсем побелели, лицо выражало холодную, упрямую волю; голос звучал отрывисто, резко, глухо. По-видимому, этого человека снедало большое горе или большая ненависть.

Родольф прислушался к их разговору.

– Маркиза только что отправилась на бал к барону де Нервалю; к счастью, она не успела поговорить с Родольфом, который разыскивал ее; я все еще опасаюсь его влияния на госпожу д'Арвиль, хотя влияние это мне с таким трудом удалось побороть, а возможно, и уничтожить. Наконец соперница, которой я всегда опасалась, ибо сердце подсказывало мне, что она может стать мне поперек дороги... эта соперница завтра будет устранена. Выслушай меня, Том, дело серьезное...

– Ты ошибаешься, Родольф никогда не помышлял о маркизе.

– Настало время кое-что рассказать тебе по этому поводу. Много изменилось со времени твоего последнего путешествия... И действовать надо скорее, чем я думала... сегодня вечером после бала. Вот почему нам необходимо поговорить... К счастью, мы здесь одни.

– Говори, я слушаю.

– До своей встречи с Родольфом эта женщина, я убеждена в этом, никого не любила... Не знаю, по какой причине она испытывает непреодолимую антипатию к своему мужу, который обожает ее... Здесь кроется какая-то тайна, которую я напрасно пыталась разгадать. Присутствие Родольфа вызвало в сердце Клеманс еще не изведенное ею чувство. Я задушила в зародыше эту пробуждающуюся любовь, выставив герцога в самом дурном свете. Но жажда любви уже пробудилась у маркизы; встретив как-то у меня Шарля Робера, она была поражена его красотой, как бываешь поражен видом прекрасной картины; к сожалению, этот человек столь же глуп, сколь и красив, но во взгляде у него есть что-то трогательное. Я стала восхвалять величие его души, благородство характера. Зная, как добра от природы госпожа д'Арвиль, я наделила Робера самыми романтическими чертами! Я посоветовала ему неизменно пребывать в безнадежно грустном настроении, воздействовать на маркизу лишь вздохами и взглядами «увы!». А главное, поменьше говорить. Он последовал моим советам. Благодаря своему таланту певца, своему красивому лицу и в особенности выражению неизлечимой грусти он мало-помалу привлек к себе сердце госпожи д'Арвиль, которая таким образом нашла замену потребности в любви, разбуженной в ней Родольфом. Понимаешь?

– Прекрасно понимаю, продолжай.

– Робер и госпожа д'Арвиль встречались в домашней обстановке лишь у меня, и дважды в неделю мы все трое музицировали по утрам. Меланхоличный поклонник вздыхал, произно-

сил шепотом несколько нежных слов, а два или три раза вручил своей даме любовные записки. Писем его я опасалась еще больше, чем разговоров; но женщина всегда снисходительна к первым объяснениям в любви; объяснения моего протезе не повредили ему; главное для него было добиться свидания. У молоденькой маркизы принципы перевешивали любовь, или, точнее, она недостаточно любила, чтобы позабыть их... Сама того не сознавая, она все еще хранила в сердце образ Родольфа, который, так сказать, оберегал ее, помогая бороться со склонностью к Шарлю Роберу... склонностью скорее надуманной, чем реальной... которая подогревалась ее неподдельным сочувствием к воображаемым бедам этого безмозглого Аполлона и моими чрезмерными похвалами ему. Наконец Клеманс, побежденная глубоко несчастным видом своего незадачливого поклонника, согласилась прийти на назначенное им свидание.

– Неужели ты стала поверенной ее тайн?

– Она создалась мне лишь в своей привязанности к Шарлю Роберу. Я не стала расспрашивать ее; это было бы неудобно... Зато он, упоенный счастьем или, точнее, самолюбивой гордостью, поделился со мной своей победой, но умолчал о дне и месте свидания.

– Как же ты узнала об этом?

– По моему приказанию Чарльз два дня подряд дежурил с утра у двери господина Робера. На второй день, около полудня, наш влюбленный отправился на извозчике в отдаленный квартал, на улицу Тампль... Он сошел у дома жалкого вида, пробыл там около полутора часов и ушел. Чарльз оставался весьма долго на своем посту, чтобы посмотреть, не выйдет ли кто-нибудь вслед за Робером. Никто не вышел: маркиза не сдержала своего обещания. Я узнала об этом на следующий день от самого разочарованного и разгневанного влюбленного. Я посоветовала ему разыграть глубокое отчаяние. Клеманс опять разжалобилась; назначено было новое свидание, столь же тщетное, как и первое. В последний раз она все же доехала до двери дома: это уже был шаг вперед. Видишь, как борется эта женщина... А почему? Потому что, уверена в этом, сама того не ведая, она еще любит Родольфа, который как бы охраняет ее, что вызывает мою ненависть к маркизе. Наконец сегодня вечером она назначила Роберу свидание на завтра; не сомневаюсь, что она придет на него. Герцог де Люсене так грубо высмеял этого молодого человека, что госпожа д'Арвиль, расстроенная унижением своего поклонника, согласилась из жалости увидеться с ним наедине, иначе она, по всей вероятности, отказала бы ему. Но теперь она сдержит слово.

– Что же ты думаешь обо всем этом?

– Маркизой владеет не любовь, а нечто вроде доведенного до восторженности сострадания; Шарль Робер так плохо разбирается в тонкости ее чувства, что поспешит воспользоваться предоставившейся ему возможностью и погубит себя во мнении Клеманс; повторяю, она принуждает себя к этому опасному для ее репутации поступку не в порыве увлечения или страсти, а только из жалости. Словом, я не сомневаюсь, что она смело отправится на свидание, желая показать своему поклоннику, как глубока ее обида за него, но вполне спокойная и уверенная в том, что ни на минуту не забудет супружеского долга. Шарль Робер не поймет этого, и маркиза возненавидит его; а когда ее иллюзии развеются, она вновь обратится душой к Родольфу, образ которого все еще живет в глубине ее сердца.

– И что же?

– А то, что она будет навсегда потеряна для Родольфа. Не сомневаюсь, что иначе он рано или поздно изменил бы своей дружбе с господином д'Арвилем и ответил бы на любовь Клеманс; но Родольф возненавидит ее, узнав, что не он был предметом ее любви, а для мужчин это непростительное преступление. Наконец, под предлогом своей давней привязанности к господину д'Арвилю, он никогда больше не встретится с этой женщиной, которая недостойно обманула его близкого друга.

– Так, значит, ты хочешь предупредить мужа?

– Да, и сегодня же вечером, конечно, если ты не против. По словам Клеманс, у ее мужа имеются смутные подозрения, но точно он ничего не знает. Скоро полночь, мы уедем с бала, зайдем в первое попавшееся кафе, и ты напишешь господину д'Арвилю, что завтра в час дня его жена отправляется на любовное свидание на улицу Тампль, семнадцать. Он ревнив: он застанет Клеманс на месте преступления. Нетрудно догадаться, что последует за этим.

– Но это же подло, Сара, – холодно заметил джентльмен.

– И все же ты согласен со мной?

– Да... сегодня вечером господин д'Арвиль узнает обо всем... Но... кто-то прячется там, за этим деревом! – неожиданно заметил Том, понизив голос. – Мне почудился какой-то шорох.

– Надо взглянуть, – сказала Сара с беспокойством.

Том встал, обошел зеленый массив и никого не увидел.

Родольф только что вышел в маленькую дверку, о которой мы говорили.

– Я ошибся, – проговорил Том, возвращаясь, – там никого нет.

– Я так и думала...

– Послушай, Сара, я считаю, что эта женщина не так уж опасна для твоих планов; Родольф человек принципиальный и от своих принципов не отступится. Девушка, которую он отвез на ферму полтора месяца тому назад, переодевшись рабочим, гораздо больше беспокоит меня; он окружил ее заботами, нанял ей учителей и несколько раз навещал ее. Мне неизвестно, кто она, но, по-моему, эта девка принадлежит к низшим слоям общества. Редкая красота, которой она, видимо, наделена, то, что Родольф сам отвез ее и принимает в ней живейшее участие, – все доказывает, что этой привязанностью нельзя пренебрегать. Вот почему я пошел навстречу твоим желаниям. Дабы устранить это второе препятствие, на мой взгляд, более существенное, чем первое, пришлось действовать крайне осторожно, собрать точные сведения об обитателях фермы, о привычках девушки. Настало время действовать, судьба вновь свела меня с омерзительной старухой, которая предусмотрительно сохранила мой адрес. Ее связи с людьми вроде того разбойника, который напал на нас в Сите, будут нам весьма полезны. Все предусмотрено, ни малейших улик против нас не будет... К тому же если эта девка принадлежит, как мне кажется, к рабочему люду, она не станет колебаться между нашими предложениями и уделом, пусть даже заманчивым, о котором она, вероятно, мечтает, ибо герцог сохранил строжайшее инкогнито. Итак, завтра этот вопрос будет решен... В противном случае... посмотрим...

– После того, как будут устранены эти два препятствия... Том, а наш великий проект...

– Он сопряжен с большими трудностями, но может удался.

– Признайся, что одним шансом у нас будет больше, если мы приведем его в исполнение в тот момент, когда Родольф будет вдвойне удручен скандалом с госпожой д'Арвиль и исчезновением этой девки, к которой он так привязан.

– Конечно... Но если эта последняя надежда нас обманет... я буду свободен?.. – спросил Том, мрачно смотря на Сару.

– Да, вполне свободен!

– И ты не возобновишь своих уговоров, из-за которых я помимо воли дважды не смог отомстить?

Затем, указав взглядом на свою повязанную крепом шляпу и черные перчатки, Том зловеще улыбнулся.

– Я жду, я все еще жду... Ты знаешь, что я уже шестнадцать лет хожу в трауре... и снимаю его только...

На лице Сары невольно появилось выражение страха, и она поспешно прервала брата.

– Да, я обещала тебе это, ты будешь свободен... Том... – проговорила она с невольной тревогой, – ведь тогда меня покинет глубокая уверенность, служившая мне опорой в самые трудные минуты и оправданная к тому же божественным предначертанием... А теперь, когда я близка к цели, надо убрать с дороги даже самые ничтожные препятствия... Они, возможно,

и не столь серьезны, но я сокрушу их, чтобы развязать себе руки. Мои средства бесчестны, согласна!.. А разве меня кто-нибудь пожалел? – воскликнула Сара, невольно повысив голос.

– Тише! Гости возвращаются с ужина, – сказал Том. – Ты полагаешь, что следует предупредить маркиза д'Арвиля о завтрашнем свидании? Хорошо, идем... уже поздно.

– Ночной час, в который будет вручена наша записка, придаст ей еще больше значения. И Том с Сарой покинули здание посольства.

Глава XIX. Свидания

Желая во что бы то ни стало предупредить г-жу д'Арвиль о грозящей ей опасности, Родольф ушел с приема до окончания беседы Тома с Сарой, поэтому он так и не узнал о заговоре, замышляемом против Лилии-Марии, и о неминуемой опасности, которой та подвергалась.

Несмотря на все свои старания, Родольфу не удалось, как он надеялся, предупредить маркизу.

После бала в посольстве маркизе д'Арвиль надлежало приличия ради появиться хотя бы на мгновение у г-жи де Нерваль; но маркиза была сломлена обуревавшими ее волнениями, у нее не хватило духа поехать на второе празднество, и она вернулась домой. Эта помеха все погубила.

Барон фон Граун, как и все гости посланника ***, был приглашен к г-же де Нерваль. Родольф немедля отвез его туда с просьбой отыскать на балу г-жу д'Арвиль и передать ей, что герцог желает в тот же вечер сообщить ей нечто очень важное; он будет стоять возле особняка д'Арвилей, подойдет к карете и скажет ей несколько слов, пока ее люди будут ждать, когда им откроют ворота.

Потеряв много времени на балу, где он так и не нашел маркизы, барон приехал к Родольфу...

Родольф был в отчаянии; он правильно рассудил, что следовало прежде всего предупредить маркизу о заговоре, направленном против нее; в этом случае предательство Сары, которому он не мог помешать, сошло бы за недостойную клевету. Было слишком поздно: постыдная записка была вручена маркизу в час ночи.

На следующее утро г-н д'Арвиль медленно расхаживал по своей спальне, обставленной с изящной простотой, где невольно привлекали внимание коллекция современного оружия и этажерка с книгами.

Постель осталась нетронутой, однако с нее свисало разорванное в клочья шелковое стеганое одеяло; стул и столик из черного дерева с витыми ножками валялись возле камина; на ковре виднелись осколки хрустального стакана, раздавленные свечи, а большой канделябр отлетел в угол спальни.

Казалось, весь этот беспорядок был вызван чьей-то неистовой борьбой.

Господину д'Арвилю было под тридцать; его мужественное характерное лицо, обычно приятное, доброе, было в то утро искажено и мертвенно-бледно, губы посинели; маркиз так и остался во вчерашнем костюме, он был без галстука, в расстегнутом жилете, разорванная рубашка запятнана кровью; темные, обычно выющиеся волосы падали прямыми спутанными прядями на его словно восковой лоб.

«Завтра, в час дня, ваша жена отправится на улицу Тампль, 17, где у нее назначено любовное свидание. Последуйте за ней, счастливый муж! И вы все узнаете...»

По мере того как он пробежал эти читанные и перечитанные строки, губы его судорожно дергались.

Тут дверь отворилась, и вошел камердинер. У этого пожилого человека были седеющие волосы и честное, доброе лицо.

Маркиз резко повернул голову, не меняя положения и все еще держа письмо в руках.

– Зачем пришел? – резко спросил он.

Ничего не отвечая, тот смотрел с горестным изумлением на беспорядок в комнате; затем, внимательно взглянув на своего барина, он воскликнул:

– Рубашка у вас в крови... Боже мой! Боже мой, ваше сиятельство, вы, верно, поранили себя! Ведь вы были одни, почему не позвали меня, как обычно, когда чувствуете, что начнется...

– Убирайся!

– Но, ваше сиятельство... Огонь в камине погас, холод в комнате собачий, и после вашего...

– Замолчи! Оставь меня в покое.

– Но, ваше сиятельство, – продолжал камердинер, дрожа, – вы приказали господину Дубле прийти к вам сегодня утром в половине одиннадцатого; сейчас как раз половина одиннадцатого, и он уже здесь с нотариусом.

– Ты прав, – сказал маркиз, овладев собой. – Когда человек богат, надо думать о делах. Иметь большое состояние так приятно!

Наступила пауза.

– Проводи господина Дубле в мой кабинет, – добавил он.

– Господин Дубле, ваше сиятельство, уже там.

– Дай мне какой-нибудь костюм. Мне скоро придется отлучиться.

– Но, ваше сиятельство...

– Делай, что тебе приказано, Жозеф, – проговорил г-н д'Арвиль более мягким тоном.

Помолчав, он спросил:

– Моя жена уже проснулась?

– Не думаю, барыня еще не звонила.

– Пусть меня предупредят, когда она позвонит.

– Хорошо, ваше сиятельство...

– Позови Филиппа, чтобы он помог тебе: ты вечно так копаешься!

– Погодите, барин, сперва я приберу комнату, – грустно ответил Жозеф. – Кто-нибудь другой заметит этот беспорядок и поймет, что случилось сегодня ночью с вашим сиятельством.

– А если поймут, то все выйдет наружу, да? – язвительно заметил г-н д'Арвиль.

– Полно, ваше сиятельство, – воскликнул Жозеф, – никто ни о чем не подозревает.

– Никто?... Да, никто! – горько ответил маркиз.

Пока Жозеф наводил порядок, его хозяин подошел к коллекции оружия, о которой мы уже упоминали, несколько минут внимательно осматривал ее и с мрачным удовлетворением кивнул головой.

– Уверен, ты забыл почистить ружья, вон те, наверху, что лежат в охотничьем футляре.

– Вы ничего не говорили мне об этом, ваше сиятельство... – удивленно проговорил Жозеф.

– Говорил, но ты запамятовал.

– Осмелюсь возразить, ваше сиятельство...

– Воображаю, в каком они должны быть состоянии!

– Не прошло и месяца, как я принес их от оружейника.

– Неважно, как только я буду одет, ты снимешь футляр, я хочу осмотреть эти ружья: быть может, завтра или послезавтра я отправлюсь на охоту.

– Немного погодя я достану их.

Когда спальня была приведена в порядок, на помощь Жозефу пришел второй камердинер.

Переодевшись, маркиз вошел в свой кабинет, где находились управляющий г-н Дубле, а также клерк и нотариус.

– Вот купчая, которая уже была зачитана вашему сиятельству, – сказал управляющий. – Остается только подписать ее.

– А вы сами читали ее, господин Дубле?

– Да, ваше сиятельство.

– Этого достаточно... дайте сюда бумагу, я поставлю на ней свою подпись.

Маркиз подписал бумагу, клерк вышел из кабинета.

– Благодаря этой покупке, ваше сиятельство, – торжествующе проговорил г-н Дубле, – ваша земельная рента составит не менее ста двадцати шести тысяч франков. Как прекрасно, ваше сиятельство, получать со своих земельных владений сто двадцать шесть тысяч!

– Я счастливеец, не правда ли, господин Дубле? Иметь сто двадцать шесть тысяч земельной ренты! Где найдешь другого такого удачника?

– И это не считая основного капитала, ваше сиятельство.

– И не считая других преимуществ!

– Слава богу, у вашего сиятельства есть все, что может пожелать человек: молодость, богатство, здоровье – решительно все, и главное, – проговорил г-н Дубле, приятно улыбаясь, – красавица жена и прелестная дочка, похожая на херувима.

Господин д'Арвиль бросил злобный взгляд на г-на Дубле.

Мы отказываемся описать выражение дикой иронии, с которой он обратился к г-ну Дубле, фамильярно похлопав его по плечу.

– Вы правы, – сказал он, – со ста двадцатью шестью тысячами франков земельной ренты, с такой женой, как моя... и с дочкой, похожей на херувима... мне больше нечего желать, не так ли?

– Хе-хе, ваше сиятельство, – наивно ответил управляющий, – остается дожить до преклонных лет, чтобы выдать замуж вашу дочку и стать дедушкой... Вот чего я вам желаю, ваше сиятельство, а вашей супруге желаю стать бабушкой и даже прабабушкой.

– Милый господин Дубле, вы весьма кстати вспомнили о Филемоне и Бавкиде. Вы всегда попадаете в точку.

– Вы очень любезны, ваше сиятельство. Что еще прикажете?

– Ничего... Да, скажите, сколько у вас наличных денег?

– Десять тысяч триста франков с небольшим на текущие расходы, ваше сиятельство, не считая денег, лежащих в банке.

– Вы принесете мне сегодня утром десять тысяч франков золотом и вручите их Жозефу, если меня не будет дома.

– Сегодня утром?

– Да.

– Я принесу их через час. Больше не будет приказаний, ваше сиятельство?

– Нет, господин Дубле.

– Сто двадцать шесть тысяч франков чистоганом! – повторил управляющий, направляясь к двери. – Сегодня удачный день: я боялся, как бы эта ферма, которая так нам подходит, не ускользнула от нас!.. Ваш покорный слуга.

– До свидания, господин Дубле.

Едва управляющий вышел из комнаты, г-н д'Арвиль упал, подавленный, в кресло, положил локти на письменный стол и закрыл лицо руками.

Впервые после получения роковой записки Сары он дал волю слезам.

«Что за жестокая насмешка судьбы, сделавшей меня богачом! Кому нужна отныне эта золотая рамка? Кого в нее вставить? Она лишь подчеркнет мой позор и низость Клеманс! Этот позор ляжет, быть может, и на мою дочь! Да, позор... должен ли я сделать решительный шаг или же пожалеть...»

Тут он вскочил, глаза его сверкали, зубы были судорожно сжаты.

– Нет! Нет! – проговорил он глухо. – Я отомщу. Пролитая кровь помешает мне стать посмешищем! Понимаю теперь ее отвращение... мерзавка!

Тут он неожиданно умолк, словно сраженный внезапной мыслью.

– Отвращение Клеманс... – продолжал он. – О, я прекрасно понимаю его причину: я внушаю ей страх, ужас!..

Наступила длительная пауза.

– Но разве это моя вина? И обманывать меня из-за этого? Не ненависти я заслуживаю, а жалости, – продолжал он, все более волнуясь. – Нет, нет!.. Мщение, мщение!.. Я убью их обоих!.. Ведь она, наверно, *все сказала* тому, *другому*.

Эта мысль привела в полную ярость маркиза.

Он поднял к небу судорожно сжатые кулаки; затем, прижав горячую руку к глазам, почувствовал, что необходимо взять себя в руки перед слугами, и вернулся в спальню со спокойным лицом; там он увидел Жозефа.

– Где мои ружья?

– Я принес их, ваше сиятельство, они в полном порядке.

– Я сам их осмотрю. А что, барыня звонила?

– Не знаю, ваше сиятельство.

– Сходи, узнай.

Камердинер вышел.

Господин д'Арвиль поспешно взял из оружейного ящика мешочек с порохом, несколько пуль и пистонов; запер ящик и положил ключ в карман. Затем он подошел к коллекции оружия, выбрал два пистолета средней величины, зарядил их и тоже спрятал в карман своего длинного утреннего редингота.

В эту минуту вошел Жозеф.

– Ее светлость велели сказать, что они уже встали, барин.

– А не знаешь, приказала ли она заложить карету?

– Нет, ваше сиятельство, горничная Жюльетта сказала при мне кучеру, пришедшему за распоряжениями, что сегодня прохладно и сухо и что барыня погуляет пешком... если ей захочется.

– Прекрасно. Ах, совсем забыл: завтра или послезавтра я, вероятно, отправлюсь на охоту. Скажи Вильяму, чтобы он сегодня же утром осмотрел небольшую зеленую карету, слышишь?

– Да, ваше сиятельство. Подать вам тросточку?

– Нет, не надо. Нет ли тут поблизости извозчичьей стоянки?

– А как же, в двух шагах отсюда, на улице Лилль.

– Пусть Жюльетта спросит у барыни, может ли она принять меня, – молвил маркиз после минутного колебания.

Жозеф вышел.

«Да... между нами разыграется комедия, не хуже всякой другой. И все же я хочу видеть эту вероломную женщину, понаблюдать за слащавой, обманчивой маской, под которой она скрывает свои мысли о скором свидании с любовником; я выслушаю ложь из ее уст и прочту правду в ее развращенном сердце. Это будет прелюбопытно... Видеть, как на тебя смотрит, с тобой говорит и тебе отвечает жена, которая вскоре покроет твоё имя тем нелепым и гнусным позором, что отмывается лишь кровью... Ну и болван же я! Она посмотрит на меня, как обычно, тем же ясным взглядом, каким смотрит на свою дочь, когда целует ее в лоб, прося прочесть молитву. Взгляд... зеркало души? – Он презрительно пожал плечами. – Чем нежнее и стыдливее взгляд, тем больше в нем порочности. Ее пример подтверждает это... А я, дурак, попался на удочку. Горе мне! С каким холодным и наглым пренебрежением она, вероятно, взирала на меня до сих пор сквозь свою лживую маску, мечтая в то же время о свидании с другим... А я относился к ней с уважением, с нежностью... как к молодой матери, целомудренной и серьезной, я вложил в нее всю свою любовь, всю надежду на счастье».

– Нет, нет! – воскликнул г-н д'Арвиль, чувствуя, что гнев душит его. – Нет, я не зайду к ней, я не хочу ее видеть... не хочу видеть и дочь... я выдам себя, откажусь от мщения.

Выйдя из спальни, г-н д'Арвиль, вместо того чтобы пройти к жене, сказал ее камеристке: – Передайте барыне, что я собирался поговорить с ней сегодня утром, но вынужден отлучиться по делу; если ей угодно позавтракать со мной, скажите, что я вернусь к полудню; в противном случае пусть не беспокоится обо мне.

«Полагая, что я скоро вернусь, она почувствует себя свободнее», – подумал г-н д'Арвиль. И он отправился на извозчичью стоянку поблизости от его особняка.

– Извозчик, оплата почасовая.

– Ладно, барин, сейчас половина двенадцатого. Куда поедем?

– По улице Доброй Охоты, завернешь за угол улицы Святого Доминика и затем поедешь вдоль каменной ограды сада... и там подождешь.

– Ладно, барин.

Господин д'Арвиль опустил шторы. Извозчик тронул и почти тотчас же остановился против дома маркиза: отсюда легко было заметить любого человека, выходящего из особняка.

Свидание его жены должно было состояться в час дня; такая буря бушевала в душе маркиза, что время для него летело с невероятной быстротой.

Двенадцать ударов пробили на колокольне Святого Фомы Аквинского, когда дверь особняка медленно отворилась и маркиза вышла на улицу.

«Уже!.. Какая аккуратность! Она, видимо, боится опоздать на свидание!» – с иронией сказал себе маркиз.

Стояла холодная и сухая погода.

На Клеманс была черная шляпа с вуалью того же цвета, теплое красновато-лиловое пальто; огромная темно-синяя кашемировая шаль ниспадала до оборок ее платья, которое она слегка приподняла жестом, исполненным изящества, чтобы перейти через дорогу, приоткрыв до щиколотки маленькую, узкую, стройную ножку, обутую в атласные ботинки.

Странная вещь: несмотря на потрясение, на обуревавшие его мучительные мысли, г-н д'Арвиль заметил эту ножку, которая показалась ему изящнее и кокетливее, чем когда-либо, что еще усилило его гнев, его жгучую ревность. Ему представился коленопреклоненный соперник, в упоении целующий эту прелестную ножку. В одно мгновение все безумства любви, любви горячей, страстной, предстали перед умственным взором маркиза и опалили его душу.

И впервые в жизни он почувствовал в сердце мучительную физическую боль, боль резкую, глубокую, которая вырвала у него глухой стон. До сих пор он страдал нравственно, так как думал лишь о своей поруганной чести.

Его страдание было так сильно, что ему едва удалось произнести несколько слов.

– Видишь ту даму в синей шали и черной шляпе, – сказал он кучеру, приподняв шторм, – ту, что идет вдоль каменной ограды?

– Вижу, барин...

– Поезжай шагом за ней... Если она выйдет на извозчичью стоянку, остановись и следуй за каретой, в которую она сядет.

– Да, барин... Ну и забавная же история!

Госпожа д'Арвиль подошла к стоянке, взяла извозчика.

Господин д'Арвиль последовал за ней.

Вскоре, к великому удивлению маркиза, его возница свернул к церкви Святого Фомы Аквинского и остановился возле нее.

– В чем дело? Почему ты стоишь?

– Барин, дама только что вошла в церковь... Черт подери!.. Ну и хорошенькая у нее ножка... До чего забавно!

Множество мыслей пронеслось в голове г-на д'Арвиля; сперва он решил, что его жена, заметив, что за ней следят, пожелала сбить с толку преследователя. Потом он подумал, что,

быть может, полученная записка была недостойной клеветой... Если Клеманс виновна, к чему такое показное благочестие? Не было ли это глумлением над верой?

Но его успокоительная иллюзия быстро рассеялась.

Кучер обернулся к нему со словами:

– Барин, дамочка опять села на извозчика.

– Следуй за ней.

– Да, барин! Забавно, до чего забавно!

Извозчик выехал на набережную, миновал ратушу, проехал по улице Сент-Авуа и добрался наконец до улицы Тампль.

– Барин, – сказал кучер, оборачиваясь к г-ну д'Арвилю, – первый извозчик остановился у семнадцатого номера, а мы находимся у тринадцатого. Прикажете тоже остановиться?

– Да!..

– Барин, дамочка только что вошла в дом номер семнадцать.

– Открой дверцу.

– Да, барин.

Минуту спустя г-н д'Арвиль вошел в проход дома вслед за своей женой.

Глава XX. Ангел

Привлеченные любопытством, у порога дома № 17 стояли г-жа Пипле, Альфред и торговка устрицами.

На лестнице было так темно, что вошедшему с улицы трудно было что-нибудь разглядеть. Маркизе пришлось обратиться к г-же Пипле.

– Как пройти к господину Шарлю, сударыня? – спросила она тихим, прерывающимся голосом.

– К кому? – переспросила старуха, притворившись, будто не расслышала имени, чтобы муж и торговка устрицами могли разглядеть сквозь вуаль черты несчастной женщины.

– Я спрашиваю... господина Шарля... сударыня, – повторила Клеманс дрожащим голосом и потупилась, чтобы скрыть свое лицо от взглядов, рассматривавших ее с нахальным любопытством.

– А, к господину Шарлю, вот оно что... Вы говорите так тихо, что я ничего не могла понять... Так вот, дамочка, если вы идете к господину Шарлю – красивый молодой человек, ничего не скажешь, – поднимитесь прямо по лестнице и увидите перед собой его дверь.

Маркиза в полном замешательстве поднялась на первую ступеньку.

– Хе! Хе! Хе! – проговорила старуха с ухмылкой. – Видно, сегодня все будет без обмана. Да здравствует гулянка! Ух ты!

– Что ни говори, а у офицера губа не дура: его любезная премиленькая, – заметила торговка устрицами.

Если бы г-же д'Арвиль, сникшей от стыда и страха, не пришлось бы снова пройти мимо привратницкой, она тут же вернулась бы обратно. Но, взяв себя в руки, она дошла до лестничной площадки.

Каково же было ее изумление!.. Она столкнулась лицом к лицу с Родольфом, который, вложив ей в руку кошелек, поспешно сказал:

– Вашему мужу все известно, он следует за вами по пятам...

В эту минуту раздался резкий голос привратницы:

– Вам куда, сударь?

– Это он! – прошептал Родольф.

И, подтолкнув, так сказать, г-жу д'Арвиль к лестнице на третий этаж, он молвил скороговоркой:

– Поднимитесь на шестой этаж; вы пришли, чтобы оказать помощь одной несчастной семье; их фамилия Морель.

– Сударь! – воскликнула г-жа Пипле, преграждая дорогу г-ну д'Арвилю. – Если вы не скажете, к кому идете, вам придется переступить через мое тело.

– Я пришел с дамой... которая только что вошла, – ответил маркиз, задержавшийся у входа, пока его жена разговаривала с привратницей.

– Дело другое, проходите.

Услышав необычный шум в привратницкой, г-н Шарль Робер приоткрыл дверь; Родольф вбежал к офицеру и запер изнутри его дверь как раз в ту минуту, когда г-н д'Арвиль подходил к лестничной площадке. Родольф боялся, как бы друг не узнал его, несмотря на темноту, и воспользовался представившимся случаем, чтобы избежать с ним встречи.

Господин Шарль Робер в своем великолепном халате с разводами и в бархатном греческом колпаке, расшитом золотом, был поражен появлением Родольфа, которого он не заметил накануне в посольстве ***, а если бы и заметил, то вряд ли узнал в этом скромно одетом человеке.

– Что это значит, сударь?

– Т-с-с! – прошептал Родольф с таким выражением тревоги, что г-н Шарль Робер замолчал.

На лестнице раздался грохот, словно кто-то упал и покатился вниз.

– Несчастный, он убил ее! – воскликнул Родольф.

– Убил!.. Кто? Кого? Что здесь происходит? – тихо спросил г-н Шарль Робер и побледнел. Не отвечая ему, Родольф приоткрыл дверь.

Он увидел Хромулю, который, спеша и припадая на одну ногу, сбегал с лестницы, держа в руке красный шелковый кошелек, только что врученный Родольфом г-же д'Арвиль.

Хромуля скрылся.

Слышался лишь легкий шаг г-жи д'Арвиль и более тяжелая поступь маркиза, следовавшего по пятам за женой.

У Родольфа немного отлегло от сердца, хотя появление Хромули с кошельком в руке напомнило ему много тяжелых переживаний.

– Не выходите отсюда, вы чуть не наделали беды, – сказал он Шарлю Роберу.

– Да объясните же наконец, что все это значит? – спросил нетерпеливым, раздраженным тоном офицер. – Кто вы такой и по какому праву?..

– Это значит, сударь, что господину д'Арвилю все известно, что он дошел вслед за своей женой до вашей двери и идет за ней вверх по лестнице.

– Боже мой, боже мой! – воскликнул Шарль Робер, в ужасе всплеснув руками. – Но что же она будет делать там, наверху?

– Не все ли вам равно? Оставайтесь у себя и не выходите до тех пор, пока привратница не предупредит вас.

И, покинув г-на Робера, столь же напуганного, сколь и изумленного, Родольф спустился в привратничью.

– Что вы на это скажете? – воскликнула сияющая г-жа Пипле. – Погодите, скоро небу станет жарко! Господин преследует дамочку. Это, верно, ее муж! Я мигом все смекнула и пропустила его. Он схватится с офицером, это наделает шума в квартале. Люди будут толпами ходить, чтобы взглянуть на наш дом, как они ходили к дому тридцать шесть, где было совершено убийство.

– Дорогая госпожа Пипле, хотите оказать мне большую услугу? – И Родольф вложил пять луидоров в руку привратницы. – Когда эта дама спустится... спросите ее, как поживают несчастные Морели; скажите ей, что она делает доброе дело, помогая им, как обещала, когда расспрашивала вас об этих бедолагах.

Госпожа Пипле с недоумением смотрела на деньги и на Родольфа.

– Как, сударь... все это золото... для меня?.. Значит, дамочка не у офицера?

– Господин, который идет следом за дамой, ее муж. Бедная женщина была заранее предупреждена и успела направиться к Морелям якобы для того, чтобы помочь им в беде, понимаете?

– Чего же тут не понять?.. А я должна пособить, чтобы обвести вокруг пальца ее мужа... Такое дело как раз по мне!.. Ха-ха-ха! Можно подумать, что я только этим и занималась всю жизнь... Ей-богу!

В эту минуту в полумраке привратничьей возник высокий цилиндр г-на Пипле.

– Анастаси, – серьезно проговорил Альфред, – право, для тебя нет ничего святого, как и для Сезара Брадаманти; к некоторым вещам нельзя относиться легкомысленно, даже с глазу на глаз с любимым...

– Полно, полно, старый дорогуша, не придуривайся и не тараси на меня глаза... ты же видишь, я пошутила. Разве ты не знаешь, что нет никого на свете, кто мог бы похвалиться... Словом, понятно... Если я хочу услужить этой молодой парочке, то делаю это ради нашего нового жильца, он так добр к нам.

Обратившись затем к Родольфу, она сказала:

– Погодите, увидите, как я обтяпаю это дельце!.. Хотите остаться здесь, в углу, за занавеской?.. Они как раз спускаются, слышите?..

Родольф поспешно спрятался.

Господин и госпожа д'Арвиль шли по лестнице, маркиз вел жену под руку.

Когда они поравнялись с привратницей, на лице г-на д'Арвиля лежало выражение глубокого счастья, смешанного с удивлением и замешательством.

Клеманс была спокойна и бледна.

– Видели вы этих несчастных Морелей, милая дамочка? – воскликнула г-жа Пипле, выходя из привратницы. – Сердце разрывается, смотря на них! Боже мой, вы делаете хорошее, доброе дело... Я уже говорила вам, что они достойны жалости, когда вы заходили сюда, чтобы навести справки о них! Можете быть спокойны, таким славным людям не жаль помогать... правда, Альфред?

Альфред, показная добродетель и врожденная прямота которого восставали против необходимости присоединиться к этому антимаатримониальному заговору, издал нечто вроде отрицательного хмыканья.

– У Альфреда опять спазмы в желудке, вот почему его не слышать, а то он сказал бы вам, как и я, что эти несчастные люди будут от всего сердца молить бога за вас, сударыня!

Господин д'Арвиль смотрел на жену с восхищением.

– Она ангел! Сущий ангел! О клевета! – повторял он.

– Ангел? Вы правы, сударь, и вдобавок ангел, посланный господом богом!

– Друг мой, едем домой, – проговорила г-жа д'Арвиль, измученная напряжением, в котором жила с тех пор, как переступила порог этого дома; она чувствовала, что силы изменяют ей.

– Едем, – ответил маркиз.

– Клеманс, я нуждаюсь в прощении и жалости!.. – проговорил он, выходя на улицу.

– Кто из нас не нуждается в том же? – ответила молодая женщина со вздохом.

Родольф вышел, глубоко взволнованный этой трагической сценой, к которой примешалось немало грубого и смешного, этой странной развязкой таинственной драмы, породившей столько различных страстей.

– Ну как? – спросила г-жа Пипле. – Надеюсь, я неплохо обдурила этого молокососа? Теперь он будет держать жену под стеклянным колпаком... Бедняга... А как же ваша мебель, господин Родольф? Ее так и не привезли.

– Я еще займусь этим делом... Предупредите офицера, что он может спуститься...

– И то правда... Какую он промашку дал! Выходит, зазря квартиру нанял... Так ему и надо... С его паршивыми двенадцатью франками за уборку...

Родольф распростился с привратницей.

– Теперь, Альфред, настал черед офицера. Ну и посмеюсь же я!

И она поднялась к г-ну Шарлю Роберу и позвонила; он отворил дверь.

– Ваше благородие, – проговорила Анастази и отдала ему честь, приложив руку к своему парику, – я пришла, чтобы освободить вас... Муж с женой ушли под ручку перед вашим носом. Неважно, зато вы дешево отделались... благодаря господину Родольфу; вы должны поставить за него большую свечку!

– За господина Родольфа? Это тот тонкий господин с усами?

– Он самый.

– Что представляет собой этот субъект?

– Субъект! – негодуяще вскричала г-жа Пипле. – Он стоит многих других! Он коммивояжер, живет в нашем доме, у него всего одна комната, и он не сквалыжничает, как иные... Он дал мне шесть франков за уборку, шесть франков с первого слова... шесть франков, не торгуясь!

– Ладно... ладно... Вот ваш ключ.

– Надо ли завтра протопить у вас, ваше благородие?

– Нет!

– А послезавтра?

– Нет! Нет!

– Помните, ваше благородие? Я сразу вас предупредила, что вы не возместите своих расходов.

Уходя, господин Шарль Робер бросил презрительный взгляд на привратницу; он никак не мог понять, каким образом какой-то коммивояжер по имени Родольф узнал о его свидании с маркизой д'Арвиль.

В конце крытого прохода он встретил Хромулю, который шел, припадая на одну ногу.

– А, вот и ты, негодник, – сказала г-жа Пипле.

– Одноглазая не приходила за мной? – спросил мальчик, не ответив на обращение привратницы.

– Сычиха-то? Нет, выродок. Зачем бы она пришла за тобой?

– Как зачем? Чтобы отвезти меня в деревню! – ответил Хромуля, переступая с ноги на ногу у порога привратницкой.

– А твой хозяин?

– Отец попросил господина Брадаманти отпустить меня на сегодняшний день... Мы поедем в деревню... в деревню... в деревню... – прогнусавил сын Краснорукого и принялся что-то напевать, барабана по застекленной двери привратницкой.

– Перестань, бездельник... не то разобьешь стекло! А вот и извозчик!

– Это Сычиха, – сказал мальчик, – какое счастье прокатиться в экипаже!

В самом деле, за стеклом кареты на фоне красной шторы выделялся носатый землистый профиль одноглазой.

Старуха знаком подозвала Хромулю, и тот подбежал к ней.

Извозчик открыл дверцу, и мальчишка влез к Сычихе.

Она была в экипаже не одна.

В дальнем углу сидел какой-то человек в старом пальто с меховым воротником, часть его лица была скрыта под черным шелковым колпаком, надвинутым до самых бровей... Это был не кто иной, как Грамотей.

За его красными веками виднелись неподвижные, без радужной оболочки, словно покрытые белилами глаза, из-за которых еще страшнее казалось лицо, стянутое лиловыми и мертво-бледными шрамами.

– Ну же, ложись на ходули моего муженька, будешь греть его, – сказала одноглазая мальчишке, который присел, как пес, между ней и Грамотеем.

– А теперь в Букеваль, на херму!⁷² Правильно я сказал, Сычиха? – спросил извозчик. – Вот увидишь, что я умею править квымагой⁷³.

– А главное, припандорь свою шкапу⁷⁴, – сказал Грамотей.

– Будь спокоен, чертяка без гляделочек⁷⁵, он запросто ухандорит⁷⁶ до проселицы⁷⁷.

– Хочешь, я дам тебе лекарство?⁷⁸ – спросил Грамотей.

– Какое?

⁷² Ферму.

⁷³ Экипажем.

⁷⁴ Настегивай свою лошадь.

⁷⁵ Без глаз (гляделочки – еще одно чуть ли не изящное слово в этом отвратительном жаргоне).

⁷⁶ Добежит.

⁷⁷ Проселочной дороги.

⁷⁸ Совет.

– Дуй шибче мимо шмырников⁷⁹. Тебя вполне могут узнать, ты ведь долго был бродягой.
– Буду смотреть в оба, – ответил тот, влезая на козлы.

Мы привели здесь этот отвратительный жаргон в доказательство того, что мнимый извозчик был злодеем, достойным сообщником Грамотея.

Карета с Грамотеем, Сычихой и Хромулей покинула улицу Тампль.

Два часа спустя, когда уже смеркалось, возница остановился у развилки, возле деревянного креста; отсюда букевальская дорога вела между крутыми склонами на ферму, где под покровительством г-жи Жорж нашла приют Лилия-Мария.

⁷⁹ Поезжай быстрее мимо сторожевой заставы.

Глава XXI. Идиллия

Пять часов пробило в церкви небольшого сельца Букеваль; стояла холодная погода, небо было безоблачно; солнце, медленно опускаясь за оголенными деревьями холмов Экуена, окрашивало в пурпур горизонт и бросало косые бледные лучи на обширные, скованные морозом поля.

В каждое время года природа предстает перед нами в новом и чаще всего чарующем облике.

Первозданной белизны снег превращает порой окрестности в череду словно вылепленных из алебаstra пейзажей, искристые контуры которых выступают на фоне розовато-серого неба.

В наступающих сумерках встречается иной раз запоздалый крестьянин, который спешит домой, либо поднимаясь на холм, либо спускаясь в долину: лошадь его, пальто, шляпа – все покрыто инеем; стоит жестокий мороз, дует ледяной ветер, приближается темная ночь; но там, между голых стволов, приветливо светятся оконца фермы; высокая кирпичная труба выбрасывает в небо густой столб дыма, говорящий путнику о том, что его ожидает огонь, весело потрескивающий в камине, а на столе – незатейливый ужин; затем, после беседы в домашнем кругу, наступает спокойная ночь в теплой постели, тогда как снаружи свищет ветер, а на разбросанных по долине фермах лают, перекликаясь, собаки.

Иногда по утрам иней развешивает на деревьях свои хрустальные гирлянды, сверкающие, как бриллианты, под зимними лучами солнца; влажная, тучная земля изрыта длинными бороздами, в которых находят приют рыжеватые зайцы или бодро семенящие серые куропатки.

То тут, то там слышится печальное позвякивание колокольчика барана – вожака большого стада, разбредшегося по травянистым склонам дорог, в то время как пастух в сером полозатом плаще сидит у подножия дерева и, напевая, плетет тростниковую корзинку.

Порой все вокруг оживает: эхо множит далекие звуки охотничьего рога и лай своры собак; испуганная лань выскакивает на опушку, в ужасе мчится по долине и скрывается в противоположной лесной чаще.

Конский топот и лай приближаются; белые с желтоватыми подпалинами собаки, в свою очередь, выбегают из леса, несутся по пашне и земле под паром, принюхиваясь к следам лани. За ними скачут во весь опор наездники в красных охотничьих костюмах, криками подбадривая свору. Этот яркий вихрь проносится с быстротою молнии; шум постепенно замирает; собаки, лошади, охотники пропадают вдаль, в том лесу, где исчезла лань.

Снова наступает тишина, и снова безмолвие широких просторов нарушается лишь однообразной песней пастуха.

Таких пейзажей, таких сельских уголков немало в окрестностях селения Букеваль, расположенного, несмотря на свою близость к Парижу, в уединенном месте, куда ведут лишь проселочные дороги.

Скрытая летом за деревьями, как гнездо среди ветвей, ферма, где нашла пристанище Певунья, была теперь видна как на ладони.

Русло маленькой, скованной льдом речки походило на серебряную ленту, небрежно брошенную среди еще зеленеющих лугов, где лениво паслись тучные коровы, искоса поглядывая на хлев. Привлеченные наступлением вечера, стаи голубей поочередно опускались на островерхую крышу голубятни. Сквозь ореховые деревья, которые летом отбрасывают тень на двор и здания фермы, проглядывали теперь черепичные и соломенные крыши, покрытые бархатистым изумрудным мхом.

Тяжело груженная повозка, запряженная тремя приземистыми сытыми лошадьми с пышной гривой, синие хомуты которых были украшены бубенцами и красными шерстяными

кисточками, везла на ферму снопы со скирды, стоящей в долине. Эта громоздкая повозка въехала через главные ворота во двор, тогда как многочисленное овечье стадо теснилось у одного из боковых входов.

Люди и животные, казалось, спешили укрыться от вечернего холода и вкусить сладость отдыха; лошади весело ржали при виде конюшни, овцы блеяли, беспорядочно устремляясь к двери овчарни; пахари бросали голодные взоры на окна кухни, где готовился ужин, достойный Пантагрюэля.

На ферме царил редкий порядок и поразительная, ласкающая глаз чистота.

По окончании трудового дня плуги, бороны и прочие сельскохозяйственные орудия не были оставлены где попало, с присохшей к ним грязью; чистые, недавно покрашенные или же новейшего образца, они стояли в обширном сарае, в нем же возчики аккуратно складывали лошадиную сбрую. Двор был опрятный, посыпанный песком и обсаженный деревьями; вы не увидели бы здесь ни куч навоза, ни луж гниющей воды, которые портят вид лучших ферм в старинных областях Бос и Бри. Птичий двор, обнесенный зеленым трельяжем, вмещал всех пернатых обитателей фермы, которые возвращались в него по вечерам через дверцу, выходящую в поля.

Не желая обременять читателя новыми подробностями, скажем только, что ферма эта по праву считалась лучшей в округе благодаря установленному в ней порядку, превосходному ведению хозяйства, высоким урожаям, а также благополучию и трудолюбию ее многочисленных работников.

Мы объясним ниже причину этого явления, теперь же подойдем с читателем к решетчатой двери птичьего двора, который ни в чем не уступал остальным помещениям фермы по сельскому изяществу насестов, курятников и выложенному камнями руслу журчащего прозрачного ручья, тщательно освобождаемого от льдинок, которые могли бы загроздить его русло.

Внезапно нечто вроде переполоха произошло среди пернатых обитателей птичника: куры, кудахтая, слетели с насестов, индюки принялись гоготать, цесарки пронзительно закричали, голуби покинули крышу голубятни и опустились, воркуя, на посыпанную песком землю.

Все это оживление было вызвано приходом Лилии-Марии.

Грез и Ватто могли лишь мечтать о такой прелестной натурщице, если бы щеки бедной Певуньи были покруглее и не так бледны; но хотя личико ее и осунулось, его выражение, вся фигурка девушки и изящество позы по-прежнему были достойны кисти этих двух великих художников.

Маленький круглый чепчик обрамлял лоб Лилии-Марии и разделенные на прямой пробор белокурые волосы; по примеру крестьянок парижских окрестностей, она повязывала поверх этого чепчика красную ситцевую косынку, скрепленную двумя булавками на затылке, концы которой падали на ее плечи; то был живописный, изящный головной убор, которому могли бы позавидовать швейцарки и итальянки.

Шейный платок из белого батиста скрещивался на ее груди под холщовым фартуком; синий суконный жакет с узкими рукавами облегал ее тонкую талию, прекрасно гармонируя с серой бумазейной юбкой в коричневую полоску; белые чулки, маленькие туфельки на толстой подошве и черные сабо вместо галош, украшенные спереди кожаным квадратом, дополняли этот по-деревенски простой наряд, которому врожденное изящество Лилии-Марии придавало особую прелесть.

Приподняв фартук, она пригоршнями черпала из него зерна и кормила слетевшихся к ней пернатых.

Хорошенький серебристо-белый голубь с пурпурным клювом и такими же лапками, более ручной и смелый, чем его сородичи, покружив вокруг Лилии-Марии, сел к ней на плечо.

Девушка, видимо привыкшая к его бесцеремонности, продолжала разбрасывать зерна; затем, слегка повернув прелестное личико и откинув голову, она с улыбкой приблизила розовые губки к клюву своего любимца.

Последние лучи заходящего солнца бросали золотистый отблеск на эту идиллическую картину.

Глава XXII. Тревоги

В то время как Певунья занималась хозяйственными делами, г-жа Жорж и аббат Лапорт, настоятель церкви села Букеваль, сидели в маленькой гостиной фермы и беседовали о Лилии-Марии: тема эта неизменно интересовала их обоих.

Престарелый священник задумчиво, сосредоточенно опустил голову на грудь и, опершись локтями на колени, машинально протянул свои дрожащие руки к огню камина.

Госпожа Жорж что-то шила и время от времени поглядывала на аббата, словно ожидая от него ответа.

– Да, сударыня, надо предупредить господина Родольфа; если он расспросит Марию, она, вероятно, откроет ему то, что скрывает от нас... ведь она так признательна своему благодетелю.

– В таком случае, ваше преподобие, я сегодня же отправлю письмо на аллею Вдов по адресу, который он дал мне.

– Бедная девочка! – продолжал аббат. – Какое горе подтачивает ее? Чего ей не хватает для счастья в Букевале?

– Ничто не может развеять ее грусть, ваше преподобие... даже то усердие, с каким она учится...

– Она и в самом деле сделала поразительные успехи с тех пор, как мы занимаемся ее воспитанием.

– Не правда ли? Она научилась свободно читать и писать и настолько усвоила арифметику, что ведет вместе со мной приходо-расходные книги! И милая девочка так старательно помогает мне по хозяйству, что это глубоко трогает меня. Не переутомляется ли бедняжка вопреки моим просьбам? Ее здоровье беспокоит меня.

– К счастью, врач-негр успокоил нас по поводу небольшого кашля, которым она страдала. От него не осталось и следа.

– Какой чудесный человек этот доктор! Он так хорошо относится к ней; впрочем, у нас все любят, уважают ее. И это неудивительно! Благодаря своему возвышенному и широкому взгляду на жизнь господин Родольф подобрал для этой фермы лучших местных работников. Но даже самые грубые и равнодушные из них подпали под обаяние ангельской кротости Марии, той милой и робкой манеры держать себя, с которой она словно молит о милосердии. Несчастливая девочка! Можно подумать, что она одна во всем виновата!

После недолгого раздумья аббат спросил г-жу Жорж:

– Не вы ли говорили мне, что Мария погрузилась в печаль после Дня Всех Святых, когда здесь побывала госпожа Дюбрей из Арнувиля, фермы его высочества герцога де Люсене?

– Да, мне так показалось, ваше преподобие, и, однако, госпожа Дюбрей, и в особенности ее дочь Клара, образец невинности и доброты, не остались равнодушны к обаянию Марии; обе они проявили к ней самое сердечное внимание; вы знаете, что по воскресеньям наши друзья из Арнувиля приезжают к нам или мы едем к ним. Так вот, можно подумать, что каждое такое посещение увеличивает грусть нашей милой девочки, хотя Клара успела полюбить ее как сестру.

– Право, госпожа Жорж, тут кроется какая-то тайна. Какова причина затаенного горя Марии? Она должна бы чувствовать себя вполне счастливой! Между ее теперешней и прежней жизнью лежит такая же пропасть, как между раем и адом. И вместе с тем ее нельзя упрекнуть в неблагодарности.

– Неблагодарности? Великий боже!.. Она так искренне благодарна нам за наши заботы! В ней столько деликатности! Бедная крошка делает все возможное, чтобы отплатить за наши заботы о ней! Разве она не возмещает своими услугами получаемое у нас гостеприимство? И это еще не все: за исключением воскресных дней, когда, по моему настоянию, Мария одева-

ется понаряднее, чтобы сопровождать меня в церковь, она носит такое же грубое платье, как деревенские девушки, и, несмотря на это, в ней столько врожденного благородства, изящества, что она прелестна даже в этом наряде, не правда ли, ваше преподобие?

– Ах, сколько в вас материнской гордости! – заметил с улыбкой престарелый священник.

При этих словах глаза г-жи Жорж наполнились слезами: она подумала о своем сыне.

Аббат догадался о причине ее волнения.

– Мужайтесь! – сказал он. – Господь послал вам эту бедную девочку, чтобы помочь дожидаться свидания с сыном. Кроме того, священные узы свяжут вас скоро с Марией: если крестная мать правильно понимает свою миссию, она становится как бы родной матерью. Что до господина Родольфа, то он вдохнул в нее душу, вытащив ее из всей этой грязи... И заранее выполнил свою обязанность крестного отца.

– Считаете ли вы ее достаточно подготовленной, чтобы приобщиться святых тайн, ведь эта обездоленная девочка, наверное, никогда не причащалась.

– Вскоре она проводит меня домой, и я сообщу ей, что это таинство, вероятно, состоится недели через две.

– Быть может, ваше преподобие, вы вскоре совершите и другое таинство, таинство, внушающее надежду на счастье?..

– Что вы имеете в виду?

– Если Марию полюбят так, как она того заслуживает, и она сама отличит какого-нибудь хорошего доброго человека, почему бы ей не выйти замуж?

Аббат печально покачал головой.

– Выдать ее замуж! Подумайте, госпожа Жорж, во имя истины, чести придется все сказать суженому Марии... И несмотря на ваше и мое ручательство, какой мужчина пренебрежет прошедшим, запятнавшим юность этой бедной девочки! Никто не захочет взять ее в жены.

– Но господин Родольф – человек щедрый! Он сделает для своей протезе еще больше того, что уже сделал... Приданое...

– Увы! – сказал священник, прерывая г-жу Жорж. – Горе Марии, если на ней женятся из соображений корысти! Она будет обречена на самую тяжкую долю; жестокие упреки вскоре последуют за таким браком.

– Вы правы, ее ожидает тяжкая доля! Боже мой, какое несчастное будущее уготовано ей!

– Ей придется искупить тягчайшие грехи, – серьезно проговорил аббат.

– Подумайте, ваше преподобие, ведь она была брошена в детстве без средств к существованию, без поддержки, без понятия о добре и зле... Затем ее насильно увлекли на путь порока. Какая девушка не сбилась бы с пути на ее месте?

– Заложенное в человеке нравственное чувство должно было поддержать, просветить ее; впрочем, она и не пыталась избежать этой страшной участи. Разве в Париже нет сострадательных людей?

– Конечно, их можно найти, но как и где их искать? Прежде чем вы отыщете доброго человека, сколько придется встретить равнодушия, отказов! А ведь Мария нуждалась не в милостыне, а в постоянной поддержке, которая помогла бы ей честно зарабатывать себе на жизнь... Многие матери, вероятно, сжалились бы над ней, но не так-то легко обрести такую женщину. Уж поверьте мне: я знаю, что такое нищета... Счастливый случай вроде того, который, увы, свел слишком поздно Марию с господином Родольфом, редко встречается; горемыки почти всегда наталкиваются на грубый отказ; они думают, что жалости нет на белом свете, и, мучимые голодом... неумолимым голодом, часто ищут в пороке те средства существования, в которых им отказывают люди.

Тут в гостиную вошла Певунья.

– Откуда вы, детка? – ласково спросила г-жа Жорж.

– Сперва я закрыла двери птичьего двора, а потом осмотрела фруктовый сад. Все плоды прекрасно сохранились, за немногим исключением, попорченные я сняла.

– Почему вы не попросили Клодину сделать это вместо вас, Мария? Вы, наверно, переутомились.

– Нет, нет, сударыня, мне очень нравится в моем саду: там хорошо пахнет спелыми плодами.

– Вы непременно должны осмотреть фруктовый сад Марии, ваше преподобие! Трудно себе представить, как хорошо, с каким вкусом она ухаживает за ним. Гирлянды вьющегося винограда свисают между плодовыми деревьями, которые украшены внизу бордюрами изумрудного мха.

– О, ваше преподобие, я уверена, что сад вам понравится, – наивно сказала Певунья. – Вы увидите, как живописно выглядит мох рядом с ярко-красными яблоками и золотистыми грушами. А особенно хороши мелкие яблоки! То розовые, то белые, они походят среди зелени на головки херувимов, – прибавила девушка с восторгом художника, довольного своим произведением.

Священник с улыбкой взглянул на г-жу Жорж и, обратясь к Марии, проговорил:

– Я уже любовался молочным хозяйством, которым вы руководите, дитя мое; самая требовательная фермерша позавидовала бы его образцовому порядку. А на днях зайду полюбоваться вашим фруктовым садом, красными яблоками и золотистыми грушами и, главное, хорошенькими яблочками-херувимами. Но солнце только что село, вы едва успеете проводить меня до дому и вернуться до наступления темноты. Возьмите свою накидку, и идемте скорее, дитя мое... Но как же я не подумал об этом: на дворе очень холодно; оставайтесь лучше дома, кто-нибудь из работников проводит меня.

– Что вы, ваше преподобие, вы очень огорчите ее, – сказала г-жа Жорж. – Она так любит провожать вас по вечерам.

– Ваше преподобие, – присовокупила Певунья, робко поднимая на священника свои большие голубые глаза, – я подумаю, что вы недовольны мной, если не разрешите проводить вас, как обычно.

– Я? Мое милое дитя! В таком случае поскорей одевайтесь, да как можно теплее.

Мария тут же надела накидку с капюшоном из толстой кремовой шерсти, отороченную черной бархатной лентой, и предложила священнику опереться на ее руку.

– К счастью, – молвил последний, – от фермы до моего дома недалеко, да и место здесь безопасное.

– Его преподобие немного задержался у нас сегодня, – сказала г-жа Жорж. – Не хотите ли, Мария, чтобы кто-нибудь из работников проводил вас?

– Меня сочтут трусихой, – ответила Мария, улыбаясь. – Спасибо, сударыня, но никого не стоит тревожить из-за меня. Отсюда до дома его преподобия четверть часа пути, и я вернусь до наступления ночи.

– Я не стану уговаривать вас: слава богу, мы никогда не слышали здесь о бродягах.

– В противном случае я не согласился бы, чтобы эта милая девушка провожала меня до дому.

И аббат покинул ферму, оперевшись на руку Лилии-Марии, которая старалась приноровить свой легкий шаг к медленной и тяжелой поступи старца.

Вскоре священник и Мария дошли до той впадины, где притаились Грамотей, Сычиха и Хромуля.

Часть третья

Глава I. Засада

Церковь и дом священника Букеваля стояли в каштановой роще на склоне холма, откуда была видна вся деревня. Лилия-Мария и аббат шли по извилистой тропинке, которая вела к приходскому дому, пересекая глубокую овражную дорогу, прорезавшую холм по диагонали.

Сычиха, Грамотей и колченогий Хромуля затаились за поворотом дороги и оттуда увидели, как священник и Лилия-Мария спустились в дорожную впадину и выбрались на противоположной стороне по крутому откосу. Капюшон плаща скрывал лицо юной девушки, и кривая Сычиха не узнала свою бывшую жертву.

– Тихо, приятель, – сказала старуха Грамотею. – Девчонка и боров в сутане перелезли через ров. Это наверняка она, если верить приметам, которые нам дал высокий человек в трауре: одежда деревенская, рост средний, юбка в коричневую полоску, плащ шерстяной с черной оторочкой. В таком наряде она провожает борова каждый день до его конуры, а возвращается одна. Когда она сейчас пойдет назад, надо напасть на нее там, в конце тропинки, схватить и отнести в карету.

– А если она закричит, позовет на помощь? – возразил Грамотей. – Ее услышат на ферме, потому что вы сказали, что отсюда видны дома. Вы-то их видите... не то что я, – добавил он своим гнусавым голосом.

– Конечно, отсюда видна вся ферма, она совсем близко, – подтвердил Хромуля. – Я только что взобрался на откос, полз на животе. И слышал, как возчик разговаривал со своими лошадьми там внизу, на дворе...

– Тогда надо сделать вот что, – подумав минуту, снова заговорил Грамотей. – Ты, Хромуля, пойдешь сторожить к началу тропинки. Когда увидишь издали эту малышку, ковыляй ей навстречу и кричи, что ты сын бедной старухи, что она свалилась в придорожный ров и не может встать и просит о помощи.

– Поняла тебя, хитрец. Бедной старухой будет твоя Сычиха. Здорово придумано! Мой красавчик всегда был королем взломщиков. Ну а что мне делать потом?

– Ты заляжешь в придорожном рву, как можно ближе к тому месту, где ждет Крючок с фиакром. Я спрячусь поблизости. Когда Хромуля доведет малышку до середины дороги, перестань хныкать и бросайся на нее: одной рукой за горлышко, а другой – зажми рот, чтобы не вопила.

– Понятно, хитрец. Как с той дамочкой на канале Сен-Мартен, у которой мы взяли «чернушку»⁸⁰ из-под мышки, а потом отправили купаться. Тот же фокус, не так ли?

– Да, тот самый... Ты будешь держать девчонку, чтобы не вырвалась, а Хромуля сбегает за мной. Втроем мы запакуем ее в тот плащ, донесем до фиакра Крючка, а потом – вперед, на Сен-Дени, где нас ждет человек в трауре.

– Здорово задумано, не придерешься! Послушай, хитрец, да тебе нет равных! Если бы я могла, я бы устроила в честь твоей башки фейерверк, разукрасила бы ее разноцветным стеклян-русом и отправила в дар святому Шарло, покровителю всех висельников⁸¹. Ты слышишь меня, сопляк? – обратилась она к Хромуле. – Если хочешь стать настоящим ловкачом, бери пример с моего башковитого муженька. Вот это человек! – добавила Сычиха с гордостью. – Кстати, –

⁸⁰ Пакет с деньгами, обернутый черной провощенной тканью.

⁸¹ Палачу.

продолжала она, обращаясь к Грамотею. – Ты должен знать: Крючок трясется от страха за свою дурацкую голову.

– Это еще почему?

– Он недавно в драке пришел мужа одной молодницы, который каждое утро приезжал на маленькой тележке, запряженной осликом, и продавал молоко на углу Старосуконной рядом с этой обжираловкой, «Белым кроликом».

Сын Краснорукого не понимал воровского жаргона и прислушивался к словам Сычихи с любопытством и недоумением.

– Тебе, я вижу, хочется знать, о чем мы говорим, сопляк, не так ли?

– Черт возьми, конечно!

– Если будешь умницей, я научу тебя жаргону. Ты уже не маленький, и это может тебе пригодиться. Ну как, доволен, миленочек?

– Еще бы не доволен! Ведь я хочу остаться с вами, а не возвращаться к старому тупице толочь его снадобья и чистить его клячу. Если бы я только знал, где он прячет «крысомор для людей», я бы подсыпал ему в суп, чтобы он не заставлял меня таскаться с ним по всем дорогам.

Сычиха расхохоталась и проговорила, привлекая к себе Хромулю:

– Иди ко мне, поцелуй скорей мамочку, прелесть моя! Какой же ты забавник... Но откуда ты знаешь, что у твоего хозяина есть «крысомор для людей»?

– Откуда? Да я сам слышал однажды, как он говорил об этом. Меня он не видел, потому что я спрятался в темном чулане, где он держит свои бутылки, всякие железные штуковины и толчет свои снадобья в маленьких ступках...

– О чем же он говорил? Что ты слышал? – настаивала Сычиха.

– Он отдал порошок в пакетике одному господину и сказал: «Кто примет три дозы этого порошка, уснет вечным сном под землей, и никто не узнает отчего и почему, потому что не останется никаких следов...»

– А кто был этот господин? – спросил Грамотей.

– Молодой, красивый, с черными усами и нежным лицом, как у девушки... Он пришел еще раз, но на этот раз, когда он ушел, я отправился следом за ним по приказу моего хозяина Брадаманти, чтобы узнать, где его «гнездо». Этот красивый господин вошел в богатый дом на улице Шайо. Мой хозяин приказал мне: «Куда бы он ни пошел, следуй за ним и жди у дверей. Если он выйдет снова, следуй за ним и так до тех пор, пока он не останется в последнем доме. Это будет означать, что там он и живет. Так вот, почтенный мой Хромуля, пошевели своими кривулями и узнай его имя, а не то я тебе так выкручу уши, что они станут похожи на твои кривули!»

– А что дальше?

– А дальше я пошевелил своими кривулями и узнал имя молодого господина.

– Как же ты его узнал? – спросил Грамотей.

– Очень просто, я ведь не дурак! Вошел в подъезд того дома на улице Шайо, откуда господин все не выходил, и справился у швейцара, эдакого напудренного, в коричневой ливрее с желтым воротником и серебряными галунами. «Добрый господин, – говорю я ему, – я пришел получить сто су, которые ваш хозяин обещал мне за то, что я нашел и вернул ему его потерявшуюся собачку, такую маленькую, черную, по кличке Тявкалка, ведь это он вошел сюда, такой темноволосый, с черными усами, в сером рединготе и светло-синих брюках, он мне сам сказал, что живет на улице Шайо в доме одиннадцать и зовут его Дюпон». – «Господин, о котором ты говоришь, – отвечает мне лакей, – мой хозяин, и зовут его виконт де Сен-Реми, и здесь нет никакой другой собачонки, кроме тебя, дрянной мальчишка, так что убирайся отсюда, пока я тебя не вздул за то, что ты пытался выманить у меня сто су!» И тут он меня так пнул, что я вылетел на улицу. Но это уж неважно, – продолжал философски Хромуля. – Главное, я узнал имя красивого господина с черными усами, который приходил к моему хозяину за «крысомо-

ром для людей». Его звали виконт де Сен-Реми, да, да, Сен-Реми, Сен-Реми, – пропел, по своему обыкновению, сын Краснорукого.

– Ох, да я его просто съест готова, этого маленького певуна! – воскликнула Сычиха, обнимая Хромулю. – Каков хитрец, а? Послушай, хочешь, я буду твоей мамашей, ты это заслужил!

Эти слова произвели на колченогого уродца странное впечатление: его хитрая, злая и недоверчивая рожица вдруг сделалась грустной; похоже, он принял всерьез эти материнские нежности Сычихи.

– И я вас тоже очень люблю, – ответил он. – Потому что вы поцеловали меня в тот первый день, когда пришли за мной в «Кровоточащее сердце», к моему отцу... После смерти матери только вы приласкали меня, а все остальные бьют меня и гонят, как паршивую собачонку, все на свете, даже привратница, матушка Пипле.

– Старая ведьма! – воскликнула Сычиха с видом деланого возмущения, которое Хромуля принял за чистую монету. – Подумать только, она еще нос воротит! Оттолкнуть любовь такого ребенка...

И кривая Сычиха еще раз поцеловала Хромулю с преувеличенной нежностью.

Сын Краснорукого, глубоко тронутый этим новым проявлением добрых чувств, ответил на них с горячей признательностью.

– Только прикажите! – вскричал он. – Прикажите, и вы увидите, я исполню все, увидите, как верно я буду вам служить!..

– Правда? Ну хорошо, ты об этом не пожалеешь...

– О, я так рад остаться с вами!

– Ладно, посмотрим, если будешь умником. А пока пойдешь с нами.

– Да, – согласился Грамотей, – ты поведешь меня, несчастного слепца, и будешь говорить, что ты мой сын. Мы будем проникать в дома, и тысяча смертей, – вскричал в ярости убийца, – с помощью Сычихи мы еще не раз поживимся! Я еще покажу этому дьяволу Родольфу, который меня ослепил, что со мной далеко не все кончено!.. Он отнял у меня зрение, но не отнял стремления творить зло. Я буду головой, ты, Хромуля, моими глазами, ты, Сычиха, моей рукой. Ты ведь мне поможешь.

– Ты же знаешь, душегубчик, я с тобой до досочки, до веревочки с петлей. Когда я вышла из госпиталя и узнала, что ты спрашивал меня у кабагчицы Людоедки ради этого простофили из Сен-Манде, я все бросила и помчалась в твою деревню к этим местным ведьмам и всем говорила, что я твоя жена! Ты разве не помнишь?

Но эти слова кривой Сычихи вызвали у Грамотея неприятные воспоминания. Внезапно тон и обращение его к Сычихе изменились, и он злобно закричал:

– Да я подыхал там от скуки с этими честными людьми; через месяц я уже больше не мог, мне было страшно. И тогда я придумал позвать тебя. Себе на беду! – добавил он еще более яростно. – На другой же день после твоего появления меня ограбили, утащили остатки денег, которые мне дал этот демон из аллеи Вдов. Да, сняли пояс с золотыми, пока я спал... Только ты могла это сделать, и теперь я в твоей власти... Всякий раз, как вспомню, все время удивляюсь, почему я тебя не убил на месте, старая воровка!

Он шагнул в сторону кривой Сычихи, но его остановил возглас Хромули:

– Берегись, если тронешь Сычиху, худо будет!

– Да я раздавлю вас обоих, злобные гадюки! – в ярости закричал бандит. И, услышав рядом с собой голос сына Краснорукого, он нанес наугад в его сторону такой страшный удар кулаком, что наверняка уложил бы его наповал, попади он в цель.

Хромуля, чтобы отомстить за себя и за Сычиху, подобрал с дороги камень, прицелился и попал Грамотею прямо в лоб.

Удар был не опасен, но весьма болезнен.

Разъяренный бандит вскочил на ноги, страшный, как раненый бык, сделал несколько шагов вперед, но споткнулся.

– Не сломай себе шею! – воскликнула Сычиха, хохоча до слез.

Несмотря на кровавые узы, связавшие ее с убийцей, она по многим причинам с жестокой радостью наблюдала за унижением этого некогда ужасного зверя, непомерно гордого своей чудовищной силой.

Так одноглазая на свой манер подтверждала правоту безжалостной мысли Ларошфуко о том, что «мы всегда находим нечто утешительное в несчастьях наших лучших друзей».

Уродливый мальчишка с желтыми волосами и крысиной мордочкой всецело разделял буйное веселье одноглазой. Грамотей снова споткнулся, и Хромуля закричал ему:

– Да открой же глаза, старина, открой глаза! Ты идешь не в ту сторону, ты петляешь... Неужели ты сам не видишь?.. Протри получше стекла своих очков!

Понимая, что ему не удастся поймать мальчишку, силач яростно затопал на месте, двумя огромными волосатыми кулаками протер глазницы и глухо зарычал, как тигр в петле намордника.

– Ты вроде кашляешь, старина? – осведомился сын Краснорукого. – Послушай, вот прекрасное лекарство, его дал мне один жандарм, надеюсь, и тебе оно понравится!

Он подобрал горсть щебня и швырнул в лицо убийцы.

Этот дождь мелких острых камешков, оцарапавших лицо, это новое оскорбление причинили Грамотею еще более жестокие страдания, чем удар камня в лоб; мертвенно побледнев под сетью сине-багровых шрамов, он внезапно раскинул крестом руки жестом невыразимого отчаяния, воздел к небесам свое ужасное лицо и взмолился из глубины души:

– О господи, господи боже мой!

Странно было слышать из уст этого человека, запятнавшего себя самыми жестокими преступлениями, перед кем дрожали самые отчаянные мерзавцы, внезапный призыв к божьему милосердию, но так было угодно провидению.

– Ах, ах, ах, Чертушка раскидывает руки крестом, – захихикала Сычиха. – Ты не того позвал, мой милый, тебе надо звать рогатого на помощь!

– Дай мне хоть нож, чтобы я покончил с собой!.. Дай мне нож!!! Ибо все оставили меня! – вскричал несчастный, кусая кулак в бессильной ярости.

– Нож? У тебя есть нож в кармане, хитрец, и преострый. Старикашка с улицы Руля и торговец быками, должно быть, уже рассказали о нем могильным червям.

Грамотей понял, что ему ничто не мешает покончить с собой, и поспешно сменил тему.

– Поножовщик был ко мне добр, – заговорил он глухим, трусливым голосом. – Он не обокрал меня, он меня пожалел...

– Почему ты сказал, будто я утащила твою казну? – спросила Сычиха, едва удерживаясь от смеха.

– Ты одна входила ко мне в комнату, – ответил бандит. – Меня обокрали в ночь твоего приезда. Кого же мне еще подозревать? Местные крестьяне на такое не способны.

– А почему бы им не поживиться, твоим крестьянам? Что они, хуже других? Может, они пьют только молоко и щиплют траву, как кролики?

– Так или иначе, меня обчистили.

– Но при чем здесь твоя Сычиха? Да ты сам подумай! Если бы я увела твою сокровище, разве бы я после этого осталась с тобой? Ты что, сдурел? Конечно, я бы взяла твои денежки, если бы могла. Но, верь слову Сычихи, ты бы все равно меня снова нашел потом, когда бы денежки растаяли, потому что ты мне нравишься, белоглазый разбойник! И послушай, брось ты скрипеть зубами, а то все выкрошишь.

– Похоже, он щелкает орехи! – заметил Хромуля.

– Ха-ха-ха! Ты прав, малыш. А ты, душегубчик, успокойся, пусть себе посмеется, он еще так молод. И признайся, что ты несправедлив. Когда высокий человек в трауре, похожий на могильщика, сказал мне: «Плачу тысячу франков, если вы похитите девушку, которая живет на ферме Букеваль, и привезете на указанное место в долине Сен-Дени», разве я не предложила тебе сразу войти в долю, ответь! А ведь могла бы выбрать любого, кто соображает и видит лучше. Так что считай, что я тебя облагодетельствовала. Потому что ты нам нужен только для того, чтобы ты держал девчонку, пока мы с Хромулей не запакуем ее в плащ. А в остальном ты нам как карете пятое колесо. Ну ладно. Я бы тебя, конечно, обокрала, если бы могла, но в общем я тебя люблю и желаю тебе добра. Я хочу, чтобы ты был обязан всем твоей дорогой Сычихе: такой уж у меня характер! Мы дадим двести монет Крючку за карету и за то, что он привозил сюда слугу высокого человека в трауре показать нам место, где мы должны спрятаться, поджидая девчонку. Нам останется восемьсот монет на двоих, будет на что погулять! Ну а теперь что скажешь? Ты еще сердишься на свою старушку?

– Кто поручится, что ты дашь мне хоть что-нибудь, когда дело будет сделано? – мрачно и недоверчиво спросил грабитель.

– Я бы, конечно, могла ничего тебе вообще не дать, мой милый, потому что ты у меня в кармане, как когда-то была Певунья. Так что жарься на моей сковородке, пока рогатый *пекарь* в свою очередь не подцепит тебя на вилы, хе-хе-хе!.. Ну что, душегубчик, ты все еще на меня дуешься? – спросила одноглазая, хлопнув бандита по плечу. Тот удрученно промолчал.

– Ты права, – проговорил он наконец со сдержанной яростью. – Такова, видно, моя участь. И это я, я во власти мальчишки и женщины, которую раньше бы убил одним дуновением! О, если бы я так не боялся смерти! – пробормотал он и опустил на придорожный склон.

– А ты стал трусом, ты трус! – презрительно сказала Сычиха. – Поговори теперь о своей «немой», о своей совести, это будет еще смешнее. А если тебя даже на это не хватает, я улечу и брошу тебя.

– Значит, я не смогу даже отомстить тому человеку, который искалечил меня и оставил в этом жалком положении, из которого я никогда не выйду! – вскричал Грамотей с удвоенной яростью. – Да, я очень боюсь смерти, очень... Ну пусть мне скажут: ты получишь этого человека, будешь держать его обеими руками, а потом вас обоих бросят в бездну. Я отвечу: пусть бросят, пусть, потому что я не выпущу его, пока мы оба не достигнем дна. И пока мы будем катиться вниз, я искусаю его лицо, перегрызу горло, вырву сердце, я загрызу его зубами, потому что мой нож для него слишком хорош!

– Вот и прекрасно, Чертушка, таким я тебя люблю. Будь спокоен, мы отыщем твоего подонка Родольфа, и Поножовщика тоже. После больницы я долго бродила по аллее Вдов... все было заперто, заколочено. Но я сказала высокому человеку в трауре: «Когда-то вы хотели нам заплатить, чтобы мы кое-что сделали с этим чудовищем Родольфом. Может быть, после дельца с девчонкой, которое нас ждет, мы займемся Родольфом?..» – «Возможно», – ответил он. Ты слышишь, хитрец? «Возможно!» Мужайся, Чертушка. Мы слопаем твоего Родольфа, это я тебе говорю, мы его сожрем!

– Ты правда меня не бросишь? – спросил бандит покорно и в то же время недоверчиво. – Если ты теперь меня бросишь, что же со мной будет?

– Да, ты прав. Скажи-ка, душегубчик, вот будет весело, если мы с Хромулей удерем в карете и оставим тебя здесь, в поле, а ночи-то уже не летние, холодок прихватывает. Вот будет знатная шутка, а, разбойничек?

При этой угрозе Грамотей содрогнулся; он приблизился к Сычихе и проговорил, весь дрожа:

– Нет, нет, ты не сделаешь этого, Сычиха... и ты тоже, Хромуля... Это было бы слишком жестоко.

– Ха-ха-ха, слишком жестоко! Посмотри на этого простачка! А старикашка с улицы Руля, а торговец быками? А женщина на канале Сен-Мартен? А господин в аллее Вдов? Может, им понравилось, когда ты щекотал их своим кинжалом? Почему с тобой, в свою очередь, нельзя сыграть такую шутку?

– Хорошо, я признаюсь, – глухо проговорил Грамотей. – Да, я был не прав, когда заподозрил тебя, и был не прав, когда ударил Хромулю. Я прошу у тебя прощения, Сычиха... и у тебя тоже, Хромуля... Я прошу прощения у вас обоих.

– Нет, пусть он просит прощения на коленях за то, что хотел избить Сычиху! – заявил Хромуля.

– Вот мартышка, какой он забавный! – со смехом сказала Сычиха. – В самом деле, мне хочется посмотреть, какую рожу ты состроишь, когда будешь стоять на коленях, словно сгорая от любви к твоей ненаглядной Сычихе. Вставай на колени и поторопись, иначе мы тебя бросим, предупреждаю, через полчаса уже наступит ночь.

– Да ведь ему все равно, день или ночь, – насмешливо сказал Хромуля. – У этого господина ставни всегда закрыты, он боится испортить цвет лица.

– Хорошо, вот я на коленях. Прости меня, Сычиха... и прости меня ты, Хромуля. Теперь ты довольна? – спросил бандит, стоя на коленях посреди дороги. – Теперь ты меня не покинешь, скажи?

Эта странная группа на дороге между крутыми склонами, освещенная красноватыми отсветами заката, была ужасна и отвратительна.

Посреди дороги стоял на коленях Грамотей, умоляюще протягивая к кривой Сычихе могучие руки; густая и жесткая шевелюра падала словно грива на его багровый лоб; красные веки, безмерно распахнутые от ужаса, позволяли видеть неподвижные зрачки, потускневшие, стеклянные, мертвые, – взгляд мертвеца.

Его огромные лапы были униженно опущены. Этот коленопреклоненный Геркулес дрожа склонялся перед старухой и мальчишкой.

Кривая Сычиха, закутанная в красную клетчатую шаль, в старом чепце из черного тюля, из-под которого вылезали седые пряди, возвышалась над Грамотеем во весь рост. Ее костлявое лицо с крючковатым носом, старое и обветренное, все в морщинах и пятнах, выражало циничную, жестокую радость; единственный красно-желтый глаз сверкал, как пылающий уголек; хищный оскал губ под длинными волосками обнажал три-четыре пожелтевших и полуогнивших зуба.

Хромуля в своей блузе с кожаным поясом стоял на одной ноге, опираясь на Сычиху, чтобы сохранить равновесие.

Болезненное и хитрое лицо этого мальчишки, такое же серо-желтое, как его волосы, выражало в этот момент насмешливую, дьявольскую жестокость.

Тень от придорожного склона еще более увеличивала ужас этой сцены, которую уже заволакивали сумерки.

– Пообещайте хотя бы не бросать меня! – повторил Грамотей, испуганный молчанием Сычихи и Хромули, которые наслаждались его страхом. – Неужели вы уже ушли? – прибавил убийца, наклоняясь, чтобы прислушаться, и машинально протягивая вперед руки.

– Нет, нет, мой голубчик, мы здесь, не бойся. Покинуть тебя? Да скорее я поцелуюсь с костлявой. Давай я тебя раз навсегда успокою и объясню, почему не покину тебя никогда. Слушай хорошенько: я всегда обожала кого-нибудь мучить, запускать в кого-нибудь мои когти, в человека или зверя. Еще до Воровки, – пусть *пекарь* вернет ее мне, потому что мне до сих пор хочется умыть ее серной кислотой! – так вот, до Воровки был у меня мальчишечка, который не выдержал и загнулся, за что меня и упекли на шесть лет за решетку. Все эти шесть лет в тюрьме я мучила птиц: сначала приманивала, а потом оципывала живьем... Но с них было мало толку, они быстро подыхали. Когда я вышла из тюрьмы, в мои когти попала Певунья,

но эта нищенка ухитрилась сбежать, когда я могла бы еще с ней позабавиться. Потом у меня была собачка, которой досталось все, от чего сбежала девчонка; под конец я отрубила ей одну заднюю лапу и одну переднюю: из-за этого она так смешно ковыляла, так перекатывалась, что я едва не померла от хохота.

«Так и я сделаю с той собакой, которая меня укусила», – пообещал себе колченогий.

– Когда я встретила тебя, голубчик, – продолжала Сычиха, – я домучивала кошку... Так вот, отныне ты будешь моей кошкой, моей собакой, моей птичкой, моей Воровкой; в общем, будешь моей «тварью страждущей»... Понимаешь, душегубчик, вместо того чтобы мучить птицу или пытаться ребенка, теперь я смогу позабавиться с волком или тигром, ведь это куда интересней, что скажешь?

– Старая ведьма! – вскричал Грамотей и в ярости вскочил на ноги.

– Полно, ты опять дуешься на свою старушку. Ну что же, покинь ее, ты сам себе господин. Я не стану на тебя сердиться за предательство.

– Да, уходи, дверь открыта! Беги не глядя все прямо! – сказал Хромуля и разразился хохотом.

– Лучше умереть, умереть! – закричал Грамотей, ломая руки.

– Ты повторяешься, мой милый, ты уже это говорил. И не болтай чепухи! Ты здоров как буйвол, так что оставь, ты проживешь еще долго на радость твоей Сычихе. Я тебя буду мучить время от времени, потому что в этом моя радость, и к тому же ты должен отрабатывать хлеб, которым я тебя кормлю. А если будешь умником, я буду брать тебя на хорошие дела, как сегодня, и, может быть, на другие, повыгоднее, где ты сможешь пригодиться. Короче – ты будешь моим зверем, моим псом. Я прикажу тебе: принеси! И ты принесешь. Я прикажу: загрызи! И ты загрызешь. Но только вот что, милый, я вовсе не хочу тебя принуждать. Если вместо того, что я тебе предлагаю, ты предпочтешь жить на ренту, кататься в карете со смазливой дамочкой, получать ордена и должности вроде «главного соглядатая»⁸² и прозреть, а не оставаться слепым, – пожалуйста, не стесняйся! Ведь это так легко! Стоит тебе пожелать – и все тебе преподнесут на блюдечке... Не правда ли, Хромуля?

– На блюдечке и горяченькое, только скажи! – со смехом поддержал ее сын Краснорукого.

Но вдруг он склонился к земле и тихо проговорил:

– Я слышу шаги на тропинке. Прячемся! Это не наша девчонка, потому что идут с той стороны, откуда она пришла.

И действительно, через несколько минут на тропинке появилась крепкая, еще молодая крестьянка с накрытой корзиной на голове; за ней бежала большая собака с фермы. Они пересекли дорогу и поднялись по тропе, по которой недавно прошли священник и Певунья.

Присоединимся к этим двум персонажам и оставим пока трех сообщников в их засаде на овражной дороге.

⁸² Верховного судьи.

Глава II. Дом священника

Последние лучи солнца угасали за массивными стенами замка Экуен и окружающими его лесами. Повсюду вокруг, насколько хватал глаз, простирались обширные поля с коричневыми бороздами, уже отвердевшими от заморозков, безмерное безлюдное пространство, среди которого деревушка Букеваль казалась оазисом жизни.

Прозрачное, чистое небо на западе прочертили длинные пурпурные полосы – верный признак ветров и холодов. Багряные тучи, яркие и пылающие, по мере приближения сумерек становились фиолетовыми.

Тонкий, четкий полумесяц, похожий на половинку серебряного кольца, тихо засветился на темно-лазурном небосводе.

Был торжественный час, царила глубокая тишина.

Священник приостановился на вершине холма полюбоваться прекрасным закатом.

Несколько минут он стоял, погруженный в глубокие размышления, затем простер дрожащую руку к далям, наполовину затянутым вечерним туманом, и сказал, обращаясь к Лилии-Марии, которая в задумчивости следовала за ним:

– Взгляни, дитя мое, на эту беспредельность: у нее нет границ!.. И не слышно ни малейшего звука... Мне кажется, безмолвие и бесконечность – это символ вечности... Я говорю тебе это, Мария, потому что ты чувствуешь красоту природы. Часто я с умилением смотрел, с каким благоговейным восторгом ты любовалась этими красотами... ты, столь долго лишенная возможности их созерцать. Наверное, тебя, как и меня, поражает нерушимый покой этого заката?

Девушка не ответила.

Удивленный кюре обернулся; она плакала.

– Что с тобой, дитя мое?

– Отец мой, я так несчастна!

– Несчастлива? Даже сейчас... несчастна?

– Я знаю, что не могу жаловаться на судьбу после всего того, что вы для меня сделали... и все же...

– И все же?

– Ах, отец мой, простите меня за мою печаль: наверное, она обидит моих благодетелей...

– Послушай, Мария, мы часто спрашивали тебя о причинах твоей печали, которая охватывает тебя временами и очень беспокоит твою приемную мать... Ты не отвечала, и мы не настаивали, хотя твоя тайна нас тоже огорчает, потому что мы не знаем, как облегчить твои страдания.

– Увы, отец мой! Я не могу сказать, что происходит со мной. Так же, как и вы, я вдруг ощутила всю красоту этого вечера, такую мирную и грустную... Сердце мое разбито... Я сейчас заплачу...

– Но что с тобой, Мария? Ты знаешь, как мы тебя любим. Послушай, признайся мне во всем! К тому же я могу сказать тебе: уже близок день, когда госпожа Жорж и господин Родольф станут твоими крестными и обязуются перед богом всегда охранять тебя от всех бед.

– Господин Родольф?.. Тот, кто спас меня? – вскричала Лилия-Мария, молитвенно складывая руки. – Неужели он вновь снизойдет ко мне, даст мне новое доказательство своей доброты? О боже, я ничего не буду скрывать от вас, отец мой, я слишком боюсь оказаться неблагодарной, недостойной.

– Неблагодарной? Недостойной?

– Чтобы вы поняли меня, я должна рассказать о первых моих днях на ферме.

– Я тебя слушаю, говори, пока мы идем.

– Вы будете милосердны, отец мой? То, что я расскажу, может быть, очень нехорошо.

– Господь доказал тебе, что его милосердие безгранично. Мужайся!

Собравшись с мыслями, Лилия-Мария заговорила:

– Когда я узнала здесь, что больше не покину ферму и госпожу Жорж, я подумала, что вижу чудесный сон. Сначала я была словно оглушена таким счастьем и каждый миг думала о господине Родольфе. Очень часто, когда я оставалась одна, словно против своей воли я поднимала глаза к небу, чтобы найти его там и поблагодарить. Да, я виновата, отец мой... Я думала о нем чаще, чем о боге... Ибо он сделал для меня то, что мог сделать только господь. Я была счастлива, счастлива, как человек, избежавший смертельной опасности. Вы и госпожа Жорж были так ко мне добры, что порой мне казалось, что я в самом деле больше достойна жалости, чем порицания.

Кюре посмотрел на Певунью с удивлением. А она продолжала:

– Мало-помалу я привыкла к такой безмятежной, спокойной жизни. Я уже не боялась, просыпаясь, что увижу Людоедку, я спала, как бы сказать, в безопасности. И больше всего мне нравилось помогать госпоже Жорж во всех ее делах, прилежно внимать вашим урокам, отец мой, а еще – слушать ваши проповеди и поучения. Лишь порой мне бывало стыдно за мое прошлое, а в остальное время я думала, что теперь я такая же, как все люди, потому что все были добры ко мне... Но вот однажды...

Рыдания прервали речь Лилии-Марии.

– Прошу тебя, успокойся, бедное дитя! Наберись смелости!

Утерев слезы, Певунья продолжала:

– Вы помните, отец мой, на праздник Всех Святых сюда приезжала со своей дочерью госпожа Дюбрей, арендаторша герцога де Люсене в Арнувиле?

– Конечно, помню. И я был рад, что ты познакомилась с Кларой Дюбрей: у этой девушки много достоинств...

– Это ангел, отец мой, просто ангел! Когда я узнала, что она приедет на несколько дней к нам на ферму, я была так счастлива и только и мечтала о встрече с желанной подругой. И наконец она приехала. Я была в своей комнате, Клара должна была пожить у меня, и я старалась убрать комнату получше. За мной прислали; я вошла в гостиную, сердце мое колотилось. Госпожа Жорж подвела меня к этой юной девушке, такой нежной, скромной и доброй, и сказала: «Мария, вот подруга для тебя!» И госпожа Дюбрей прибавила: «Я надеюсь, что скоро вы будете как две сестрички». Едва ее мать произнесла эти слова, Клара бросилась ко мне и обняла меня. И тогда, отец мой, – продолжала Лилия-Мария, заливаясь слезами, – я не знаю, что со мной вдруг случилось... Но когда нежное, свежее личико Клары прижалось к моей увядшей щеке... эта щека загорелась от стыда... и от раскаяния. Я вспомнила, кем я была... Кто я такая, чтобы меня обнимала юная, честная девушка!.. Мне показалось, что я обманщица, презренная лицемерка...

– Но послушай, дитя мое...

– Ах, отец мой! – вскричала Мария с отчаянием и болью, прерывая священника. – Когда господин Родольф увел меня из Сите, я уже смутно догадывалась, как я низко пала... Но неужели вы думаете, что воспитание, советы и примеры, которые давали мне госпожа Жорж и вы, просвещая мой разум, не объясняли мне, увы, что я была не столько несчастна, сколько виновна?.. До приезда мадемуазель Клары, когда эти мысли терзали меня, я старалась заглушить их, старалась угождать госпоже Жорж и вам, отец мой... Если я краснела от стыда за мое прошлое, то только перед самой собой... Но при виде этой юной девушки, такой прелестной, такой невинной, я поняла, какая пропасть легла навсегда между ею и мной... В первый раз я почувствовала, что существуют шрамы, которые ничто не может сгладить... С того самого дня эта мысль не покидает меня... Что бы я ни делала, она преследует меня, с того самого дня я не знаю ни минуты покоя.

Девушка вытерла глаза, полные слез.

Кюре смотрел на нее с нежностью и состраданием. Потом он заговорил:

– Подумай, дитя мое, если госпожа Жорж рассудила, что ты достойна быть подругой мадемуазель Клары, значит, она считала, что ты заслужила такую дружбу своим хорошим поведением. И, упрекая себя, ты словно упрекаешь свою приемную мать.

– Я это знаю, отец мой, я не права, конечно, но я не могла преодолеть стыд и страх... И это еще не все... Где взять мужества, чтобы договорить до конца?..

– Продолжай, Мария! Пока я вижу: твои сомнения или, скорее, угрызения совести говорят только о доброте твоего сердца.

– Когда Клара поселилась на ферме, я думала, буду радоваться, буду счастлива, что у меня появилась подруга моего возраста, но вместо этого пришла печаль. А Клара, наоборот, была счастлива и весела. Ей устроили постель в моей комнате. В первый же вечер она обняла меня и сказала, что уже полюбила меня, что очень ко мне расположена, и попросила называть ее просто Klarой, как она называет меня Марией. А потом она помолилась и сказала, что будет поминать мое имя в своих молитвах, если я тоже буду поминать ее имя в моих молитвах. Я не могла ей в этом отказать. Мы еще немного поболтали, и она уснула, а я даже не прилегла. Я подошла к ней, я плакала и смотрела на ее ангельское лицо, а потом подумала, что она спит в одной комнате со мной... со мной, найденной в притоне Людоедки среди убийц и воров... Я вся дрожала, словно совершила преступление, меня терзали страхи... Мне казалось, господь когда-нибудь накажет меня за это. Я легла, и мне снились кошмары, я видела ужасные, почти забытые лица Поножовщика, Грамотея, Сычихи, этой одноглазой старухи, которая меня терзала и мучила, пока я была совсем маленькой... О, какая страшная ночь! Господи, какая ночь! Какие ужасные сны!

И Певунья содрогнулась от этих воспоминаний.

– Бедняжка Мария! – с волнением проговорил священник. – Почему же ты раньше не признавалась мне в своих горестях? Я бы помог тебе успокоиться... Но все же продолжай.

– Я уснула поздно; мадемуазель Клара меня разбудила поцелуем, чтобы победить то, что она называла моей недоверчивостью, «холодком», стремясь доказать свою искреннюю дружбу, она решила доверить мне свою тайну. Когда ей исполнится восемнадцать, она станет женой давно любимого ею сына фермера из Гуссенвиля. Их семьи о свадьбе сговорились уже давно. А потом... она мне рассказала кое-что о себе, о своей жизни... Жизни такой простой, спокойной, счастливой... Она никогда не расставалась со своей матерью и не расстанется, потому что ее жених будет возделывать поля фермы вместе с господином Дюбрейем.

«Отныне, Мария, – сказала она мне, – ты знаешь меня как сестра. А теперь расскажи о себе...»

После этих слов я думала, что умру со стыда. Я краснела и бормотала что-то... Я ведь не знала, что госпожа Жорж рассказала обо мне, я боялась подвести ее. А потому ответила, что я сирота, воспитывали меня люди строгие, жестокие даже, и в детстве я была не слишком счастлива и только рядом с госпожой Жорж познала радость жизни. Тогда Клара, скорее из сочувствия, чем из простого любопытства, спросила, где меня воспитывали: в городе или в деревне? Как звали моего отца? И еще она спрашивала, помню ли я мою мать? И каждый ее вопрос смущал меня и причинял мне боль: ибо мне приходилось все время лгать, а вы, отец мой, научили меня, как пагубна и греховна ложь... Но Клара не могла и подумать, что я ее обманываю. Она подумала, что неуверенные и неясные мои ответы – следы горьких воспоминаний детства, Клара мне верила и жалела меня с такой добротой, что мне становилось плохо. Отец мой, вам никогда не понять, сколько я выстрадала за те первые дни, первые разговоры с Klarой! Сколько мне стоило тогда каждое слово лжи и лицемерия!..

– Несчастливая! Да обрушится гнев господний на всех, кто вверг тебя в эту страшную бездну греха и, может быть, заставит всю жизнь раскаиваться в неумолимых последствиях первого падения!

– О да, злодеи этого заслуживают, отец мой, – с горечью продолжала Лилия-Мария. – Ибо отмыть мой позор невозможно. И это еще не все. Клара говорила мне о своем светлом счастье, о близкой свадьбе, о доброй семейной жизни, и я не могла не сравнивать ее судьбу со своей. Потому что, несмотря на всю вашу доброту здесь ко мне, судьба моя неотвратимо несчастна. Вы и госпожа Жорж объяснили мне, что такое добродетель, и в то же время дали понять, как низко я опускалась в прошлом: отныне я пример самого подлого, что может быть в мире, и никто меня в этом не разубедит. Познание зла и добра обошлось мне слишком дорого. Так пусть же свершится моя злосчастная судьба!

– О Мария, Мария!

– Я говорю не то, отец мой? Я не права? Увы! Я не решалась вам в этом признаться... Да, порой я не могу с благодарностью принимать ту бесконечную доброту, с которой вы ко мне относитесь. Мне кажется, мне говорят: если бы тебя не вырвали из бездны унижений, ты бы скоро умерла от нищеты и побоев. Так что же! По крайней мере, я бы умерла, не зная о той чистоте и невинности, о которых я буду горевать всю жизнь.

– Увы, Мария, этого не избежать! Даже такое щедро одаренное создателем существо, как ты, погрузившись однажды в нечистоты, подобные тем, из коих тебя извлекли, будет хранить на себе неизгладимые отметины. Такова непреклонная воля божественного правосудия.

– Вот видите, отец мой! – горестно вскричала Лилия-Мария. – Вы сами сказали: я должна страдать и отчаиваться до самой смерти!

– Ты должна сожалеть, что тебе не удастся вычеркнуть из своей жизни эту горестную страницу, – печально и сурово сказал священник, – но ты должна надеяться и верить в бесконечное милосердие всемогущего. Здесь, на земле, несчастное дитя мое, тебе уготованы раскаяние, слезы, искупление грехов, но когда-нибудь там, – и он воздел руку к небосклону, на котором уже замерцали звезды, – там тебя ждет всепрощение и вечное счастье!

– Сжался, господи, сжался надо мной!.. Я еще так молода и, может быть, проживу еще долго! – воскликнула Певунья душераздирающим голосом и упала на колени, инстинктивно обратившись к священнику.

Он стоял на вершине холма, неподалеку от которого виднелся его дом; черная сутана кюре, его благородное лицо, обрамленное длинными седыми волосами, чуть освещенные последними отсветами заката, вырисовывались силуэтом на фоне поразительно чистого и прозрачного неба, бледно-золотистого на западе и сапфирового на востоке.

Священник поднял дрожащую руку к небесам, а другую протянул Марии, которая обливалась ее слезами.

Капюшон ее серого плаща упал ей на плечи, открыв прелестное лицо девушки, ее прекрасные, умоляющие, полные слез глаза, ее белоснежную шею, окутанную шелковистой волной белокурых волос.

Эта простая и величественная сцена являла разительный контраст и странную аналогию с омерзительной сценой, которая разыгрывалась почти одновременно в глубине овражной дороги между Грамотеем и Сычихой.

Во мраке черного оврага ужасный убийца, заклеянный своими преступлениями, изнемогая от трусости и страха, тоже стоял на коленях... но перед своей сообщницей, насмешливой и мстительной фурией, которая безжалостно терзала его и толкала на новые преступления. Перед той, кто была первой виновницей всех несчастий Лилии-Марии. Лилии-Марии, которую теперь безотрывно мучили угрызения совести.

Но разве нельзя понять глубину ее бесконечных страданий? С раннего детства она жила среди отвратительных, опустившихся, злобных людей; променяла эту клоаку на притон Людоедки, тюрьму еще более страшную; никогда не была свободной, никогда не выходила из темных, зловонных кварталов Сите... Несчастливая девушка всю свою жизнь прожила, ничего не

ведая о красоте и добре и ничего не зная о своих благородных чувствах, столь же непостижимых для нее, как великая красота природы.

И вдруг, без всякого перехода, она меняет это зловонное узилище на уединение прелестной фермы, свое мерзкое существование – на счастливую и мирную жизнь рядом с самыми достойными, самыми добрыми людьми, сочувствующими ее несчастьям.

Иными словами, перед ее пораженной душой вдруг открылось самое восхитительное сочетание прекрасных людей и прекрасной природы. В этом величественном окружении дух ее воспрял, мысль ожила, благородные инстинкты пробудились... И именно потому, что дух ее воспрял, мысль ожила и благородные инстинкты пробудились, она осознала всю глубину своего первоначального падения, ощутила невыразимое страдание и ужас перед своей прошлой жизнью и теперь, увы, понимает, как она сказала, что от этой грязи ей никогда не отмыться...

– Горе мне, горе! – в отчаянии восклицала Певунья. – Даже если вся жизнь моя отныне будет столь же долгой и столь же чистой, как ваша, отец мой, она все равно останется омраченной угрызениями совести и воспоминаниями о прошлом. Горе мне!

– Наоборот, Мария, счастье тебе, счастье той, кому господь ниспошлет это раскаяние, полное горечи, но такое святое! Оно говорит, что душа твоя не погибла для веры. Очень многие, лишенные твоего душевного благородства, постарались бы на твоём месте поскорее забыть свое прошлое, чтобы спокойно наслаждаться радостями настоящего. Твоя нежная душа страдает, а вульгарная и грубая не испытала бы ни малейшей боли. Но все твои страдания будут тебе зачтены там, на небесах! Поверь мне, господь не оставит тебя ни на миг на твоём грешном пути, чтобы тебе досталась слава раскаяния и вечное блаженство во искупление!

Не тебе ли сказал сам господь: «Кто творит добро без борьбы и приходит ко мне с улыбкой на устах – тот избранный; но кто ранен в борьбе и приходит ко мне окровавленный и увечный – избранные из моих избранных!..» Поэтому мужайся, дитя мое!.. Надейся на нашу поддержку, опору и совет... Я уже слишком стар, но госпожа Жорж и господин Родольф проживут еще долгие годы. Особенно господин Родольф, который проявляет к тебе такой искренний интерес... и с таким благосклонным вниманием следит за твоими успехами. Скажи, Мария, неужели ты когда-нибудь пожалеешь, что повстречалась с ним?..

Певунья уже хотела ответить, но ее прервала крестьянка, о которой мы уже упоминали: по той же тропинке, по которой раньше прошли священник и девушка, она теперь догнала их. Это была одна из служанок с фермы.

– Извините меня, господин кюре, – проговорила она. – Прошу прощения, но госпожа Жорж велела мне отнести вам эту корзину с фруктами и еще велела проводить мадемуазель Марию домой, потому что уже темнеет, а я взяла с собой Турка, – добавила крестьянка, потрепав по голове огромную пиренейскую овчарку, которая не боялась бы схватиться и с медведем. – Хоть у нас и не бывает злых людей на дорогах, но с Турком все-таки спокойней.

– Ты права, Клодина; к тому же мы уже почти дошли до моего дома. Поблагодари от меня госпожу Жорж.

Затем, понизив голос, кюре серьезным тоном сказал Певунье:

– Завтра мне нужно на приходский совет, но к пяти часам я вернусь. Если хочешь, я буду ждать тебя, дитя мое. Насколько я понимаю, в твоём состоянии духа тебе необходимо о многом поговорить со мной.

– Благодарю вас, отец мой, – ответила Лилия-Мария. – Вы так добры, и завтра я обязательно приду.

– А вот мы и дошли до калитки сада! – сказал священник. – Оставь здесь корзину, Клодина, моя домоправительница ее захватит. Возвращайся поскорее на ферму вместе с Марией: уже почти ночь и холодает заметно. До завтра, Мария, в пять часов!

– До завтра, отец мой.

Кюре вошел в сад.

Певунья и Клодина двинулись по тропинке к ферме, и Турок бежал за ними не отставая.

Глава III. Встреча

Наступила ночь, холодная и ясная.

По совету Грамотея Сычиха вместе с ним выбрала на овражной дороге место подальше от тропинки на ферму и поближе к перекрестку, где их ждал Крючок.

Хромуля остался у тропинки, поджидая возвращения Лилии-Марии, которую он должен был завлечь в эту западню, умоляя помочь несчастной старой женщине.

Сын Краснорукого на несколько шагов поднялся с дороги на тропинку, но вдруг навести уши и замер: он услышал издали Певунью, которая о чем-то говорила с Клодиной.

Значит, Певунья не одна, значит, все пропало! Колченогий поспешил спуститься на дорогу и поспешно заковылял к тому месту, где пряталась Сычиха.

– Кто-то идет вместе с девчонкой! – тихо проговорил он, еле переводя дыхание.

– Чтобы ей подохнуть в петле, этой нищенке! – в ярости зашипела Сычиха.

– С кем она идет? – спросил Грамотей.

– Наверняка с той самой крестьянкой, которая только что прошла по тропинке с большой собакой. Я различил женский голос, – ответил Хромуля. – Да слушайте, слушайте! Слышите, как стучат их сабо?

И в самом деле, в ночной тишине издали доносился стук деревянных подошв по схваченной заморозком земле.

– Их двое... Я могу справиться с девчонкой в сером плаще, но как быть с другой? Мой хитрец ничего не видит, а колченогий слишком слаб, чтобы «утихомирить» эту деревенщину, чтобы черт ее задушил! Что делать? Что делать? – повторяла Сычиха.

– Да, я не очень силен, но если вы хотите, я брошусь под ноги этой крестьянке с собакой, я вцеплюсь в нее руками и зубами и не выпущу, будь что будет!.. А за это время вы утащите девчонку...

– А если они поднимут крик, если будут сопротивляться, их услышат на ферме и успеют прибежать на помощь раньше, чем мы доберемся до кареты Крючка. Не так-то просто нести женщину, которая отбивается!

– Да еще с ними эта большущая собака! – добавил Хромуля.

– Ба, ерунда! – возразила Сычиха. – Если бы только собака, я бы ей выбила зубы одним ударом сабо!

– Они приближаются, – пробормотал колченогий, прислушиваясь к отдаленным шагам. – Сейчас они спустятся на дорогу...

– Да скажи ты хоть слово! – обратилась Сычиха к Грамотею. – Что нам теперь делать, хитрец, посоветуй! Ты что, проглотил язык?

– Сегодня ничего нельзя сделать, – ответил слепой бандит.

– А тысяча франков господина в трауре? – вскричала Сычиха. – Значит, они фу-фу, улетели? Не больно часто такое предлагают... Нет, хитрец! Твой нож, дай мне твой нож! Я прикончу деревенщину, чтобы она нам не мешала, а девчонку мы с Хромулей как-нибудь оглушим и заткнем ей рот.

– Но человек в трауре не думал, что кого-то придется убивать...

– Так что же? Эту кровь мы тоже запишем ему в счет, и он доплатит, потому что станет нашим сообщником.

– Вот они... – прошептал колченогий. – Спускаются в овраг, на дорогу...

И вдруг он воскликнул в ужасе, протягивая к Сычихе руки:

– Нет, не надо убивать, это уж слишком! Я не могу!..

– Давай свой нож, говорю тебе! – тихо повторила Сычиха, не обращая внимания на мольбы Хромули и торопливо разуваясь. – Я скину башмаки и покрадусь за ними, как волчица.

Они меня не услышат. Правда, уже темно, но я различу девчонку по ее плащу и прикончу ту, вторую.

– Нет, – возразил слепой убийца. – Сегодня это уже ни к чему. Подождем, завтра еще будет время.

– Ты боишься, несчастный трус! – прошипела Сычиха со злобой и презрением.

– Я не боюсь, – ответил Грамотей, – но ты можешь промахнуться, и все будет потеряно.

Собака крестьянки, несомненно, почуяла затаившихся на овражной дороге людей, оставилась как вкопанная и яростно залаяла, не обращая внимания на призывы Лилии-Марии.

– Ты слышишь их собаку? Вот она, скорее давай нож... А не то!.. – с угрозой вскричала Сычиха.

– Ну что ж, подойди, попробуй взять его... силой, – усмехнулся Грамотей.

– Все кончено! Мы опоздали! – воскликнула Сычиха, прислушиваясь к удаляющимся шагам. – Они уже прошли... Ты мне заплатишь за это, висельник! – добавила она, размахивая кулаком. – Тысяча франков пропала, и все из-за тебя!

– Наоборот! – уверенно возразил Грамотей. – Мы получим тысячу, две тысячи, а может быть, и три. Слушай меня, Сычиха, и ты поймешь, что я был прав, когда не дал тебе нож... Ты сейчас отправишься к Крючку, и вы вдвоем поедете в его фиакре к назначенному месту, где вас ждет господин в трауре... Вы ему скажете, что сегодня ничего не удалось, но завтра мы похитим девчонку.

– А ты что будешь делать? – спросила Сычиха, все еще не остыв от злости.

– Слушай дальше: девчонка каждый вечер одна провожает священника; сегодня за ней пришла крестьянка, но это чистая случайность, и завтра нам, наверное, больше повезет. Поэтому завтра ты в этот же час вернешься на тот же перекресток с Крючком и его каретой.

– А ты, что будешь делать ты?

– Хромуля отведет меня на ферму, где живет эта малютка. Хромуля скажет, что мы заблудились, что я его отец, бедный рабочий-механик, ослепший из-за несчастного случая на работе, что мы идем в Лувр к родственникам, которые нам помогут, а заблудились мы потому, что хотели пройти более короткой дорогой через поля. Мы попросимся переночевать на ферме, где-нибудь в амбаре. В этом никто никогда не отказывает. Эти крестьяне поверят нам и пустят на ночлег. Хромуля тем временем как следует осмотрит все окна и двери в доме: у этих людей в такое время всегда хранятся денежки для оплаты за аренду. Уж я-то знаю, у самого была когда-то земляца, – добавил он с горечью. – Сейчас середина января... самое подходящее время, когда рассчитываются со всеми долгами. Вы говорили, ферма стоит на отшибе... Мы разведаем все входы и выходы и сможем сюда вернуться с друзьями. Это дельце верное!

– Ну и голова у тебя, Чертушка! – воскликнула Сычиха, сменяя гнев на милость. – Продолжай, хитрец.

– Назавтра утром, вместо того чтобы покинуть ферму, я притворюсь, что не могу идти от боли. Если мне не поверят, я покажу им язву, которая не заживает с тех пор, как мне натерли ее кандалы, – она меня в самом деле все время мучит. Но им я, конечно, скажу, что это после ожога раскаленным железом, когда я еще был механиком, и они мне поверят. Так я проведу на ферме еще часть дня, чтобы Хромуля успел осмотреть все как следует. К вечеру, когда наша крошка, как обычно, отправится провожать священника, я скажу, что мне лучше, и мы пойдем дальше. Но вместо этого мы с Хромулей будем издали следить за девчонкой, чтобы встретить ее на обратном пути в этом же месте на овражной дороге. Она нас увидит, но ничего не заподозрит, потому что уже нас видела и знает... Мы заговорим с ней, а когда она приблизится ко мне, чтобы я мог достать ее рукой... Тут уж я за себя отвечаю: она не вырвется, и тысяча франков будет у нас в кармане... А дня через два-три мы поручим дельце с фермой Крючку

или кому-нибудь еще и, если там что-нибудь найдется, получим свою долю, потому что мы дали наводку⁸³.

– Ах ты мой умник безглазый, с тобой никто не сравнится! – воскликнула Сычиха, обнимая Грамотея. – Но что, если девчонка завтра вечером не пойдет провожать священника?

– Будем ждать ее послезавтра, и сколько потребуется: такое блюдо не едят горячим и второпях, чтобы не обжечься. К тому же все это мы припишем к счету господина в трауре. И еще: пока я буду на ферме, я узнаю из разговоров, сумеем ли мы похитить девчонку по нашему плану. И если нет – придумаем другой.

– Согласна, хитрец. Твой план хорош. И знаешь, душегубчик, когда ты станешь совсем немощным, мы тебя сделаем нашим главным советчиком, и ты будешь зарабатывать не меньше любой «тюремной крысы»⁸⁴. Поцелуй же свою совушку-Сычиху и поспеши, а то эти крестьяне на фермах ложатся спать в одно время с курами. А я побегу к Крючку. Завтра в четыре мы будем на перекрестке с его таратайкой, если только его не загребут за то, что он пришел мужа молочницы на Старосуконной улице... Но если не Крючок, со мной поедет еще кто-нибудь, потому что этот фальшивый фиакр принадлежит господину в трауре и он им уже не раз пользовался. Через четверть часа после приезда на перекресток я доберусь сюда и здесь буду тебя ждать.

– Хорошо, Сычиха. До завтра!

– Постой, я же забыла дать воску Хромуле, чтобы он снял на ферме отпечатки с ключей! Ты, надеюсь, умеешь это, малыш? – спросила одноглазая, подавая Хромуле кусок воска.

– Умею, конечно, ничего нет проще: папаша показал мне, как это делается. Я для него сделал отпечатки замка маленькой железной шкатулки, которую мой хозяин, фокусник-шарлатан, хранит в своей черной комнате.

– Тогда в добрый час! И чтобы воск не приклеился, когда ты его разогреешь в руке, не забудь его смочить.

– Знаю, знаю! – ответил Хромуля. – Вы видите, я готов сделать все, что вы скажете, и все потому, что вы ведь меня любите хоть немножко, не правда ли? Хоть чуть-чуть, Сычиха?

– Еще бы тебя не любить! Да я тебя люблю, как сына покойного Наполеона!!! – сказала Сычиха, обнимая и целуя Хромулю, безмерно польщенного этим сравнением с наследником императора. – Итак, до завтра, душегубчик!

– До завтра, – повторил Грамотей.

Сычиха поспешила к перекрестку, где ее ждал Крючок с фиакром.

Грамотей с Хромулей выбрались из овражной дороги и пошли по тропинке в сторону фермы; свет ее окон указывал Хромуле путь.

Поразительная игра судьбы приближала таким образом Ансельма Дюренеля к его супруге, которую он не видел с тех пор, как был приговорен к каторжным работам.

⁸³ Подготовили, указали место кражи.

⁸⁴ Адвокаты.

Глава IV. Вечер на ферме

Что может больше обрадовать сердце путника, чем зрелище очага на большой ферме в час вечерней трапезы, особенно зимой? Что может больше сказать сердцу о покое и достатке сельской жизни?

Ответом на наши риторические вопросы могла бы послужить кухня фермы Букеваль в этот январский вечер.

Ее огромный камин, высотой в шесть футов и шириной в восемь, походил на большие каменные ворота, распахнутые на пылающее горнило: в почерневшей золе очага пылал настоящий костер из дубовых и буковых поленьев. Этот огромный костер согревал и освещал все уголки кухни, так что свет лампы, подвешенной к средней потолочной балке, в общем-то был ни к чему.

Большие котлы и кастрюли из красной меди, расставленные на полках, сверкали чистотой; старинный кувшин из того же металла сиял, как пылающее зеркало, рядом с квашней из орехового дерева, от которой исходил аппетитный запах свежего хлеба. Длинный массивный стол, накрытый необычайно чистой скатертью грубого полотна, занимал всю середину кухни; место каждого отмечали его фаянсовые тарелки, коричневые снаружи и белоснежные внутри, а также его приборы из простого металла, начищенные и блестящие, словно серебро.

Посередине стола большая супница с овощной похлебкой дымилась, как кратер вулкана, застилая ароматным паром огромное блюдо тушеной капусты с ветчиной и такое же, не менее внушительное, блюдо бараньего рагу с картошкой; и, наконец, целая четверть жареного тельника с двумя зимними салатами, обрамленная двумя корзинами с яблоками и сырами двух сортов, завершали симметрию изобилия этого ужина. Три или четыре кувшина с искрящимся сидром и столько же круглых хлебов, каждый величиной с мельничный жернов, были выставлены для работников фермы.

Старая, почти беззубая собака из породы черных грифонов, почетный старейшина всего собачьего рода фермы, получила за свой возраст и бывшие заслуги право оставаться в доме, в уголке возле камина. Незаметно и скромно пользуясь своей привилегией, она лежала, положив морду на вытянутые лапы, и внимательно следила за разными кулинарными приготовлениями, которые предшествовали ужину.

Эта почтенная псина откликнулась на несколько буколическую кличку Лисандр.

Возможно, такая повседневная трапеза на ферме, при всей ее незатейливости, показалась бы слишком роскошной, однако г-жа Жорж, верно следуя в этом советам Родольфа, как могла, скрашивала участь своих работников, набранных среди самых честных и трудолюбивых крестьян округи. Им щедро платили, и судьба их считалась завидной и счастливой, поэтому каждый хороший земледелец мечтал попасть на ферму Букеваль, а их невинное честолюбие, в свою очередь, помогало хозяевам, у которых они работали, потому что поступить на освобожденное на ферме место можно было только с наилучшей рекомендацией.

Таким образом Родольф создавал в очень маленьком масштабе своего рода образцовую ферму, предназначенную не только для улучшения породы скота и сельскохозяйственных методов, но прежде всего для улучшения людей, и он достигал своей цели, заставляя людей быть активнее, изобретательнее и честнее.

Закончив все приготовления к ужину и поставив на стол чашу старого вина на десерт, кухарка фермы позвонила в колокол.

На этот радостный призыв все работники фермы, слуги, коровницы и птичницы, числом в десять-пятнадцать человек, весело поспешили в кухню. У мужчин был открытый, мужественный вид, женщины отличались здоровьем и привлекательностью, девушки – резвостью и весельем; все были в хорошем настроении, их простые, добродушные лица дышали спокой-

ствием и удовлетворенностью. С наивным вождением готовились они воздать честь этим яствам, справедливо заслуженным за день неустанных трудов.

Во главе стола сел старый работник с седыми волосами, с честным лицом, открытым и смелым взглядом и слегка насмешливым ртом; типичный крестьянин, здравомыслящий, скрытный и прямой, решительный и прозорливый, деревенский хитрец, в котором издали ощущалась старая галльская закваска.

Дядюшка Шатлэн, – так звали этого патриарха, – с детства не покидал этой фермы и сейчас был главным над всеми работниками. Когда Родольф купил ферму, ему справедливо рекомендовали старого слугу; он оставил его у себя и поручил под началом г-жи Жорж надзирать за сельскохозяйственными работами. Дядюшка Шатлэн пользовался у работников фермы высоким уважением благодаря своему возрасту, знаниям и опыту.

Все крестьяне уселись на свои места.

Громко прочитав застольную молитву, дядюшка Шатлэн по древнему святому обычаю перекрестил один из хлебов кончиком своего ножа и отрезал ломоть, который считался ломтем Богородицы или хлебом для бедняка; затем он налил стакан вина, тоже перекрестил его и все поставил на тарелку, которую благоговейно поместили на середине стола.

В этот момент сторожевые псы разразились громким лаем; старый Лисандр ответил им глухим рычанием, вздернув верхнюю губу и показывая два еще внушительных клыка.

– Кто-то идет вдоль ограды двора, – сказал дядюшка Шатлэн. Едва он произнес эти слова, зазвонил колокольчик у главных ворот.

– Кто бы это мог быть так поздно? – удивился старый работник. – Все наши давно вернулись... Поди посмотри, Жан-Рене!

Жан-Рене, наверное, самый юный на ферме работник, со вздохом сожаления опустил в тарелку с обжигающим супом свою огромную ложку, на которую дул с такой силой, что ему позавидовал бы сам бог ветра Эол, встал и вышел из кухни.

– Что-то давненько уже госпожа Жорж и мадемуазель Мария не приходили к нам во время ужина посидеть в уголке у огня, – заметил дядюшка Шатлэн. – Я голоден как волк, но без них мне не очень хочется есть.

– Госпожа Жорж поднялась в комнату мадемуазель Марии, потому что, проведив господина кюре, мадемуазель почувствовала себя нехорошо и легла пораньше, – объяснила Клодина, та самая крепко сбитая крестьянка, которая проводила Певунью от дома священника и тем самым разрушила зловещие замыслы Сычихи.

– Надеюсь, наша добрая мадемуазель Мария не занемогла? – с надеждой и беспокойством спросил старый крестьянин.

– Нет, нет, слава тебе господи, дядюшка Шатлэн! Госпожа Жорж сказала, что это пустяки, – ответила Клодина. – Иначе госпожа Жорж послала бы в Париж за господином Давидом, тем самым черным доктором, который уже лечил мадемуазель, когда она в самом деле болела... И все равно не могу я понять: доктор – и вдруг чернокожий! Если бы я захворала, я бы ему ни за что не доверилась. Другое дело белый врач, пожалуйста... он все-таки христианин.

– Разве доктор Давид не вылечил мадемуазель Марию, которая первое время угасала на глазах?

– Да, дядюшка Шатлэн, вылечил.

– Так в чем же дело?

– Да, дядюшка Шатлэн, но подумайте сами, черный доктор, совсем черный...

– Послушай, дочка, какой масти корова Мюзетта?

– Она белая, дядюшка Шатлэн, белая, как лебедушка, и к тому же такая дойная, что за нее можно не краснеть.

– А твоя корова Розетта?

– Черная, как ворон, и тоже дает вдоволь молока: надо ко всем быть справедливой.

- А молоко твоей черной коровы, какого оно цвета?
 - Ну конечно, белое, дядюшка Шатлэн, это же понятно, белое как снег.
 - Такое же белое, как у Мюзетты?
 - Да, дядюшка Шатлэн.
 - Хотя сама Розетта совсем черная?
 - Да, хотя Розетта черная... Но при чем здесь молоко? Коровы могут быть какие угодно: черные, рыжие или белые...
 - Значит, разницы никакой?
 - Совсем никакой, дядюшка Шатлэн.
 - Так вот скажи мне, дочка, почему черный доктор должен быть хуже белого?
 - Право, не знаю, дядюшка Шатлэн. Наверное, из-за цвета кожи, – ответила молодая крестьянка в глубоком смущении. – Но если уж черная Розетта дает такое же хорошее молоко, как белая Мюзетта, значит, дело не в масти.
- Эти физиогномические рассуждения Клодины о различиях белой расы и черной были прерваны возвращением Жана-Рене, который дул себе на озябшие пальцы с такой же силой, как перед этим дул на горячий суп.
- У, какой холодище! Какая холодная ночь!.. Морозит так, что земля трескается, – проговорил он, входя. – В такую ночь лучше быть в доме, чем на дворе. Ну и холодище!
 - Когда заморозки начинаются с восточным ветром, холода будут долгие и жестокие, ты должен это знать, мой мальчик. Но кто там звонил? – спросил старейшина работников.
 - Несчастный слепой и мальчишка, который его водит, дядюшка Шатлэн.

Глава V. Гостеприимство

– Чего он хочет, этот слепой? – спросил дядюшка Шатлэн Жана-Рене.

– Этот бедный человек и его сын хотели срезать путь по дороге в Лувр и заблудились в полях. А поскольку холод собачий и ночь хоть глаз выколи, потому что небо затягивает тучами, слепой и его сын просят переночевать на ферме где-нибудь в уголке хлева.

– Госпожа Жорж так добра, что никогда не отказывает в гостеприимстве несчастным. Она, конечно, согласится пустить на ночлег этих бедняг... но надо ее предупредить. Сходи к ней, Клодина!

Клодина исчезла.

– Где он сейчас, этот добрый человек? – спросил дядюшка Шатлэн.

– Ждет в маленьком амбаре.

– Зачем же ты запер их в амбаре?

– Если бы он остался на дворе, собаки разорвали бы его на куски вместе с его мальчонкой. Да, дядюшка Шатлэн, напрасно я кричал и кричал: «Тихо, Медор! Ко мне, Турок!.. Назад, Султан!..» Никогда еще я их не видел в такой ярости. А ведь у нас на ферме их не учили рвать бедняков, как в других местах...

– Ей-богу, мы сегодня не зря выделили кусок хлеба и глоток вина для бедняка... Потеснитесь немножко... Вот так! Поставим еще два прибора, для слепого и его сына, потому что госпожа Жорж наверняка позволит им переночевать у нас.

– И все же непонятно, почему собаки так разъярились, – проговорил Жан-Рене. – Особенно Турок, которого Клодина взяла с собой, когда ходила в дом священника... Он словно взбесился!.. А когда я его гладил, чтобы успокоить, шерсть на его спине стояла дыбом, как иглы у ежа. Что вы на это скажете, дядюшка Шатлэн? Вы ведь все знаете...

– Скажу тебе, сынок, что, хоть я знаю много, животные знают больше нас... Помнишь, ураган этой осенью превратил нашу маленькую речку в настоящий поток? Ночь была непроглядная, а я как раз возвращался с поля с моими рабочими лошадьми. Ехал я на старом рыже-саврасом жеребце, но черт меня побери, если я знал, где нам перебраться через реку вброд! Темно было, как в печи! Так вот, опустил я повод на шею старого саврасого, и он сам отыскал брод, которого в такой тьме не нашел бы ни один человек... Но кто его этому научил?

– Да, дядюшка Шатлэн, кто научил старого саврасого?

– Тот же, кто научил ласточек лепить гнезда под карнизами, а трясогузок вить гнезда в камышах, мой мальчик... Так что там? – обратился старый пророк к Клодине, которая появилась, неся под каждой рукой по паре белоснежных одеял, сразу наполнивших кухню свежим запахом шалфея и вербены. – Госпожа Жорж велела накормить несчастного слепого и его сына ужином и оставить переночевать, не правда ли?

– Вот одеяла, мне велено постелить им в маленькой комнате в конце коридора, – ответила Клодина.

– Так пойдя же за ними, Жан-Рене!.. А ты, дочка, пододвинь два стула к огню, пусть согреются, прежде чем сесть за стол, потому что холод этой ночью жестокий.

Снова послышался яростный лай собак и голос Жана-Рене, который пытался их успокоить. Дверь в кухню внезапно распахнулась. Грамотей вместе с Хромулей вошли так поспешно, словно спасались от погони.

– Придержите ваших собак! – злобно закричал Грамотей. – Они чуть нас не искусили.

– Они оторвали у меня кусок блузы, – добавил Хромуля, все еще бледный от страха.

– Простите, добрый человек, – сказал Жан-Рене, закрывая дверь. – Но я никогда не видел наших собак в такой ярости... Наверное, это холод их так обозлил, вот они и готовы покусать кого угодно, чтобы согреться... Глупые животные!

– Эй, и этот туда же! – воскликнул крестьянин, удерживая старого Лисандра, который с грозным рычанием пытался броситься на чужаков. Он услышал, как другие собаки заходятся от злости, и последовал их примеру. – А ну, ложись на место, старый разбойник, ложись, говорят тебе!

Дядюшка Шатлэн сопроводил свои слова добрым пинком, и Лисандр, все еще ворча, вернулся в свой любимый уголок возле очага.

Грамотей и Хромуля стояли у дверей, не решаясь сделать и шага.

Закутанный в синий плащ с меховым воротником, в шапке, глубоко надвинутой на черную повязку, почти закрывавшую ему лоб, бандит крепко держал за руку Хромулю, который жался к нему, с опаской глядя на крестьян: их честные лица сбивали его с толку и внушали страх.

У дурных натур тоже есть свои симпатии и антипатии.

Черты Грамотея были столь безобразны, что обитатели фермы на миг оцепенели, одни от ужаса, другие от отвращения. Это не ускользнуло от Хромули, и страх крестьян вернул ему уверенность, он был даже горд, что его спутник вызывает у них ужас. Но дядюшка Шатлэн, справившись с первым впечатлением, вспомнил о долге гостеприимства и обратился к Грамотею:

– Подойди к огню, добрый человек, и сначала согрейся. Потом вы оба поужинаете с нами, потому что мы как раз садились за стол. Устраивайтесь вон там! Ох, простите, я не подумал! – спохватился дядюшка Шатлэн. – Мне бы надо было обратиться не к вам, а к вашему сыну, потому что вы, к несчастью, незрячий. Послушай, сынок, подведи твоего отца к очагу.

– Хорошо, мой добрый господин, – ответил Хромуля гнусавым голосом, полным лицемерного смирения. – Да воздаст вам господь за вашу доброту и милосердие!.. Иди за мной, бедный папочка, иди сюда, осторожнее...

И мальчишка повел за собой слепого бандита.

Оба приблизились к камину.

Сначала Лисандр встретил их глухим ворчанием, но, учуяв вблизи запах Грамотея, он внезапно взвыл душераздирающе и страшно: по общему поверью, так воют собаки, когда чувствуют смерть.

«Дьявольщина, – проворчал про себя Грамотей. – Неужели они унюхали кровь, эти проклятые псы? Ведь на мне те же самые штаны, что и в ту ночь убийства торговца быками...»

– Ничего не могу понять, – тихо проговорил Жан-Рене. – Лисандр обнюхал этого человека и воет, как по покойнику.

И тут произошло нечто странное.

Завывания Лисандра были такими жуткими и пронзительными, что его услышали другие собаки, – кухню отделяло от двора только застекленное окно без второй рамы, – и, по обычаю собачьего племени, хором присоединились к его жалобному вою.

Работники молочной фермы не были слишком суеверны, однако сейчас они переглядывались почти с ужасом.

В самом деле, происходило что-то необычное.

На ферму пришел человек, на которого невозможно было смотреть без страха и отвращения. И тотчас до сих пор мирные, добрые псы словно взбесились и теперь зловеще воют, предвещая, по народным поверьям, чью-то близкую смерть.

Даже сам бандит, несмотря на всю свою закоренелость и дьявольское бесстрашие, содрогнулся, услышав этот страшный, погребальный вой, вызванный его появлением... появлением убийцы.

Один Хромуля, циничный и наглый, истинный парижский сорванец, впитавший яд безверия, так сказать, с молоком матери, остался насмешливо-равнодушен. Когда страх, что

собаки его покусают, прошел, этот колченогий недоносок совершенно успокоился и теперь с издевкой смотрел на перепуганных обитателей фермы и на потрясенного Грамотея.

Наконец, очнувшись от оцепенения, Жан-Рене выбежал на двор, и вскоре послышалось шелканье его кнута, быстро рассеявшего мрачные предчувствия Султана, Турка и Медора. Постепенно омраченные лица крестьян прояснились, и вскоре ужасное безобразие бандита перестало внушать им страх, а вызывало скорее жалость. Точно так же они с сочувствием смотрели на хромого мальчишку, обиженного судьбой; им нравилась его хитрая мордочка, и они искренне хвалили его за трогательную заботу о слепом отце...

Аппетит крестьян пробудился с новой силой, и в течение нескольких минут за столом слышалось только звяканье вилок и ложек.

Храбро расправляясь со своими деревенскими яствами, работники и коровницы с нежностью поглядывали, как маленький уродец ухаживает за слепым, сидя с ним рядом. Хромуля подавал ему лакомые кусочки, нарезал хлеб, подливал сидра – и все это с поистине сыновней любовью и вниманием.

Но эта была лишь одна сторона медали. А на обороте...

Не столько из жестокости, сколько из духа подражания, свойственного его возрасту, Хромуля находил злобную радость в том, чтобы терзать Грамотея по примеру Сычихи, которую он по-своему преданно любил и старался во всем на нее походить. Но откуда у этого извращенного мальчишки такая потребность в любви? Почему его делали счастливым скупые нежности одноглазой Сычихи? Почему, наконец, его до сих пор волновали воспоминания о материнских ласках? Это было одно из тех неизгладимых воспоминаний, которые доказывают, что порок никогда не бывает монолитен, что и в нем есть трещины.

Мы уже сказали, что Хромуля, так же как Сычиха, находил особое наслаждение в том, что он, заморыш, мог истязать могучего тигра. Сидя рядом с работниками фермы, Хромуля придумал изысканную пытку, заставлявшую Грамотея страдать и выносить его издевательства, не подавая вида.

Каждую заботу, каждое проявление деланого внимания к мнимому отцу он сопровождал пинком ноги под столом и старался при этом угодить по старой незаживающей язве на правой ноге Грамотея, в то место, где ее растерло до кости кандалное кольцо за время каторги.

Бандиту понадобилось все его мужество и терпение, чтобы скрывать свои страдания при каждом нападении Хромули, тем более что маленький злодей выбирал для своих ударов самые неподходящие моменты, когда Грамотей пил или когда он говорил.

И тем не менее старый убийца не выдавал себя: он великолепно скрывал гнев и страдания, прекрасно понимая, – а колченогий именно на это и рассчитывал, – какая опасность грозит всем его замыслам, если крестьяне догадаются, что творится под столом.

– Держи, бедный папочка, вот тебе орех, я его очистил, – сказал Хромуля, подкладывая на тарелку Грамотею орех, освобожденный от скорлупы.

– Молодец, сынок, – одобрил дядюшка Шатлэн, а затем обратился к слепому бандиту: – Конечно, участь твоя незавидная, добрый человек, но у тебя такой хороший сын, и это должно тебя немного утешить!

– Да, несчастье мое велико, и, если бы не заботы такого нежного сына, я бы...

Тут бандит не удержался и громко вскрикнул.

Сын Краснорукого ухитрился наконец попасть точно по язве, и боль была невыносимой.

– Господи, что с тобой, бедный папочка? – воскликнул Хромуля плаксивым голосом. Он встал и бросился на шею Грамотею.

В первом порыве гнева и ярости бандит хотел задушить колченогого недоноска своими могучими руками и так сильно прижал его к груди, что мальчишка почти задохнулся и жалобно пискнул.

Но тут же, сообразив, что не сможет обойтись без Хромули, слепой бандит сдержался и оттолкнул его на стул.

Во всем этом поведении крестьяне увидели только выражение отцовской и сыновней любви: бледность Хромули и его прерывистое дыхание показались им признаками беспокойства доброго сына за своего отца.

– Но что с тобой, достойный человек? – спросил дядюшка Шатлэн. – Ты своим криком так напугал сыночка, что он весь побелел... Смотрите, он и сейчас еле дышит!

– Ничего, это пустяки, – ответил Грамотей, вновь обретя обычное хладнокровие. – Я слесарь-механик. Не так давно мы ковали полосу раскаленного железа, и она упала мне на ноги: ожог был таким глубоким, что раны не зажили до сих пор. Я сейчас задел за ножку стола и не сдержал крик от боли.

– Бедный папочка! – посочувствовал Хромуля, оправившись от испуга и бросая на Грамотея змеиный взгляд. – Бедный папочка! И это в самом деле так, добрые люди, язву у него на ноге никто не может исцелить, увы, никто! О, я хотел бы, чтобы она досталась мне, лишь бы он не мучился, бедный папочка...

Женщины смотрели на Хромулю с умилением.

– Очень жаль, добрый человек, – продолжал дядюшка Шатлэн, – очень жаль, что вы пришли к нам на ферму только сегодня, а не три недели назад.

– Почему это?

– Потому что у нас был врач из Парижа, у которого есть волшебное средство от всех болезней ног. Одна добрая старушка из деревни совсем не ходила уже три года, так этот врач положил свою мазь ей на раны... А теперь она бегает, как охотник-баск, и обещает при первой возможности пешком отправиться в Париж и поблагодарить своего спасителя. Сами понимаете, отсюда до аллеи Вдов, где он живет, путь неблизкий. Но что с тобой? Опять эта проклятая рана?

Упоминание об аллее Вдов вызвало у бандита такие страшные воспоминания, что он невольно содрогнулся и уродливые черты его лица исказились.

– Да, – ответил он, приходя в себя, – опять приступ боли...

– Добрый папочка, не беспокойся, я тебе остороженько попарю ногу на ночь, – пообещал Хромуля.

– Бедняжка! – умилилась Клодина. – Как он любит отца!

– Право, очень жаль, – продолжал дядюшка Шатлэн, обращаясь к Грамотею, – что этого достойного врача здесь нет. Но я думаю, он столь же милосерден, как учен, и, когда ты будешь снова в Париже, попроси своего сына, чтобы он отвел тебя к нему. Он тебя вылечит, я уверен. Адрес его легко запомнить: аллея Вдов, дом семнадцать. Если даже забудешь номер, не беда, в том квартале не так уж много врачей, особенно чернокожих... Потому что, представь себе, этот превосходный доктор Давид – негр!

Лицо Грамотея было настолько обезображено шрамами, что вряд ли кто-либо заметил его бледность.

И тем не менее он побледнел, смертельно побледнел, услышав сначала номер дома Родольфа, а затем – имя Давида, чернокожего доктора.

Того самого негра, который по приказу Родольфа подверг его ужасному наказанию, мучительные последствия которого он испытывал каждый миг.

Поистине для Грамотея это был черный день.

Утром его унижали и мучили Сычиха и сын Краснорукого; на ферме собаки, почуяв убийцу, чуть не разорвали его и выли, как по покойнику; и, наконец, случай привел его в дом, где недавно побывал его палач.

Все эти отдельные происшествия раньше вызвали бы у слепого бандита попеременно ярость или страх, но, вместе взятые, они нанесли ему жестокий удар.

Первый раз в жизни его охватил суеверный ужас... Он спрашивал себя: нет ли в сочетании этих странных событий грозного предостережения судьбы?

Дядюшка Шатлэн, не замечая бледности Грамотея, продолжал:

– К тому же перед вашим уходом мы дадим твоему сыну адрес доктора, и этого будет достаточно: господин Давид обязательно поможет любому, кто к нему обратится. Он так добр, так добр! Жаль только, что он всегда такой грустный... Ну ладно, выпьем за здоровье твоего будущего спасителя.

– Спасибо, я не хочу больше пить, – мрачно ответил Грамотей.

– Выпей, папочка, выпей, дорогой, это полезно... для твоего желудка! – пристал Хромуля, вкладывая в руку слепого бандита стакан.

– Нет, нет, я не стану пить, – сказал Грамотей.

– Но тебе налили не сидра, а доброго вина, – сказал старый крестьянин. – В городе не всякий богач пивал такое. Черт побери, да вся наша ферма не такая, как все! Ну, что скажешь, к примеру, о нашем простом ужине?

– Все было хорошо, очень хорошо, – машинально ответил Грамотей, все более погружаясь в свои нерадостные мысли.

– Так у нас каждый день: хорошая работа, хорошая еда, чистая совесть и чистая постель: вот в двух словах наша жизнь. Нас здесь семеро, и скажу не хвлясь: мы работаем за четырнадцать. Но нам и платят за четырнадцать! Простым землепашцам – сто пятьдесят экю в год; скотницам и служанкам на ферме – по шестьдесят экю! Да еще мы делим между собой одну пятую всего, что дает ферма. Черт возьми, ты понимаешь, что мы не оставляем ни одного клочка невозделанной земли? Потому что, чем больше дарит наша бедная старая земля-кормилица, тем больше мы получаем.

– Должно быть, ваш хозяин не очень-то богатеет, если он вам так платит, – сказал Грамотей.

– Наш хозяин?.. Он совсем не похож на других. У него свой способ наживать добро, и только он его знает.

– Что вы хотите этим сказать? – спросил слепой бандит, готовый говорить о чем угодно, лишь бы уйти от осаждавших его мрачных мыслей. – У вас, наверное, какой-то удивительный хозяин!

– Да, удивительный и необычайный во всем, старина. Но послушай, ты ведь зашел к нам случайно, наша деревушка стоит далеко от всех больших дорог. И наверное, ты сюда никогда не вернешься. Поэтому тебе стоит послушать, кто такой наш хозяин и что он делает на этой ферме. Я расскажу тебе покороче, при условии, что ты потом будешь повторять это всем. Сам увидишь, говорить об этом так же приятно, как слушать.

– Я слушаю, – согласился Грамотей.

Глава VI. Образцовая ферма

– И ты не пожалеешь, выслушав меня, – сказал Грамотею дядюшка Шатлэн. – Представь, что однажды наш хозяин сказал себе: «Я очень богат, и это хорошо. Но все равно я не могу съесть два обеда. А что, если я накормлю тех, у кого ничего нет на обед, и накормлю досыта добрых людей, у которых еды не хватает? Ей-богу, это мне нравится. Так скорее за дело!» И наш хозяин принялся за дело. Он купил эту ферму, которая тогда немного стоила: на ней было всего две упряжки для пахоты и два плуга: я это точно знаю, потому что родился здесь. Наш хозяин прикупил земли, и ты сейчас узнаешь, для чего. Управительницей фермы он поставил достойную женщину, столь же уважаемую, сколь несчастную, – он всегда вот так выбирал людей, – и он сказал ей: «Этот дом будет как дом божий, открытый для добрых и закрытый для негодяев. Мы прогоним ленивых нищих, но будем всегда подавать трудовой хлеб тем, кто сохранил мужество. Эта милостыня труда не унижит тех, кто ее принимает, и принесет пользу тем, кто ее подает. Богач, который этого не делает, – скверный богач». Так сказал наш хозяин, но, ей-богу, он сделал лучше, чем сказал. Прежде отсюда до Экуена была прямая дорога, которая сокращала путь на доброе лье⁸⁵. Но какая это была дорога, о господи! Она была так разбита, что по ней нельзя было ни пройти, ни проехать, это была погибель для лошадей и повозок. Немного собственного труда и немного денег от каждого окрестного фермера могли бы привести дорогу в порядок, но если одни мечтали об этом, другие упрямылись и не хотели вкладывать ни свой труд, ни свои денежки. Наш хозяин увидел это и сказал: «Дорога будет исправлена, однако, поскольку те, кто должен в этом участвовать, не хотят в этом участвовать и поскольку это слишком дорогая дорога, которой потом будут пользоваться прежде всего те, у кого есть лошади и экипажи, надо сделать так, чтобы она сначала принесла пользу тем, у кого есть только руки и доброе сердце, но нет работы. Например, поступит к нам на ферму здоровый парень и скажет: «Я голоден, и у меня нет работы». – «Дорогой мой, отвечу я, вот тебе добрая похлебка, вот кирка и лопата. Тебя сейчас отведут на дорогу в Экуен. Выровняешь за день два туаза дороги – и получишь к вечеру сорок су, выровняешь один туаз – получишь двадцать су, выровняешь полтуаз – получишь десять су, а ничего не сделаешь, не получишь ничего». К вечеру, возвращаясь с полей, я осмотрю дорогу и увижу, кто сколько сделал».

– И подумать только, нашлись два негодяя, которые слопали похлебку и просто украли кирки и лопаты, – с возмущением воскликнул Жан-Рене. – Вот и поди после этого делай добро!

– Да, это правда, – подтвердили остальные крестьяне.

– Полно, дети мои! – возразил дядюшка Шатлэн. – Подумайте сами, неужели мы не будем ни сажать, ни сеять только потому, что на свете есть гусеницы, долгоносики и прочие вредные насекомые, которые объедают листья и грызут зерно? Нет, нет, эту нечисть надо просто давить, а бог милостив, и по его доброте распустятся новые почки и вырастут новые колосья, все снова расцветет, и никто даже не вспомнит о зловредных жучках и червячках. Не правда ли, добрый человек? – обратился он к Грамотею.

– Да, разумеется, – поспешно ответил бандит; уже несколько минут он был глубоко погружен в какие-то свои мысли.

– Нашлась работа и для женщин и для детей, – продолжал дядюшка Шатлэн. – Каждому по его силам.

– И все равно дела на ферме и на дороге идут медленно, – заметила Клодина.

– Ну что ж, зато в округе у добрых людей, к счастью, пока хватает работы.

– А для меня, несчастного слепца, найдется у вас на ферме угол и кусок хлеба, чтобы мне дожить остатки моих дней? – внезапно спросил Грамотей. – Поверьте, мне осталось немного.

⁸⁵ Лье, или французская миля, равнялось 2282 туазам, или 4444 метрам. (Примеч. перев.)

Окажете вы мне такую милость? О, если бы это сбылось, добрые люди, я бы до конца жизни молился за вашего хозяина!

Бандит говорил в этот момент вполне искренне. Он вовсе не раскаивался в своих прошлых преступлениях, но мирная и счастливая жизнь крестьян привлекала его тем более, что он страшился жестокой участи, которую готовила ему Сычиха. Он страшился этого страшного невообразимого будущего и горько сожалел, что в свое время позвал свою бывшую сообщницу и навсегда потерял возможность жить среди честных людей, у которых его поселил Поножовщик.

Дядюшка Шатлэн с удивлением взглянул на Грамотея.

– Но послушай, бедняга, – сказал он, – я думал, у тебя есть какие-то деньги, друзья...

– Увы, бог свидетель!.. Я ослеп из-за несчастного случая на работе. Теперь иду в Лувр, надеясь на помощь дальнего родственника, но вы понимаете, люди бывают порой такими жестокими, такими эгоистами, – ответил Грамотей.

– О, не одни же себялюбцы живут на свете! – возразил дядюшка Шатлэн. – Хороший и честный работник, как ты, и к тому же такой несчастный, да еще с таким добрым, милым сыночком, может растрогать даже каменное сердце. Однако почему хозяин, у которого ты работал до этого несчастного случая, ничего не сделал для тебя?

– Он умер, – чуть поколебавшись, ответил Грамотей. – Он был моим единственным благодетелем.

– А приют для слепых?

– Я еще не так стар, чтобы меня туда взяли.

– Бедняга! Поистине участь твоя печальна!

– Значит, вы думаете, если родичи в Лувре меня не примут, я могу надеяться, что ваш хозяин, перед которым я преклоняюсь, еще не зная его, может сжалиться надо мной?

– Видишь ли, к несчастью для тебя, наша ферма не дом призрения. Обычно мы позволяем калекам провести здесь ночь или день, а потом даем что-нибудь на дорогу – и да поможет им бог!

– Значит, мне нечего надеяться, что моя горькая участь смягчит вашего хозяина? – спросил слепой бандит со вздохом разочарования.

– Я сказал, что это у нас правило, однако наш хозяин может все решить по-другому. Если он согласится оставить тебя на ферме, тебе не придется ютиться в каком-нибудь углу, ты будешь одним из нас... как сегодня! И для сынка твоего найдется работа по его силам; ему будет с кого брать пример, да и добрыми советами его не обойдут. Наш почтенный кюре обучит его чтению вместе с другими деревенскими детьми, и он вырастет, как говорится, в благодати и добре. Но для этого, понимаешь, надо завтра утром откровенно поговорить с нашей святой богородицей-заступницей.

– С кем, с кем? – удивился Грамотей.

– Так мы называем нашу хозяйку. Если она сжалится над тобой, считай, что все в порядке. Когда речь идет о милосердии, наш хозяин не отказывает ей ни в чем.

– Тогда я поговорю с ней сам, я сам поговорю! – радостно вскричал Грамотей, надеясь, что уже избавился от страшных когтей Сычихи.

Но Хромуля вовсе не разделял его радужные надежды; его несколько не прельщала спокойная жизнь, обещанная старым крестьянином: он не собирался расти в благодати и добре под опекой почтенного священника. У сына Краснорукого не было ни малейшей склонности к сельской жизни, да и по духу он далеко не походил на пасторального пастушка. Кроме того, верный заветам Сычихи, он не мог допустить, чтобы Грамотей избавился от их подлого деспотизма. Поэтому он решил вернуть к действительности слепого бандита, который уже размечтался о сельских радостях.

– Да, да, – повторял Грамотей. – Я поговорю с вашей богородицей-заступницей, и она сжалится надо мной... И я...

Но тут Хромуля изо всех сил пнул его в ногу и точно угодил в самое больное место.

Грамотей содрогнулся от неизъяснимой муки, не закончил фразу и смог только повторить:

– Да, я надеюсь, добрая госпожа сжалится надо мной...

– Бедный папочка! – вмешался Хромуля. – Ты, однако, забыл мою добрую тетушку, госпожу Сычиху, которая так тебя любит. Бедная тетя Сычиха!.. Но она тебя так не оставит, ведь ты это знаешь! Скорее уж она приедет сюда за тобой с нашим кузенком Крючком.

– Похоже, у этого слепого пройдохи престранные родичи, – с хитрющим видом прошептал Жан-Рене, подталкивая локтем свою соседку Клодину.

– Бессердечный олух! Как ты можешь смеяться над этими несчастными! – так же шепотом ответила доярка и, в свою очередь, так двинула Жана-Рене локтем, что чуть не сломала ему ребра.

– Госпожа Сычиха одна из ваших родственниц? – спросил старый крестьянин Грамотея.

– Да, одна из моих родственниц, – мрачно ответил тот с озабоченным видом.

Он боялся, что, даже если он найдет на ферме неожиданное пристанище, одноглазая может явиться сюда и выдать его, чтобы напакостить и отомстить; кроме того, он боялся, что странные имена его предполагаемых родичей, упомянутых Хромулей, Сычихи и Крючка, – покажутся подозрительными, но в этом отношении его страхи были напрасными, потому что все ограничилось шуткой Жана-Рене, к тому же весьма плохо принятой его соседкой, Клодиной.

– Эта твоя родственница ждет вас в Лувре? – спросил дядюшка Шатлэн.

– Да, – ответил слепой бандит. – Однако мой сын, наверное, зря рассчитывает на нее.

– Ах, бедный папочка, вовсе не зря! Вот увидишь... Она такая добрая, моя тетушка Сычиха!.. Ты ведь знаешь, это она дала мне снадобье, чтобы парить твою ногу... и точно объяснила, как это делать... Это она мне сказала: «Сделай для своего папочки все, что бы сделала я сама, и бог благословит тебя». О, моя тетушка Сычиха, она тебя любит, она тебя любит так сильно, что...

– Хватит, хватит, – оборвал его Грамотей. – Это в любом случае не мешает мне завтра утром поговорить с доброй хозяйкой... попросить ее, чтобы она замолвила за меня словечко перед достойным владельцем этой фермы. Кстати, – добавил он, чтобы сменить тему и прервать неосторожные излияния Хромули, – кстати, о владельце фермы. Мне обещали рассказать, что такого особенного в устройстве его хозяйства.

– Это я обещал, и я сдержу свое слово, – сказал дядюшка Шатлэн. – Наш хозяин придумал то, что он называет милосердием труда. Он сказал себе: есть выставки и премии за улучшение пород скота и лошадей, за новые плуги и прочие орудия земледелия... Но, право же, настало время подумать об улучшении людей... Хороший скот – это прекрасно, однако хорошие люди – это еще лучше, хотя и много труднее. Вдоволь овса и травы, чистая вода и свежий воздух, надежный кров и хороший уход – и тогда лошади и скот станут лучше не пожелаешь и принесут тебе радость. Но человека не так просто сделать добродетельным, как быка – упитанным. Пастбище полезно для быка, потому что сочная трава ему нравится и он набирает вес. Так вот, по-моему, чтобы добрые советы приносили пользу человеку, надо, чтобы он к ним прислушивался и следовал им...

– Так же, как бык на добром лугу, дядюшка Шатлэн?

– Точно так же, сынок.

– Дядюшка Шатлэн, – вмешался другой крестьянин. – Говорят, раньше были особые фермы, где молодые воришки, правда за хорошее поведение, обучались земледелию, но там их холили и лелеяли, как маленьких принцев?

– Правда, дети мои, – ответил старик землепашец, – и в этом есть кое-что доброе: похвально и милосердно не отнимать последнюю надежду у заблудших. Но нельзя отнимать надежду и у честных людей. Вот приходит честный, сильный и трудолюбивый парень на такую ферму бывших воров с желанием хорошо работать и хорошо учиться, а ему говорят: «Послушай, ты когда-нибудь воровал? Когда-нибудь бродяжничал?» – «Нет». – «Тогда тебе здесь не место».

– И все же это правда, дядюшка Шатлэн, – сказал Жан-Рене. – Для жуликов делают больше, чем для честных; улучшают скот, а не людей.

– Для того чтобы исправить это зло, сынок, и подать пример, наш хозяин и завел эту ферму, как я говорил нашему гостю... Я знаю, сказал он себе, что на небесах воздается всем честным людям... Но, помилуйте, небеса – это так далеко и высоко, и многие, – к сожалению, дети мои, – не имеют ни сил, ни прозорливости, чтобы их достичь. Да и к тому же откуда им взять время, чтобы то и дело обращать взор к небесам? Целый день от восхода до заката они склоняются к земле, они ее вскапывают и перекапывают по воле своего хозяина, а ночью спят как убитые на своих лежаках... По воскресеньям они напиваются в кабаке, чтобы забыть вчерашнюю усталость и тяжкий труд, который ждет их завтра. Потому что – самое страшное! – это труд, который не имеет для них никакого смысла. Они работают как каторжные, но разве от этого хлеб их не остается таким же черным, постель – такой же жесткой, дети – такими же истощенными, а жены?... У них даже нет молока, чтобы вскармливать младенцев, потому что они никогда не ели досыта... Нет, нет и нет! Я хорошо знаю, дети мои, что хлеб их черный, но это хлеб, лежак их жесток, но это постель, детишки худенькие, но они живут... Несчастные, наверное, без ропота мирились бы со своей судьбой, если бы знали, что все живут так же, как они. Но они видят белый хлеб, видят мягкие теплые матрасы, видят детей, румяных, как майские розы, и таких откормленных, таких закормленных, что они кидают пирожные собакам... Проклятье! И когда несчастные возвращаются в свои жалкие хижинки, к своему черному хлебу, к своим больным, худющим и голодным детишкам, они думают, что охотно принесли бы им хоть кусочек пирожного, которое дети богачей скормили собакам. «Если уж так заведено, чтобы на свете были богатые и бедные, почему не мы родились богатыми? Это несправедливо... Может, пора поменяться судьбой?» Так говорят они, и это, дети мои, неразумно: это не облегчает их участи, тяжкого жесткого ярма, которое гнетет их и порою ранит, его все равно приходится влечить без отдыха и без надежды когда-нибудь отдохнуть, когда-нибудь познать счастье, которое приносит достаток... И так всю жизнь, о господи, всю жизнь, а это так долго... дольше бесконечного дождливого дня без единого проблеска солнца. И люди принимаются за работу с печалью и отвращением. И наконец большинство батраков говорят себе: «Зачем нам работать больше и лучше? Тяжелым будет колос или легким, нам все равно. Для чего надрываться? Будем лишь честными: зло наказывают, поэтому не станем творить зло; за добро не вознаграждают, поэтому незачем делать добро... Будем как добрые вьючные животные: от нас требуется только терпение, сила и покорность...» Такие мысли пагубны, дети мои; от такого равнодушия недалеко до лености, а от лености еще ближе до порока... К сожалению, таких, не злых и не добрых, кто не делает ни зла, ни добра, – большинство. «Поэтому, – сказал наш хозяин, – именно их надо улучшать, точно так же, как улучшают породы лошадей, коров или овец... Сделаем так, чтобы они сами старались быть живее, мудрее, трудолюбивее, опытнее и преданнее своему делу... Докажем им, что, становясь лучше, они станут счастливее и станут получать больше... От этого выиграют все. Чтобы добрые советы пошли им на пользу, дадим им здесь, на земле, маленький образчик великого счастья, которое ожидает праведных там, на небесах...»

Порешив так, наш хозяин объявил по округе, что ему нужны шесть пахарей и столько же коровниц, женщин или девушек, но он сам хотел выбрать этих людей среди лучших работников по рекомендациям фермеров, мэров и священников. Им обещали платить, как принцам, как

платят нам, кормить лучше, чем едят господа в городах, и отдавать всем работникам одну пятую часть урожая. Эти люди должны были оставаться на ферме два года, а затем уступать место другим работникам на тех же условиях. Через пять лет любой из них мог снова прийти на ферму, если будут свободные места. Вот почему, когда появилась эта ферма, земледельцы и поденщики в округе начали говорить: «Будем стараться, будем честными и трудолюбивыми, чтобы нас заметили, и, может быть, когда-нибудь нас возьмут на ферму Букеваль. Там целых два года мы будем жить как в раю, а когда уйдем, то не с пустыми руками, и, главное, мы будем потом нарасхват, потому что попасть на эту ферму может только превосходный работник».

– Меня уже пригласили на ферму Дюбрей в Арнувиле, – сказал Жан-Рене.

– А меня заранее наняли на ферму Гонесс, – подхватил другой работник.

– Вот видишь, добрый человек, от этого выигрывают все. И окрестные фермеры вдвойне.

У нас всего двенадцать мужчин и женщин, но в кантоне появляется в пять раз больше старательных работников, которые стремятся поступить на их место. И даже те, кто не сможет получить это место, все равно останутся хорошими работниками, не так ли? Как говорится, добрый хлеб не станет плохим; потому что, если им не повезет сегодня, у них всегда остается надежда на завтра, и в конечном счете число хороших людей возрастает. Ну вот, скажем к слову, назначают приз лошади или быку за скорость, силу или красоту – и хозяева воспитывают сотню животных, способных бороться за этот приз. Так вот, даже если они его не получают, эти отборные питомцы все равно останутся прекрасными и полезными животными... Слышишь, добрый человек? Я был прав, когда говорил, что наша ферма необычная ферма, а наш хозяин необычайный человек?

– Да, конечно! – воскликнул Грамотей. – И чем больше я слышу о его доброте и щедрости, тем больше надеюсь, что он сжалится над моей несчастной судьбой. Человек, который творит добро с таким благородством и такой мудростью, не станет раздумывать; одним благодеянием больше или меньше – разница невелика.

– Наоборот, он над этим очень раздумывает, – возразил дядюшка Шатлэн. – Но это не помешает ему совершить новое доброе дело. Мне кажется, мы еще с тобой встретимся, бедняга, разумеется, здесь, на ферме, и ты не последний, раз сядишь за нашим столом!

– Правда? Я могу надеяться?.. О, если бы вы знали, как я признателен и счастлив! – воскликнул Грамотей.

– Не сомневайся, у нас добрый хозяин.

– Но скажите мне хотя бы, как его зовут и как зовут вашу добрую заступницу, чтобы я мог заранее благословить их святые имена! – живо проговорил Грамотей.

– Я понимаю твое нетерпение, – сказал старый крестьянин. – Черт возьми, ты, наверное, думал, что услышишь громкие имена? И напрасно. У них имена простые и чистые, как у святых. Нашу богородицу-заступницу зовут госпожа Жорж... а нашего хозяина – господин Родольф.

– Моя жена!.. И мой палач!.. – пробормотал слепой бандит, словно молнией пораженный этим открытием.

Глава VII. Ночь

Родольф!!! Госпожа Жорж!!!

Грамотей не поверил в случайное совпадение имен. Прежде чем обречь его на страшные муки, Родольф сказал, что сердечно позаботится о госпоже Жорж. И наконец, недавнее посещение этой фермы черным Давидом окончательно доказывало, что Грамотей не ошибался.

Он увидел нечто роковое и предопределенное в этой встрече, которая разбивала в прах все его надежды, основанные на великодушии хозяина фермы.

Первым его побуждением было – бежать!

Родольф внушал ему непреодолимый ужас. А вдруг он сейчас на ферме? Едва придя в себя, слепой бандит ошалело вскочил, схватил Хромулю за руку и вскричал:

– Нам пора! Пойдем! Веди меня отсюда!

Крестьяне изумленно переглянулись.

– Вы хотите уйти... сейчас? И не думай даже об этом, бедняга, – сказал дядюшка Шатлэн. – И какая муха тебя укусила? Ты что, рехнулся?

Хромуля тотчас подхватил этот намек и горестно вздохнул. Постучав указательным пальцем по лбу, он жестом объяснил крестьянам, что его мнимый папочка не совсем в своем уме.

Старый крестьянин понимающе закивал головой и сочувственно развел руками.

– Пойдем, пойдем отсюда! – повторял Грамотей, пытаясь увлечь за собой мальчишку.

Но Хромуля вовсе не собирался менять теплый угол на промерзшие ночные поля.

– Господи, бедный папочка! – завопил он плаксивым голосом. – Опять у тебя приступ... Успокойся, тебе нельзя выходить в такую холодную ночь, тебе станет хуже... Уж лучше я ослушаюсь тебя, прости, но только не поведу по дорогам в такой час. – И, обращаясь к крестьянам, продолжал: – Вы ведь поможете мне, добрые господа, не дадите моему папочке уйти?

– Да, да, не волнуйся, малыш, – сказал дядюшка Шатлэн. – Мы не откроем дверь твоему отцу... Так что придется ему ночевать на ферме.

– Вы не заставите меня здесь остаться! – вскричал Грамотей. – И к тому же я не хочу стеснять вашего хозяина... господина Родольфа. Вы ведь сказали мне, что ваша ферма не приют для калек. Поэтому еще раз прошу: отпустите меня!

– Стеснять нашего хозяина? Можешь не беспокоиться. К сожалению, он не живет на ферме и приезжает лишь изредка, когда мы просим... Но даже будь он здесь, ты бы ему не помешал. Этот дом не приют, ты прав, но я уже сказал, что калеки, такие же несчастные, как ты, всегда могут провести здесь день или ночь.

– Значит, вашего хозяина сегодня здесь нет? – спросил Грамотей, немного успокаиваясь.

– Нет. Он должен, по своему обыкновению, приехать дней через пять-шесть. Как видишь, тебе нечего бояться. Наша добрая госпожа вряд ли спустится сегодня, иначе она бы тебя успокоила. Но разве она уже не распорядилась приготовить вам здесь постель? Впрочем, если она не сойдет сегодня, ты сможешь поговорить с ней завтра перед уходом... Попроси ее как следует, чтобы наш хозяин сжалился над твоей судьбой и оставил тебя на ферме...

– Нет, нет! – в ужасе пробормотал бандит. – Я передумал... Мой сын прав, наша родственница в Лувре пожалеет и примет меня... Я пойду к ней!

– Как тебе угодно, – сочувственно сказал дядюшка Шатлэн, полагая, что имеет дело с человеком, повредившимся в уме. – Ты сможешь уйти завтра утром. Но чтобы пуститься в дорогу сейчас, да еще с этим мальчуганом, – не может быть и речи! Об этом уж мы позаботимся.

Хотя Родольфа и не оказалось в Букевале, страхи Грамотея далеко не рассеялись. Хотя лицо его было страшно изуродовано, он все же боялся, что жена, – а она могла спуститься в кухню в любой момент, – опознает его. И тогда она его выдаст, и его арестуют, ибо он был

убежден, что Родольф так страшно покарал его только для того, чтобы удовлетворить мстительную ненависть г-жи Жорж.

Но слепой бандит не мог уйти с фермы: он всецело зависел от Хромули. Поэтому он смирился, но, чтобы жена не увидела его, сказал старому крестьянину:

– Раз уж вы говорите, что я не стесню вашего хозяина и вашу хозяйку... благодарю вас за гостеприимство. Но я очень устал и, если позволите, пойду лягу. Завтра я хочу уйти на рассвете.

– О, на рассвете? Как тебе захочется. Мы здесь рано встаем. А чтобы ты снова не заблудился, тебя с сыном выведут на прямую дорогу.

– Если хотите, я могу подвезти этих бедняг до дороги, – предложил Жан-Рене. – Потому что хозяйка велела мне завтра съездить на повозке в Вилье-ле-Бель к нотариусу за мешочками с серебряной монетой.

– Хорошо, ты выведешь бедного слепца на дорогу, но пойдешь пешком и сразу вернешься, – сказал дядюшка Шатлэн. – Хозяйка передумала. Она решила, и это правильно, что незачем заранее привозить на ферму такую большую сумму: всегда успеется съездить за ней в понедельник или в другой день, а пока пусть серебро полежит у нотариуса, там надежнее.

– Хозяйка лучше знает, что делать, но чего ей бояться, если серебро будет здесь, дядюшка Шатлэн?

– Слава богу, нечего, сынок! Но все равно, по мне, лучше иметь здесь пятьсот мешков зерна, чем десять мешочков с экю, – сказал дядюшка Шатлэн. – Ну хорошо, пойдете, – обратился он к слепому бандиту и Хромуле. – Иди за мной, сынок, – добавил он. – Я посвечу тебе.

Со свечой в руке он провел за собой неожиданных гостей в маленькую комнатку на первом этаже по длинному коридору, в который выходили многочисленные двери.

Крестьянин поставил свечу на стол и сказал Грамотею:

– Вот ваша комната, да пошлет тебе господь спокойную ночь, добрый человек. А ты, сынок, и так заснешь, в твоём возрасте спят без просыпу!

Задумчивый и мрачный, бандит сел на край постели, к которой его подвел Хромуля.

Колченогий мальчишка сделал красноречивый знак крестьянину, когда тот уже выходил из комнаты, и догнал его в коридоре.

– Чего тебе, сынок? – спросил дядюшка Шатлэн.

– Боже мой! Добрый господин, я так несчастен! Иногда у моего бедного папочки по ночам начинаются приступы вроде судорог, и я не могу один с ним справиться. Если придется позвать на помощь, меня услышат отсюда?

– Несчастный малыш! – Крестьянин взглянул на него с любопытством. – Успокойся. Видишь эту дверь рядом с лестницей?

– Да, мой добрый господин, вижу.

– Один из наших работников всегда спит там, ключ в дверях: если понадобится, разбуди его и он тебе поможет.

– Ах, мой господин, мы с этим работником, наверно, не справимся с бедным папочкой, такие страшные у него судороги... Вот если бы вы нам помогли, ведь вы такой сильный, такой добрый...

– Послушай, сынок, я сплю вместе с другими пахарями в большом доме в глубине двора. Но ты не беспокойся, Жан-Рене силач, за рога любого быка повалит. А если еще нужна будет помощь, он разбудит старую кухарку; она спит на втором этаже, рядом с комнатами нашей хозяйки и девушками. Эта добрая женщина при нужде всегда ухаживала за больными, она такая заботливая...

– О, благодарю, благодарю, достойный мой господин, я буду молить за вас бога, вы так милосердны, так жалостливы к моему бедному папочке...

– Полно, сынок!.. И спокойной ночи. Надеюсь, все обойдется и тебе не придется никого звать, чтобы помочь твоему отцу. Беги, он, наверное, тебя ждет.

– Бегу, бегу! Спокойной ночи, добрый господин.

– Да хранит тебя бог, сынок!

И старый крестьянин удалился.

Едва он повернулся спиной, колченогий паршивец сделал ему вслед в высшей степени оскорбительный и насмешливый жест, известный всем парижским мальчишкам: похлопал себя левой рукой по затылку, каждый раз выбрасывая вперед правую руку ладонью вверх.

С дьявольской ловкостью этот гаденыш вызнал немало сведений, полезных для зловещих замыслов Сычихи и Грамотея. Он уже знал, что в этой половине дома, где их устроили, ночью оставались только госпожа Жорж, Лилия-Мария, старая кухарка и один работник фермы.

Возвратившись в отведенную им комнату, Хромуля постарался держаться подальше от Грамотея. Услышав его шаги, Грамотей тихо спросил:

– Где ты пропал, поганец?

– Ты слишком любопытен, безглазый!

– Ну ты мне заплатишь за все, что заставил вытерпеть и выстрадать за этот вечер, исчадь зла! – воскликнул Грамотей. Он вскочил и заметался по комнате, пытаясь ошупью поймать Хромулю. – Я задущу тебя, подлый змееныш!

– Бедный папочка! Похоже, у тебя хорошее настроение, раз ты вздумал поиграть в кошки-мышки со своим любимым сыночком, – хихикая, ответил Хромуля, с необычайной ловкостью увертываясь от слепого бандита.

В порыве ярости тот все еще надеялся поймать сына Краснорукого, но скоро отказался от этой затеи.

Вынужденный терпеть все его бесстыдные издевательства, пока не подвернется случай отомстить, Грамотей подавил бессильную злобу и рухнул на кровать, изрыгая страшные проклятия.

– Бедный папочка, у тебя что, зубки разболелись? Ах, какие гадкие слова! Что скажет юре, если тебя услышит? Он наверняка наложит на тебя покаяние...

Грамотей надолго умолк и наконец заговорил глухим, сдержанным голосом:

– Ладно, смейся надо мной, издевайся над моей немощью, несчастный трус! Таково твое великодушие!

– О, вот это словечко! «Великодушие»! Хватает же у тебя наглости! – воскликнул Хромуля, раздражаясь смехом. – Ах, извините! Вы ведь надевали мягкие перчатки, когда раздавали затрещины направо и налево всем, кто ни попадется, пока не окривели на оба глаза.

– Но тебе-то я никогда не делал зла... Почему ты меня так мучаешь?

– Во-первых, потому, что ты говорил гадости Сычихе... А потом, когда ты задумал остаться здесь и подружиться с деревенщиной... Наверное, соскучился по ослиному молоку?

– Какой же ты болван! Если бы я мог остаться на этой проклятой ферме, разрази ее гром, я бы... Но ты почти помешал мне своими идиотскими намеками.

– Остаться здесь? Хорошая шуточка! А кого же тогда будет мучить Сычиха? Может быть, меня? Нет уж, спасибо, это не по мне!

– Подлый недоносок!

– Недоносок? Вот и еще один повод. Как говорит моя тетушка Сычиха, нет ничего забавнее смотреть, как ты задыхаешься от ярости, ты, кто мог бы убить меня одним ударом кулака... Это куда интереснее, чем если б ты был хилым и слабеньким... До чего же ты был смешным этим вечером за столом! Господи боже мой! Какую комедию я разыгрывал для одного себя! Почтище фарсов в театре Ла Гетэ! От каждого пинка, которым я награждал тебя под столом, ярость ударяла тебе в голову и твои слепые глаза по краям наливались кровью, оставались

только голубые пятна в середине; еще немного, и они бы стали трехцветными, точь-в-точь кокарды городских сержантов... Умереть от смеха!

– Послушай, ты любишь посмеяться, ты веселый паренек, да это и неудивительно в твоём возрасте, – сказал Грамотей добродушным и снисходительным тоном, надеясь разжалобить Хромулю. – Но, вместо того чтобы насмеяться надо мной, лучше бы ты вспомнил, о чем говорила Сычиха, которая так тебя любит. Ты должен все здесь осмотреть, снять отпечатки с замков. Ты слышал? Они говорили о крупной сумме, которую должны привезти в понедельник... Мы вернемся сюда с друзьями и обделаем хорошее дельце. Ба, я сваял дурака, когда захотел остаться здесь... Нам бы эти добряки крестьяне опостытели к концу недели, не правда ли, сынок? – добавил слепой бандит, чтобы польстить Хромуле.

– Да, ты бы меня очень огорчил, – с усмешкой ответил сын Краснорукого.

– Говорю тебе, здесь можно обделать хорошее дельце... Но если бы даже здесь нечего было взять, я все равно вернулся бы сюда вместе с Сычихой... чтобы отомстить, – проговорил бандит, и голос его задрожал от ярости и злобы. – Потому что теперь я знаю: это моя жена натравила на меня проклятого Родольфа, который ослепил меня и отдал на милость всех и всякого... Сычихи, тебя, увечного мальчишки... Так вот, раз уж я не могу отомстить ему, я отомщу моей жене! Пусть она заплатит за все... даже если мне придется поджечь этот дом и самому погибнуть в горящих развалинах... О, как я хотел бы!..

– Ты, конечно, хотел бы, чтобы твоя женушка попала тебе в лапы, не так ли, старина? И подумать только, ведь она всего в десяти шагах от тебя, разве это не забавно? Если бы я захотел, я довел бы тебя до ее комнаты, потому что только я знаю, где эта комната, я знаю, я знаю, я знаю, – пропел, по своему обыкновению, Хромуля.

– Ты знаешь, где ее комната? – воскликнул Грамотей со свирепой радостью. – Ты знаешь?

– Похоже, ты готов, – сказал Хромуля. – Сейчас ты будешь служить передо мной на задних лапках, как пес, которому показывают кость... Итак, мой верный Азор, служить!

– Кто тебе об этом сказал? – воскликнул бандит, невольно поднимаясь.

– Хорошо, Азор, хорошо... Рядом с комнатой твоей жены спит старая кухарка... один поворот ключа – и в наших руках весь дом, твоя жена и девчонка в сером плаще, которую мы хотели похитить... А теперь подай лапку, Азор, постарайся для своего хозяина... Служить!

– Ты врешь, ты все врешь! Откуда ты это знаешь?

– Пусть я хром, но я вовсе не глуп. Только что я наплел этому старому деревенскому дурню, что по ночам у тебя бывают судороги, и спросил, кто мне сможет помочь, если у тебя начнется приступ... Так вот он мне ответил, что, если вас схватит, я могу разбудить слугу и кухарку, и объяснил, где они спят: один внизу, другая наверху, рядом с комнатой твоей жены, твоей жены, твоей жены! – повторил Хромуля свою припевку.

После долгого молчания Грамотей спокойно сказал ему с искренней и устрашающей непреклонностью:

– Послушай, я устал от жизни... Всего час назад, признаюсь, у меня затеплилась надежда, но теперь моя участь кажется мне еще ужаснее... Тюрьма, каторга, гильотина – ничто по сравнению с тем, что я претерпел сегодня и должен буду терпеть до смерти... Отведи меня в комнату моей жены... У меня мой нож, я прикончу ее... Пусть меня убьют потом, это мне все равно... Ненависть душит меня! Я буду отомщен, и месть меня утешит... Такие муки, такое унижение, и это мне, перед которым дрожали все! Нет, непереносимо! Если бы ты знал, как я страдаю, ты бы сжалился надо мной... Мне кажется, голова сейчас лопнет, в висках стучит, разум помутился...

– Да не застудил ли ты головку, старина? Бывает, бывает... Может, у тебя насморк? Прочихайся, это помогает! Ха-ха! – расхохотался Хромуля. – Хочешь понюшку?

И, громко хлопывая по тыльной стороне сжатой в кулак левой руки, как по крышке табакерки, он пропел:

Добрый табачок в моей табакерке,
Добрый табачок, но не для тебя!

– О господи, господи! Они сговорились свести меня с ума! – воскликнул бандит, действительно почти теряя рассудок от всепожирающей пламенной жажды кровавой мести, которую он не мог утолить.

Невероятная сила этого зверя могла сравниться только с его яростью.

Представьте себе голодного, разъяренного, бешеного волка, которого ребенок дразнит весь день сквозь прутья клетки, а за этими прутьями, в одном шаге, кривляется его жертва, которая могла бы разом удовлетворить его голод и утихомирить ярость.

Последняя издевка Хромули взбесила бандита; он потерял голову.

Раз нет под рукою жертвы, он упьется своей кровью... ибо кровь душила его.

Будь у него в руках заряженный пистолет, он бы тут же застрелился. Грамотей сунул руку в карман, вытащил свой длинный нож-наваху, раскрыл его и встал, чтобы нанести удар... Но как ни были быстры его движения, страх, инстинкт самосохранения, мысль о смерти оказались быстрее.

Убийце не хватило мужества, и его рука с ножом опустилась.

Хромуля внимательно следил за каждым его жестом и, когда увидел безобидный исход трагического фарса, насмешливо воскликнул:

– Дуэль не состоялась, господа! Ощиплем трусов!

Грамотей, боясь совсем потерять рассудок в припадке бессильной ярости, постарался пропустить мимо ушей это последнее оскорбление Хромули, который дерзко насмеялся над трусостью бандита, не сумевшего покончить с собой. Грамотею казалось, что сам рок преследовал его в лице этого безжалостного проклятого недоноска. В отчаянии он сделал последнюю попытку, решив сыграть на жадности сына Краснорукого.

– Послушай, – сказал он почти умоляющим голосом. – Доведи меня до дверей моей жены; ты возьмешь себе все что хочешь в ее комнате и убежишь, а я останусь один... Можешь даже закричать, что там убивают, грабят! Меня арестуют или прикончат на месте, но тем лучше... Я умру отомщенный, раз уж я не могу сам покончить с собой. Отведи меня к ней, отведи! У нее наверняка есть золото, драгоценности... Я говорю: можешь взять все, все себе одному, ты слышишь? Я прошу только одного: отведи меня к ее комнате...

– Да, я прекрасно слышу: ты хочешь, чтобы я довел тебя до дверей ее комнаты, а потом до ее постели... а потом сказал, куда надо ударить, а потом направил твою руку, не так ли? Короче, ты хочешь, чтобы я стал рукояткой твоего ножа? Старый злодей! – с презрением продолжал Хромуля. Гнев и ужас впервые за весь день сделали серьезной его крысиную мордочку, обычно насмешливую и наглую. – Я скорее умру, слышишь ты? Лучше умру, чем поведу тебя к твоей жене!

– Ты отказываешься?

Сын Краснорукого ничего не ответил.

Босиком он неслышно подкрался к слепому бандиту, который сидел на постели, по-прежнему сжимая в руке свой длинный нож; с необычайной ловкостью и быстротой Хромуля выхватил у него это страшное оружие и одним прыжком оказался в другом углу комнаты.

– Мой нож! Мой нож! – закричал бандит, протягивая руки.

– Нет уж, папочка! Завтра утром ты, может быть, захочешь поговорить с хозяйкой и, может быть, кинешься на нее с ножом, потому что, как ты сказал, жизнь тебе надоела, а самому покончить с собой не хватает пороха...

– Дьявольщина, теперь он защищает мою жену от меня! – вскричал бандит, чувствуя, что разум его мутится. – Значит, этот маленький звереныш – исчадь ада? Где я? Почему он ее защищает?

– Чтобы ты не дергался, папочка, – ответил Хромуля, и лицо его приняло прежнее насмешливо-наглое выражение.

– Ах так, – пробормотал Грамотей в полной растерянности, – тогда я подожгу дом... Мы сгорим все... все! Лучше эта печь огненная, чем другая... Свеча! Где свеча?..

– Ха-ха-ха! – снова разразился смехом колченогий. – Как жаль, что твою свечу задули для тебя... навсегда. Ты бы тогда увидел, что наша свеча вот уж час как погасла.

И Хромуля замурлыкал:

Моя свеча погасла,
Нет у меня огня...

Грамотей глухо застонал, вытянул руки и во весь свой огромный рост рухнул на пол, лицом вниз, сраженный ударом.

– Знаем мы твои штучки, – сказал Хромуля, глядя на неподвижного бандита. – Опять притворяешься, чтобы я подошел помочь тебе, а потом задашь мне трепку... Лежи, лежи... Когда надоест лизать пол, сам поднимешься.

Боясь, что Грамотей ночью найдет его ошупью, сын Краснорукого решил не спать и остался сидеть на стуле, внимательно наблюдая за бандитом. Он был уверен, что тот расставил ему ловушку, и нисколько не опасался за его жизнь.

Чтобы приятнее провести время, Хромуля выудил из кармана неизвестно откуда взявшийся маленький кошелек красного шелка и принялся медленно пересчитывать золотые монеты; их было семнадцать, и каждая приносила ему алчное наслаждение.

Откуда же у Хромули это несправедное сокровище?

Вспомним, что он застал врасплох госпожу д'Арвиль во время ее несостоявшегося свидания с майором. Родольф передал этот кошелек молодой женщине и велел ей подняться на шестой этаж к Морелям как бы для того, чтобы оказать им помощь. Госпожа д'Арвиль быстро поднималась по лестнице, держа кошелек в руке, а Хромуля спускался ей навстречу от своего хозяина-шарлатана. Он сразу заметил кошелек, сделал вид, что споткнулся, толкнул маркизу и в мгновение ока выхватил у нее кошелек. Госпожа д'Арвиль уже слышала внизу шаги мужа и в отчаянии поспешила на шестой этаж, не смея даже сказать, что дерзкий колченогий мальчишка ее обокрал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.